

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ

Денисовский Г.М., Жвителишвили А.Ш.

**СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В НЕРЫНОЧНЫХ СИСТЕМАХ
(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)**

МОСКВА 2009

УДК 316.334.2:339.13
ББК 60.56

Публикуется по решению ученого совета Института социологии РАН

Рецензенты:

проф., д. соц. н. А.И. Черных, к.и.н. А.Ю. Согомонов.

Денисовский Г.М., Жвитиашвили А.Ш.

Д 33 Социально-структурные процессы в нерыночных системах (опыт социологического анализа) – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2009. – 205 с.

ISBN 978-5-89697-180-1

В монографии рассматривается логика социально-структурных процессов нерыночных систем в их социально-исторической преемственности. Особое внимание обращается на то, что системы нерыночного типа выделяются не только своими характеристиками. В них действуют законы, отличные от тех, которые проявляются в системах, основанных на категориях рыночных отношений.

Монография предназначена для широкого круга специалистов, интересующихся данной проблематикой, а также для преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области социологии, политологии, философии и всех интересующихся проблемами социального развития.

УДК 316.334.2:339.13
ББК 60.56

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА I. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ	7
1. 1. Институт управления и социальная стратификация	7
1. 2. Идеократический тип	14
1. 3. Этакратический тип	15
1. 4. Плюралистический тип	21
ГЛАВА II. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК	29
2. 1. Базовые черты российского социального порядка и природа его трансформации.....	29
2. 2. Советская идеология	40
2. 3. Советское государство	96
2. 4. Социальная структура советского общества	126
2. 5. Советский человек	156
2. 6. Вместо заключения: причины падения советского социального порядка	179
ЛИТЕРАТУРА	193

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время резко возрос интерес к недавнему советскому прошлому. У многих он принимает форму ностальгии и даже апологии всего того, что произошло со страной в советский период ее истории. Некоторые сторонники такой позиции готовы признать трагические стороны советской действительности, но при этом добавляют, что в ней было и много хорошего. Индустриализацию, полеты в космос, энтузиазм, постепенное благоустройство жизни советских людей, всеобщую грамотность и занятость населения, наконец, «советский ренессанс», которым мы называем период 60-х гг. XX в., относят к числу достижений советского строя. Однако подход, основанный на учете баланса положительных и отрицательных качеств той или иной социальной системы, малопродуктивен. Оглядываясь на прошлое человечества, мы увидим, что взлеты человеческого духа всегда соседствовали с провалами и изъятиями той или иной организации общества. Иначе говоря, эти взлеты имели место независимо от того, какой строй в это время значился в календаре истории. В мире античного рабовладения люди могли наслаждаться творениями Фидия, театром Софокла и Еврипида, поэмами Гомера и Гесиода. Философские размышления Платона и Аристотеля о мироздании и общественно-государственном устройстве до сих пор волнуют всех интересующихся судьбами сущего. В Средние века, которые многие называют «темными», и в Новое время – время зарождения и развития капитализма – тоже развивалась человеческая культура. Готические соборы и открытие Америки, теология Аквината и мистика Майстера Экхарта, движение европейского гуманизма и эпоха Просвещения, философия Р. Декарта, Б. Спинозы и И. Канта, сочинения В. Шекспира и О. Бальзака, творчество Дж. Мильтона и И. Гете, полотна Рембрандта и Ф. Гойи, музыка В. Моцарта и Л. Бетховена, открытия И. Кеплера и И. Ньютона, Ч. Дарвина и Г. Менделя, изобретение радио, телефона и воздухоплавание вписали яркие страницы в книгу достижений человеческой цивилизации. В царской России творили А. Пушкин и Ф. Тютчев, Ф. Достоевский и Л. Толстой, И. Репин и В. Серов, М. Мусоргский и П. Чайковский, Д. Менделеев и И. Павлов, поэты и философы Серебряного века. Одним словом завоевания культуры не детерминированы социально-экономическим порядком.

Хотя Советского Союза и того строя, который он олицетворял уже нет, прошло еще не так много времени, чтобы можно было всесторонне осмыслить масштабность прошедшей эпохи. Для оценки такого эпохального явления, какой была советская цивилизация, нужна определенная историческая дистанция, на которой исследователю лучше видится сущность изучаемого объекта. Тем не менее, не всегда стоит ждать, когда время само все расставит по своим местам. Уже сейчас накопленный исследовательский материал позволяет сделать первые обобщения. Впоследствии они могут уточняться или заменяться другими выводами, не совпадающими с уже сделанными. Но в этом и состоит основной смысл любого научного исследования. Оно должно быть открыто критике, пересмотру тех или иных положений и т. п.

В предлагаемой монографии предпринята попытка осмыслить логику развития нерыночных систем в их социально-исторической преемственности. Авторы старались вычлени в этой во многом исторической тематике собственно социологический аспект. Поэтому задача исследования состояла не в стремлении дать историческое изложение анализируе-

мых явлений, а в выявлении социальной логики развития исследуемого объекта, которая нередко выступает в разных исторических обликах, но при этом демонстрирует общность и единство образующих его признаков. Речь идет не о внешних или случайных аналогиях, которые часто встречаются в истории, а о сущностных чертах сложного, многогранного социального явления. Применительно к анализу нерыночных систем можно сказать, что все они и различны и сходны между собой. Их различия не случайны, а обусловлены конкретно-историческим контекстом, в котором эти системы формировались. Но и их сходства не поверхностны, так как выявляют их общие смыслы, заложенные в динамику развития таких систем. Такой подход помогает избегать двух крайностей компаративного анализа: принципа отождествления и принципа противопоставления. Это означает, например, что советский общественно-политический и экономический строй не может идентифицироваться с «азиатским способом производства» (если говорить в марксистских терминах), но и не должен рассматриваться в отрыве от последнего. Другими словами, обе разновидности нерыночной системы образуют не замкнутые социальные монады, возникшие на узкой полосе исторического пространства, а по-своему открытые системы или, точнее, цепочку обществ, через которую передаются заложенные в них смыслы и социальная энергетика. Системы нерыночного типа выделяются не только общими им характеристиками, в них действуют законы, отличные от тех, что проявляются в системах, основанных на категориях рыночных отношений. В рыночных обществах, т. е. обществах, базирующихся на товарном и капиталистическом производстве, где наблюдается стихийная игра экономических сил, особое место занимает экономическая стратификация социума. Они лучше поддаются описанию в терминах исторического позитивизма. В нерыночных обществах более значима роль политической и идеологической стратификации социума. Нерыночные общества объединяет в особый класс систем сопротивление закону социальной дифференциации как фундаментальному закону общественного развития. В обществах такого типа господствует интегративная (недифференцированная) целостность как способ преодоления закона центростремительного развития. Эта целостность постоянно воспроизводит себя на разных стадиях социального развития. Но ее конкретный облик определяется той культурно-исторической средой, в которой она функционирует. С этой точки зрения советский социальный порядок может рассматриваться в качестве предельной точки развития систем нерыночного типа, все идеологическое, социально-экономическое и политическое устройство которого было нацелено на сохранение интегративной целостности социума для блокировки действия закона социальной дифференциации. Авторы используют понятие интегративной целостности не для того, чтобы отказать в целостности рыночным обществам. Любому обществу необходима целостность, в противном случае оно рассыпится. Однако природа этой целостности в рыночной системе иная. Ее можно охарактеризовать как «парцельную» (дискретную), поскольку она допускает действие закона социальной дифференциации.

Изложенные методологические соображения могут создать впечатление телеологической оценки социальных явлений. Телеология, возможно, здесь и присутствует, но она свободна от крайних форм ее интерпретации. В отличие, скажем, от гегелевского (абсолютного) телеологизма, где определенный тип социального устройства (в виде прусского государства) превращается в кульминацию исторического процесса, авторы исходят из другой идеи. Ее суть можно было бы передать с помощью понятия относительной телеологии. Она подразумевает, что нет такого общепризнанного, единого образца, к которому неизбежно должны сходиться все линии социально-исторического развития как к своему единственно возмож-

ному жизненному центру наподобие «Омеги» Т. де Шардена. В рамках нашего понимания существует два ряда социальных систем: рыночный и нерыночный. Они взаимодействуют друг с другом и одновременно стремятся максимально раскрыть себя («развернуть»), т. е. обнаруживают тенденцию к экспансии. Эта логика развертывания действует в зависимости от обстоятельств. Прерываясь на одном историческом этапе, она не уходит в Лету, а ищет возможности воспроизвести себя в новых, изменившихся условиях. Такой подход позволяет отказаться от идеи прогресса и перейти к более трезвому пониманию того, что П. Сорокин называл социальной динамикой. В рамках этого понимания конфронтация двух социальных рядов представляет собой не противостояние по манихейски понимаемым силам «добра» и «зла», а их конфликтное взаимодействие и взаимопроникновение как источник развития общества. Оба типа социальных систем не отгорожены друг от друга непроницаемой стеной. Важно подчеркнуть, что рыночные системы не эквивалентны либеральной и демократической формам социальной организации, а нерыночные отношения не являются синонимом тоталитаризма. Как в рыночных обществах гнездятся институты принуждения, так в нерыночных системах пробивают себе дорогу демократические тенденции. В рыночные системы, которые в целом являются саморегулирующимися, самонастраивающимися системами, неизбежно инкорпорируются административные рычаги управления. В свою очередь нерыночными системами, которые строятся на доминировании внешних по отношению к гражданскому обществу и стоящих над ним регуляторов управления в виде институтов государства, рано или поздно овладевают процессы социальной дифференциации. Они раскалывают некогда казавшуюся незыблемой интегративную целостность обществ нерыночного типа на относительно автономно функционирующие подсистемы, выбирающие стратегию поведения, подчиненную частным (корпоративным) интересам.

В монографии две главы. В первой – «Типология социальных систем» – выявляются основные социально-стратификационные типы, которые сформировались еще в древности и до сего дня продолжают существовать в разных пропорциях, обеспечивая многообразие социальных отношений. Во второй главе – «Советский социальный порядок» – анализируются социально-структурные процессы в советском обществе. В ней советская система оценивается как наиболее развитая и динамичная форма обществ нерыночного типа.

ГЛАВА I. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. 1. Институт управления и социальная стратификация

Неоднозначные результаты трансформационных процессов 90-х гг. XX века в России заставляют заново осмыслить ее советское прошлое. С расширением границ российского опыта общественного развития расширяется круг возможностей для сравнительного анализа советского социального порядка. С начала XX в. и до начала XXI в., т.е. за сто с лишним лет, в стране сменилось три социальных режима – самодержавие, советский строй и постсоветская система. Радикальные исторические разрывы с прошлым, сопровождавшие эти системные сдвиги, поднимают сложные теоретические вопросы – носили ли такие переходы формационный или цивилизационный характер. В российской научной литературе нет единого ответа на этот вопрос. Одни исследователи продолжают сохранять верность формационному подходу, инициированному марксизмом [1], другие придерживаются цивилизационной парадигмы [2]. В первом случае советское общество определяется как буржуазное (государственный капитализм) [1, с.447] или социалистическое (государственный социализм) [5, с.179; 169, с.39, 47; 269, с.195], во втором – как особый тип цивилизации или «параллельная ветвь исторического развития современного индустриального общества» [2, с.50]. Первую точку зрения призван подкрепить взгляд на большевистскую революцию, описывающий ее в терминах «атеистического протестантизма» [3, с.89]. В рамках этой позиции проводятся аналогии между Октябрьской революцией и европейской Реформацией XVI в., а М. Лютер и В. Ленин рассматриваются в качестве сопоставимых по масштабу исторических фигур. В русле такого подхода лежит апелляция к символизму в симметрии дат – 1517 г. и 1917 г. – для усиления мысли о правомерности проводимых аналогий. В подтверждение указанного взгляда приводят иногда в пример участие многих старообрядцев в русской революции. Если согласиться с тем, что есть аналогия между протестантизмом и старообрядчеством, то тогда не трудно доказать буржуазный характер октябрьского переворота, так как представление о возникновении «духа капитализма» из протестантизма стало со времен К. Маркса и М. Вебера общим местом в научной литературе. Проблематичность этого подхода заключается в том, что квалификация протестантизма в качестве буржуазной идеологии вызывает серьезные возражения. Они будут изложены ниже, а сейчас лишь укажем на общий недостаток формационного подхода: требование от каждого общества пройти одни и те же стадии развития или – в своем крайнем выражении – миновать некоторые из них, чтобы достичь желаемого идеала (обойти тот же капитализм для построения социализма). В первом предисловии к «Капиталу» К. Маркс писал, что «общество ... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами». Впоследствии Маркс смягчил свой детерминизм, допустив возможность перескочить некоторые «исторически неизбежные» стадии социального развития. Из его «Набросков ответа на письмо В. И. Засулич» следует, что прохождение капиталистической фазы исторического развития не обязательно для таких стран, как Россия, где сельская община, будучи «архаическим типом общей собственности», могла бы стать отправным пунктом движения к коммунизму современного типа. На дефект как линейных, так и жестко циклических теорий обратил внимание в современной социологии П.Сорокин. По его мнению, этот дефект состоит в детерминистской вере в существование «всеобщей за-

кономерности» и «неотвратимости» «законов социального развития», общих для всех культур и обществ [4, с.123-124]. С этой точки зрения советское общество не обязательно должно квалифицироваться как буржуазное или социалистическое.

Более основательным выглядит культурно-цивилизационный подход, свободный от предписывания конкретно-историческим обществам логики «одноколейного» развития. Однако он тоже не безупречен. «Мы не отрицаем цивилизационный подход – пишет А. Амосов, – но он тоже не подходит для объяснения переломных моментов. Нельзя было в течение одного 1917 г. дважды сменить цивилизацию» [5, с.177]. Кроме того, в рамках цивилизационного подхода под особой советской цивилизацией подразумевается по существу традиционалистский тип общества [6]. Эта точка зрения только отчасти верна, поскольку она игнорирует то важное обстоятельство, что советский строй был продуктом массового общества и индустриальной культуры с развитой наукой и квалифицированными инженерно-техническими кадрами.

Промежуточное место занимает точка зрения на советское общество как вариант азиатского способа производства [121, с.573-577]. В ней соединились элементы формационного и цивилизационного концептов. Отказ идентифицировать советский социум с капитализмом или социализмом породил потребность найти ему аналог в обществах, существовавших на ранних этапах человеческой истории. Здесь, как нельзя кстати, пришлось понятие азиатского способа производства, восходящее к марксизму. К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли в азиатском способе производства три системообразующие «отрасли управления»: финансовое ведомство (или «ведомство по ограблению своего народа»), военное ведомство (или «ведомство по ограблению других народов») и ведомство общественных работ, ответственное за воспроизводство всей системы. Среди причин существования такого социального режима классики марксизма называли такие факторы, как климат, состав почвы, размеры территорий и необходимость экономного и совместного использования воды, исключавшие возникновение частной собственности и создание добровольных ассоциаций, но «повелительно» требовавшие «вмешательства централизирующей власти правительства». По словам Энгельса, отсутствие частной собственности на землю является «ключом к пониманию всего Востока» [143, с.221]. Термин и существо концепции азиатского способа производства построены не на свойственных марксистской теории общественно-экономических формаций классовых критериях, а на физико-географических и цивилизационных основаниях. Данная концепция открыла путь к более широкому подходу к оценке систем, где нет частной собственности на средства производства. Таким подходом воспользовался эмигрировавший в 30-е гг. в США немецкий историк К. Виттфогель для формулировки своей теории «агродеспотий» или «гидравлических обществ» [144]. Согласно этой гипотезе, азиатский способ производства возникает тогда, когда общины с коллективной собственностью на землю объединяют свой труд с целью строительства крупных ирригационных сооружений. Мобилизационный характер труда общинников порождает деспотию, где господствующим классом становится бюрократия во главе с деспотом. Виттфогель, указывая на сходство «реального социализма» с таким «агроменеджерским» устройством, писал: «... руководители Советской России увековечили ключевой признак агрореспотического общества – монопольное положение правящей бюрократии» [144, р.440]. Но при этом он не относил общественную систему в СССР к азиатскому способу производства, равно как и к «социализму», «неофеодализму» и «государственному капитализму» [144, р.439, 441]. Отличие советской системы от агрореспотии древности немецкий историк видел в двух признаках.

Во-первых, если «аграрный деспотизм был полуменеджерским» устройством, т. е. «сочетал тотальную политическую власть с ограниченным социальным и интеллектуальным контролем», то «индустриальный деспотизм достигшего наивысшего развития менеджерского аппаратного общества», под которым подразумевается советский строй, «сочетал тотальную политическую власть с тотальным социальным и интеллектуальным контролем» [144, р.440]. Другими словами, советский социальный порядок выступает здесь в качестве наиболее развитой формы, логического завершения «аппаратного государства», начальной формой которого является «гидравлическое общество» древности. Во-вторых, Советский Союз, проведя индустриализацию, породил «индустриальную форму тотального этатизма» [144, р.441]. С аргументом «от индустриализации» не согласен М. Восленский. По его мнению, качественные различия между каменными и железными орудиями труда не помешали существованию азиатского способа производства. Думается, что аргумент Виттфогеля исторически и логически более точный. Б. Вышеславцев в начале 50-х гг. XX в., т. е. незадолго до публикации труда немецкого историка «Восточный деспотизм. Сравнительное исследование тотальной власти», показал в своем анализе «кризиса индустриальной культуры» ее принципиальное отличие от доиндустриальных обществ [60]. Индустриализация настолько круто изменила жизнь людей, что, по мысли философа, если бы вдруг Сократ оказался во Франции XVIII столетия, то он нашел бы там гораздо больше общего с Древней Грецией, чем между Элладой и, скажем, Англией после промышленной революции.

Подмеченное Виттфогелем сходство между советским строем и восточными агродеспотиями выявляет системные признаки обществ нерыночного типа: отсутствие или слабость частной собственности, монопольное положение государственной власти, давление идеологических или обрядово-культурных норм на повседневность и мобилизационный способ хозяйствования. Замена Виттфогелем понятия «эксплуатация» – одного из центральных в социально-экономической теории Маркса – категорией внеэкономического принуждения представляется продуктивным шагом в понимании такого рода социальных систем. Немецкий историк писал: «Гидравлическое государство отличается ... от государств *laissez-faire* индустриального общества тем, что оно выполняет ключевые экономические функции с помощью принудительного труда» [144, р.48]. Недостатками теории Виттфогеля являются взгляд на азиатский способ производства как следствие ирригационных работ (и здесь критика Восленским «монокаузального» подхода, устанавливающего жестко детерминистскую связь между агродеспотией и ирригационными системами, достигает своей цели [121, с.577-580]) и понимание бюрократии как класса. Последнюю ошибку повторяет и Восленский, хотя он связывает агродеспотию не со строительством ирригационных сооружений, а с полным огосударствлением. В рамках марксистского понимания азиатского способа производства, в чьей логике выдержаны концептуальные выкладки обоих исследователей, данный способ производства – единственный (после первобытно-общинного строя) в схеме общественно-экономических формаций, который не является классовым обществом. Поскольку в нем отсутствует частная собственность на средства производства как основополагающий критерий классовообразования, то нельзя говорить применительно к такому обществу о бюрократии как классе.

Однако было бы неверно полностью игнорировать концепцию азиатского способа производства в интерпретации Виттфогеля-Восленского, тем более, что очевидна аналогия между некоторыми сторонами социальной организации советского типа и обществами азиатского способа производства. Признание такой аналогии не должно заслонять тот факт,

что советский строй, помещенный в социально-исторический контекст модерна, решал задачи индустриальной модернизации, тогда как общества в рамках азиатского способа производства были не просто аграрными, но и антимодернизационными. Перефразируя слова В. Ленина о «варварских» средствах борьбы Петра I против «варварства» Московской Руси, можно сказать, что советская власть боролась с социальной архаикой, используя архаические средства.

Слабые места в рассмотренных позициях не запрещают использовать данные подходы к решению частных исследовательских задач, но не закрывают путь другим методологическим построениям. Их поиск должен считаться со спецификой советской социальной системы, описание которой полностью не подчиняется требованиям исторического позитивизма с преобладающим у него интересом к детерминирующей роли социально-экономических факторов. Использование структурно-функционального подхода необходимо дополнить или уравновесить применением феноменологического подхода и новой институциональной теории.

Социальная история России вообще и советского социального порядка в частности иллюстрирует правомерность поставленной О. Контом проблемы совмещения социального порядка и прогресса. «Главный порок нашей социальной ситуации – писал французский социолог – состоит в том, что идеи порядка и идеи прогресса оказываются сегодня... разобщенными и... даже враждебны друг другу» [7, с.47]. Тезис Конта коррелирует с идеями Э. Дюркгейма о развитии как комбинации «двух противоположных сил» – «центростремительной» (интегрирующей) и «центробежной» (дифференцирующей) – и современными положениями социальной синергетики. «Любое общество – пишет В. Бранский – представляет собой диссипативную систему, причем с периодически сменяемыми элементами, ибо диссипативная структура (социальный режим) здесь в определенных пределах существует независимо от смены поколений (элементарных диссипативных систем)» [8, с.115]. В такой структуре «с феноменологической точки зрения развитие представляет собой ... процесс преодоления противоположности между порядком и хаосом ввиду принципиальной неустойчивости как упорядоченных, так и хаотических структур» [8, с.115]. Согласно феноменологической социологии П. Бергера и Т. Лукмана, всякая человеческая деятельность подвержена процессам «хабитуализации», т.е. опривычивания, которые лежат в основе любой институционализации. «Институционализация – подчеркивают П. Бергер и Т. Лукман – имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт» [9, с.92]. С позиций новой институциональной теории Д. Норта «институты являются правилами игры в обществе или, определяя их более формально, изобретенными человеком ограничениями, формирующими межчеловеческие взаимодействия» [10, р.5]. При этом трансформация понимается не как самоцель или обязательно прогрессивный (восходящий) процесс, а как адаптация институтов к сложившемуся социально-историческому контексту (внешней социальной среде, с которой система состоит в отношениях обмена веществом, энергией и информацией) с целью достижения тем или иным социальным порядком структурной устойчивости. «Учитывая прерывистый характер исторического развития России, – пишет А. Гофман – актуализация, “возрождение” традиций по своему механизму практически тождественны инновационным процессам» [223, с.370]. При этом базовым институтом универсального значения является институт управления, а категории класса и частной собственности не являются общеобязательными социальными

характеристиками по сравнению с категорией управления, которое исторически предшествует им. Такое различие позволяет сделать введенный М. Вебером критерий классовообразования, разводящий понятия «владение благами и доходом» в «условиях рынка товаров и услуг» как целостной системы социально-экономических отношений, и «владением *per se*», имеющим место в обществах нерыночного типа [11, р.927-928]. Именно с первым типом «владения» немецкий социолог связывал категорию класса и, соответственно, частной собственности в строгом смысле этого слова. Поэтому понимание специфики советского социального порядка может быть более продуктивным, исходя из категории управления, а не из категорий класса и частной собственности, которые в истории России не имели прочных и длительных традиций. Предлагаемый подход к анализу советского социального режима строится на идее взаимодействия трех типов управления – идеями, людьми и вещами. Поскольку отношения между властью над идеями (информационная стратификация), властью над людьми (социально-политическая стратификация) и властью над вещами (социально-экономическая стратификация) определяют любой тип социального порядка, использование такой методологической сетки охватывает большее число существовавших в истории обществ по сравнению с обществами классового типа в смысле Вебера. В эту обширную когорту попадают наряду с советским обществом и другие общества, в том числе доиндустриальные. Такое соседство не случайно и не произвольно. С одной стороны, оно не устраняет важные особенности советской системы, с другой, обнаруживает ее общность с предшествовавшими ей социальными формами. С этой точки зрения советский социальный порядок выглядит не исторической аномалией, не случайным зигзагом истории, а исторически обусловленным синкретическим единством, вобравшим в себя некоторые важные институты традиционных обществ и Нового времени. Поскольку для целей нашего исследования особую роль играет анализ типологии обществ Древнего мира, то мы подробнее остановимся на ней. Внимание к опыту социальной стратификации в древнем мире – это не просто дань осмыслению прошлого или удовлетворение законного любопытства, продиктованного значением одной из центральных тем социологического дискурса. Актуальность темы определяется рядом других причин. Именно в древнем мире как на Востоке, так и на Западе сложились социально-стратификационные парадигмы, составлявшие через череду различных комбинаций их элементов постоянный фон социального развития человечества. Признание этого обстоятельства отражается и в незыблемости позиций в истории социального знания теорий циклического развития, уходящих своими корнями в глубокие пласты мифологического сознания, и в понимании в рамках классической социологии (Г. Тард) общества как проявления закона повторения и подражания [12, с.50-51]. Действие этого закона иллюстрирует, и пример философской мысли. Ф. Ницше выдвинул идею «вечного возвращения». По словам А. Уайтхеда, мировая философия есть лишь пространственный комментарий к философии Платона. Перефразируя это высказывание английского философа, можно сказать, что исторически известные стратификационные образцы являются лишь модификациями социальных моделей древнего мира. С интуицией повторяемости общественных явлений коррелирует ощущение тупиковости современного этапа человеческого развития. Как отмечает П. Штомпка, «постоянная критика теории развития...привела к медленному размыванию ее и...полному отрицанию. В настоящее время обе ее основные версии – эволюционизм и исторический материализм...уже принадлежат истории социального мышления» [13, с.241]. Это только актуализирует мысль древних философов о человеческой истории как круговороте социальных систем.

В свете сказанного очевидна актуальность анализа стратификационных парадигм древнего мира, позволяющих понять специфику как западного, так и российского социального порядка.

Хорошо известна роль античной (греко-римской) культуры в становлении западной цивилизации [14, с.11]. Некоторые исследователи прослеживают истоки западной цивилизации еще дальше – к Шумеру [15, с.8]. По словам Н. Бердяева, Россия – это «смешанный Востоко-Запад» [16, с.131]. В свете этих социокультурных подходов требует уточнения ныне популярный тезис американского политолога С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций». Так ли антагонистичны Восток и Запад и «им никогда не сойтись»? Или корни их противостояния лежат не в изначальной несовместимости друг с другом, а в возникшей на определенном этапе развития социальной дивергенции обоих миров? Если принять ответ, исключающий абсолютную противоположность Запада и Востока, то тогда оба культурно-цивилизационных блока предстанут перед нами как целое, в котором происходит «взаимопроникновение и смешение...идей, институтов, образцов» [17, с.98]. «Только люди, - писал П. Сорокин – склонные к употреблению эвфемизмов...могут называть экономику Соединенных Штатов экономикой свободного предпринимательства» [17, с.179-180]. Использование административных механизмов управления было основополагающим признаком этакратически ориентированных социальных систем древнего мира. Дистрибутивный принцип функционирования экономики традиционного типа в видоизмененном виде также воспроизводится в современных западных обществах, где идет сдерживающая экономический рост борьба за распределение, перераспределение и присвоение доходов [18, с.6]. Товарно-денежные отношения, рынок, кредит, наемный труд были известны Востоку и Западу с древних времен. Такой социальный институт, как «вэлфэр», заставляет вспомнить об античном люмпен-пролетариате, бесплатно получавшем от государства «хлеб и зрелища». Появление информационного общества, где знание становится фундаментальным фактором социального развития и критерием стратификации, сближает современный мир с той формой общественного устройства прошлого, в рамках которой на вершину социальной пирамиды был вознесен ни царь, ни чиновник, ни частный собственник, а носитель и хранитель знаний, накопленных многими поколениями людей.

Анализ социально-стратификационных систем древнего мира полезен и для понимания специфики социально-исторического профиля России. Один из выводов состоит в том, что смена форм собственности сама по себе не дает модернизационного эффекта. Возникновение в недрах древнего общества института частного предпринимательства принципиально не меняло его устои. Для перехода к иному цивилизационному типу более важен способ управления, т.е. организации власти на всех уровнях социальной иерархии, и характер ценностей. Эффективный менеджмент и сохранение традиционных базовых ценностей позволили, например, некоторым странам Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань) совершить скачок и войти в ряды «золотого миллиарда». В то же время, как показывает социальный опыт Древнего Востока, высокая культура может уживаться с деспотической властью и регламентацией экономической деятельности.

Первичной формой социальной стратификации послужило отделение труда от других сфер человеческой жизнедеятельности. Л. Мэмфорд писал: «...работа..., отделенная от других биологических и социальных действий, не только занимала полный день, но все больше завладевала всем жизненным временем. Это была фундаментальная отправная точка, которая вела к...механизации и автоматизации производства» [19, с.233]. Вопрос

о том, привело ли выделение труда в самостоятельную сферу общества к появлению классов, оставляет простор для дискуссий. Здесь доминирующее значение в течение долгого времени имело марксистское понимание классов. По мнению К. Маркса, о той или иной эпохе нужно судить не по тому, что о ней думают ее идеологи, а по тому, как производят. Поэтому в марксизме способ производства определял природу социальной системы, а форма собственности становилась фундаментальным фактором классового образования. Связав класс с институтом частной собственности, Маркс распространил существование классов на всю историю человечества, исключив из числа классовых обществ лишь первобытно-общинный строй и «азиатский способ производства» [20, с.419-459]. На наш взгляд более адекватным выглядит указанный выше критерий классового образования, предложенный М. Вебером. В соответствии с этим критерием институты класса и частной собственности возникают лишь с развитием капитализма, а не являются постоянными спутниками социальной эволюции человечества. С этой точки зрения древние или традиционные общества являются доклассовыми, а возникающие на определенном этапе их развития институты частной собственности и товарно-денежных отношений, принципиально не меняя их природу, отражают процесс дальнейшей социальной дифференциации. Промежуточную позицию занимает методологический подход К. Виттфогеля. С Марксом Виттфогель сближает прежде всего понимание «государственной власти» или «отношения к государственному аппарату» в качестве «основной детерминанты», «ключевого критерия» социальной (по Виттфогелю, «классовой») структуры обществ азиатского способа производства (АСП) [144, р.302]. Но если у Маркса АСП – это неклассовое общество, где, стало быть, нет никаких классов, то немецкий историк считал АСП классовым обществом, а управляемых и бюрократию как его правящую группу, – соответственно, классами. Следуя за веберовскими идеями социальной стратификации, Виттфогель подчеркивал ведущую роль категории статуса в обществах нерыночного типа. В подобных социальных системах «в рамках правящего класса – писал К. Виттфогель – положение во властной иерархии является главной детерминантой, тогда как обладание богатством вторично» [144, р.304-305]. Видя во властной иерархии основополагающий стратификационный фактор, Виттфогель порывал с марксовым взглядом на частную собственность как вездесущий фактор классового образования. Общества с частной собственностью на средства производства оказывались лишь частным случаем обществ классового типа. Поэтому Виттфогель заключал, что бюрократию следует также считать классом «гидравлического общества», как, например, считают буржуазию классом капиталистического общества. Их отличает только генезис: в одном случае появление классов детерминировано государством, в другом – институтом частной собственности. Однако сам Вебер не решался сделать вывод о том, что бюрократия является классом, хотя такой вывод напрашивается из его концепции.

Согласно избранному нами критерию социальной стратификации – управлению, – выделим три основных типа социально-стратификационных систем – идеократический, этакратический и плюралистический – и рассмотрим их. Идеократический и этакратический типы социальной стратификации основаны на институтах власти (хотя в одном случае это власть идеологическая, а в другом политическая),

а плюралистический тип уже опирается и на институт частной собственности. В терминах К. Виттфогеля речь идет об «обществах, основанных на власти», и «обществах, основанных на собственности» [144, p.302].

1. 2. Идеократический тип

Его классическим образцом признается древнеиндийская социально-стратификационная модель. В ней первоначально существовавшие в качестве сословий (варн) социальные группы – брахманы (жрецы), кшатрии (правители или раджи, воины), вайшии (земледельцы, торговцы) и шудры (неполноправная часть общества) – превращаются в касты. Кастовая система обладает здесь такой устойчивостью, что она с некоторыми изменениями сохранилась в Индии вплоть до середины XX в. Социологически и идеологически касты и сословия – явления разного порядка. На первый взгляд кастовая система отличается большей закрытостью и вытекающей отсюда слабой социальной вертикальной мобильностью [21, с.126]. Запреты на браки между представителями разных варн, господство наследственного принципа социальной стратификации, определявшего принадлежность к той или иной касте по рождению, обряд посвящения, обособивший касты «дважды рожденных» (три первые варны) от касты «однажды рожденных» (низшая варна) помогали сохранять кастовую систему [22, с.310]. Однако сами по себе эти признаки еще не в полной мере объясняют устойчивость и иммобильность индийского кастового строя. Дело в том, что нарушение запрета на межкастовые браки, которое нередко имело место в индийской истории, как и институт «дважды рожденных», открывали лазейки для социальной мобильности кшатриев и даже вайшиев. Появление буддизма на время ослабило кастовую систему и усилило мобильность. Тем не менее, динамика превращения сословной структуры в кастовую не сменилась обратным процессом. Причину этого следует искать в том, что в таком обществе «индивид сознает свой социальный статус как некое естественное положение в космосе» (предписанный статус) [23, с.222]. То, что социально-профессиональный статус человека определялся не только его происхождением, но и мировоззрением, иллюстрирует пример джайнизма – религиозно-философской системы, возникшей в VI в. до н.э. Ее сторонникам запрещалось заниматься земледелием на том основании, что сельскохозяйственные работы способны невольно нанести ущерб живым существам. Для джайнов неважно, о каких существах идет речь – грызунах, малозаметных насекомых, хищниках или безобидных животных, так как любая жизнь священна и не может быть отнята человеком. Поэтому сторонники джайнизма посвящали себя занятиям торговлей, исключаящей, по их мнению, такой риск.

По словам американского социолога Е. Бергеля, касты есть религиозное оправдание неравенства, а сословия – его юридическое и теоретическое оправдание [24, с.231]. Знание в древней Индии провозглашалось «силой, которая сохраняет порядок в мире и правит вселенной» [21, с.157]. В индуистской идеократии монополия на знание или власть над идеями более значима, чем монополия на политическую власть или власть над людьми и монополия на собственность или власть над вещами. Превосходство религиозного статуса над политическим и экономическим поставило касту жрецов (брахманов) выше царей и военной аристократии, не говоря уже о земледельцах и купечестве. Это не означает, что при идеократическом социальном порядке, где определяющим становится принцип информационной стратификации, нет места частной собственности и товарно-денежным отношениям. Однако возникновение страт частных владельцев земли и торгов-

цев или, по выражению П. Сорокина, «аристократии по богатству» не поколебало господство брахманов. На вершине социальной пирамиды им позволяли оставаться интеллектуальное превосходство и эффективная система подготовки элиты на основе тщательного биологического и социального отбора лидеров [21, с.536]. Природа власти касты брахманов, как и вообще жрецов, состояла в производстве символов. Как отмечает французский социолог П. Бурдьё, «с ростом дифференциации социального мира... работа по производству и внушению смыслов осуществляется в поле производства культуры и посредством борьбы внутри него... Она является собственным делом и специфическим интересом профессиональных производителей объективированных представлений о... мире или... методов этой объективации» [25, с.67-68]. Не случайно брахманов называли «властью без армии или силы».

Пример идеократической модели показывает, как «экономический базис» капитулирует перед «идеологической надстройкой». Прочная инфраструктура идей способна порой лучше обеспечить стабильность общества, чем хорошо функционирующая экономика с высокой социальной мобильностью. В современном мире экономический и технологический рост поддерживаются за счет общего снижения порога катастрофичности социального развития и применения военной силы.

1. 3. Этакратический тип

Здесь нас интересует такая его разновидность как идеократическая (жреческая) этакратия. Этот тип социальной организации имеет фундаментальное значение для осмысления российского социального порядка и его советской модификации.

В рамках идеократического этакратизма жреческая власть претерпевает некоторую трансформацию. Она состоит в превращении касты жрецов в «религиозных функционеров, т.е. менеджеров» [26, с.17]. Эту трансформацию, которая началась в Шумере, исследователи назвали первой управленческой революцией. Она породила специфическую форму рынка – рынок духовных услуг: отказ от института человеческих жертвоприношений верующие оплачивали частью своего дохода (в виде продовольствия, золота, серебра, шкур животных). В результате сложился «новый тип деловых людей – еще не коммерческий делец или капиталистический предприниматель, но уже и не религиозный деятель, чуждый...наживь» [26, с.17-18]. От религиозно-коммерческой революции шумерских жрецов до продажи индульгенций христианской церковью лежал долгий и извилистый путь. Однако подобный шаг, предпринятый духовенством Европы, был логическим следствием жреческих инноваций: если можно умиловить богов богатыми приношениями, то ничто не мешает выкупить искупление человеческих грехов. Хотя жрецы еще не стали собственниками, поскольку то, что приносилось в жертву, считалось собственностью богов, а не людей, тем не менее они сосредоточили в своих руках огромные богатства и власть. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей жрецы руководили сбором налогов, управляли государственной казной, распоряжались бюджетом, вели деловую документацию, выполняли снабженческие, контрольные, плановые функции [26, с.18]. Ключевая роль храмовых хозяйств в древневосточных обществах определялась господствовавшей идеологией. Согласно ей боги должны были иметь свое хозяйство, министров и считались крупнейшими землевладельцами [15, с.152]. Идеология служила важнейшим социально- стратификационным критерием. Вокруг такой мифологемы формировалась социальная структура храмовых хозяйств как государства в государстве. Шумерские и древ-

неегипетские храмы не были похожи на античные храмы Греции и Рима. Они представляли собой большой хозяйственный комплекс, куда кроме самого храма входили дворец, правительственные учреждения, склады и мастерские [15, с.152]. Несмотря на царившую в храме религиозную атмосферу, жрецы демонстрировали образцы рационального ведения хозяйства задолго до императивов бережливости и расчетливости, провозглашенных протестантской этикой труда. Все расходы и доходы тщательно фиксировались, ежемесячно составлялся общий баланс, за доставку в храм десятины выдавались расписки [15, с. 153]. Кроме того, составлялись ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные отчеты о количестве выданной шерсти и проданной ткани. При этом делались скидки с учетом издержек [15, с.154]. Каждому человеку выдавалось строго определенное количество пищи (муки, растительного масла). В храмовой экономике сочетались элементы планового ведения хозяйства, учет и контроль продукции, принцип нормированного распределения и потребления продукта. Феномен дистрибутивной экономики не ушел в историю вместе с древневосточными обществами. Он был вновь возрожден странами, вставшими в XX в. на путь ускоренной модернизации.

Интересы жрецов, совмещавших в себе функции религиозных функционеров и аристократии по богатству, сталкивались с интересами светских правителей. Постепенно центр влияния перемещался из храмового хозяйства к правительскому, т.е. царскому «дому». Складывалась бюрократическая система, где жречество, оставаясь «одной из главных опор государства», превращается в царских чиновников [27, с.276]. Бюрократия находится в полной зависимости от царя, получая от него довольствие натурой и земельные наделы за службу. Институт «условного владения» и взгляд на царских людей как на «рабов царя» снижали жреческий статус и повышали статус правителя. Вавилонский царь Хаммурапи, подчинив экономически и административно храмовые хозяйства, установил монополию государства в обществе. Общая тенденция в эволюции жреческого этакратизма состояла, таким образом, в постепенном переходе от двоевластия, т.е. власти жрецов и правителей, к концентрации всей полноты власти в руках царя.

В этакратической системе на вершине социальной лестницы оказываются светские властители. При идеократической этакратии они являются одновременно верховными жрецами и собственниками земли (как фараоны древнего Египта или цари Шумера и Аккада) [27; 28, с.32]. В таких обществах особенно популярны легенды о культурных героях, сочетавших в себе образы царя и мудреца (Гермес Трисмегист в древнем Египте или Гильгамеш в Шумере). Деификация правителей служила важным оправданием централизации власти. Сдерживающий процесс социальной дифференциации систем управления идеями, людьми и вещами, централизация царской власти тем не менее не могла его полностью приостановить. Как заметил еще Г. Спенсер, «индивидуальная воля деспота является...мало значащим фактором, и авторитет, которым он обладает, пропорционален степени, в какой он выражает желания остальных» [21, с.70]. Возможность справиться с оппозицией жрецов во многом зависела от личности правителя. Так, например, вавилонскому царю Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) удалось подчинить себе жрецов, а египетский фараон Рамсес XII (XI в. до н. э.) был свергнут с престола жреческой кастой. В сочетании с войнами, территориальным распадом государств или их завоеваниями это обстоятельство влияло на частоту смены династических режимов. В отдельные периоды истории древнего Египта продолжительность правления фараонов не превышала один-два года [21, с.528]. Кроме того правители, нуждаясь в накоплении богатств для

ведения войн и строительства сооружений, вынуждены были допускать развитие товарно-денежных отношений, сопровождавшееся ростом влияния торгового сословия. Так, ростовщические дома играли большую роль в Вавилоне, бывшем в свое время торговым центром Передней Азии [22, с.217].

В рамках идеократической этакратии приобретает особое значение институт чиновничества. Его роль определялась специфической административной и хозяйственной организацией общества. Для нее в частности характерна тяга к гигантским масштабам строительства – ирригационных систем, храмов в Шумере, пирамид в древнем Египте, зиккуратов (служивших также обсерваториями для ведения астрономических наблюдений), храмов в Вавилоне – этих памятников мобилизационного потенциала древнего мира. Масштабные сооружения Древнего Востока – не только показатель мастерства строителей или символы могущества местных владык. По мнению французского философа Ж. Дерриды, «египетские коннотации пирамиды... - пример сопротивления движению диалектике, истории и логоса» [29, с.177]. Вавилон стал родиной двух (второй и третьей) управленческих революций. Одна из них связана с именем Хаммурапи. Его кодекс направил государственное управление в русло писанных законов, создав первую светскую формальную систему администрирования [26, с.19]. К эпохе Хаммурапи восходит и политика государственного патернализма, культивировавшая в подданных образ царя как заступника народа. В VI в. до н. э. другой вавилонский царь Навуходоносор II ввел производственный контроль на текстильных фабриках. С этой целью использовались цветные ярлыки. С их помощью контролировалось поступление пряжи в производство и определялся срок пребывания сырья на фабрике [26, с.20].

Изменения в системе управления ослабляли кастовый принцип стратификации и усиливали вертикальную мобильность. В том, что институт светской бюрократии формировался также и не по наследственному признаку, были свои сильные и слабые стороны. Не наследуемый ранг чиновника открывал людям из низших слоев общества возможность подняться наверх. Но бюрократы находились в полной зависимости от воли царя, которому они были обязаны своим возвышением. Советник фараона династии Птахоти писал: «Если ты возвысился из ничтожества или разбогател после бедности, не превозносись... Гни спину перед начальством, тогда твой дом будет в порядке, а...жалование в исправности» [26, с.37]. Такие поведенческие нормы и владение грамотой позволяли людям незнатного происхождения и небольшого достатка сделать карьеру при дворе. В существовавших там школах подготовки чиновников изучался придворный и служебный этикет, следили за высоким моральным обликом воспитанников, культивировалась книжная мудрость. В «Наставлениях Дуау» говорится: «Нет ничего выше книг» [26, с.37].

Однако бюрократия была еще не так сильна, чтобы на равных конкурировать со жречеством за овладение умами людей. Жрецы были хранителями всех знаний, в том числе научных. Платон, изучавший социальное устройство древнего Египта во время своего пребывания в этой стране, стремился достичь синтеза власти государства и знания в попытке устранить противоречия между двумя субкультурами. По его словам «пока в государствах не будут царствовать философы, либо...цари не станут...философствовать и...не сольются воедино...государственная власть и философия...до тех пор государствам не избавиться от зол» [30, с.252-253]. В идеализированной модели древнегреческого философа ни богатство, ни связи не давали право ремесленнику или купцу перейти в высшие слои общества – воинов-стражей и правителей. Между тем в платоновской социальной

иерархии под властью лучших подразумевалась не аристократия по происхождению, а лидеры, выделявшиеся знаниями и добродетелями. Это предполагало как восходящую, так и нисходящую мобильность. Человек из простонародья (или, как сейчас бы сказали, «с улицы») мог стать воином или правителем, а представитель родовитой знати мог попасть в ряды низших страт. Здесь мысль Платона вплотную подошла к концепции «демократического элитизма», сформулированного в своей эксплицитной форме Ф. Ницше. По существу, Платон устранял наследственный принцип деления общества путем отбора элиты на основе высоких нравственных и интеллектуальных качеств человека.

В идеократической и этакратической стратификационных моделях тенденция к сохранению кастовости сочетается с переходом от более закрытых групп к более открытым. Изменение границ пространства социальной мобильности вызвано циклической сменой наследственной и ненаследственной форм статусной организации общества. Социальная динамика задается ростом населения, военной экспансией, возникновением и гибелью империй, усложнением системы управления. Хотя социальная структура оставалась сословно-кастовой, она модифицировалась под воздействием трех управленческих революций и товарно-денежных отношений. С одной стороны, происходит «коммерциализация» высших каст (жрецы Шумера), с другой, – подъем выходцев из низов в ряды высших страт (чиновники древнего Египта, древнего Китая).

Социальную мобильность обеспечивают не только военная доблесть и царская милость, но и личные достижения и богатство. Возможность реформирования общества в указанных стратификационных типах существенно лимитирована. Реформы осуществляются, прежде всего, в интересах правящих групп. Фундаментальной характеристикой идеократической и этакратической систем является их способность к устойчивому воспроизводству старых социальных отношений. Там, где изменения все же случаются, они не приводят к системным сдвигам. Такие общества более чувствительны к внешним воздействиям – природным катаклизмам или давлению со стороны более агрессивных цивилизаций. На невосприимчивости обществ Древнего Востока к техническому прогрессу при очевидных культурных и цивилизационных достижениях сказались господство в них монистической модели власти и отношение к природе, которая воспринималась древними, говоря словами одного тургеневского героя, скорее как храм, чем мастерская, где человек – работник.

Дистрибутивная экономика ориентировала рядового работника на удовлетворение физиологического минимума потребностей и не создавала стимулов к рациональной трудовой деятельности. В условиях преобладания натурального хозяйства институты частной собственности и товарно-денежных отношений не устраняли приоритет внеэкономических критериев социальной стратификации. Более того само положение частной собственности оставалось не стабильным. В древнем Китае императорская власть предпринимала попытки запрета купли-продажи рабов. В Уре времен третьей династии запрещалась продажа полей [27, с.272]. В Вавилоне Хаммурапи вообще запретил частное предпринимательство [27, с.370]. Консолидацию позиций частной собственности сдерживали также институты «условного владения», при котором служилая (номовая) знать получала земельные наделы за службу царю, и государственных рабов. Институт государственного рабства был распространен как на Западе (Спарта), так и на Востоке (Шумер, древний Египет) [27, с.21]. Некоторому «распылению» частной собственности содействовал и институт пекулий. Он предоставлял рабу право использовать часть имущества своего господина, которому по-

лагалось отдавать часть полученного дохода. В условиях преобладания патриархального рабства, натурального хозяйства институт пекулий давал рабу небольшие шансы стать свободным собственником. Этот институт скорее развивал сервильные отношения, чем служил каналом восходящей мобильности. Тем не менее, как считал Виттфогель, «мелкая частная собственность представляла собой заметное явление в гидравлических обществах» [144, р.295]. И здесь немецкий историк задается важным вопросом: «Стала ли она значительной политической силой?» [144, р.295]. И дает отрицательный ответ на него. Почему частные собственники в таких обществах не могут превратиться во влиятельную политическую силу? Почему недостаточно наличие частной собственности для усиления политического веса таких групп? «Даже когда они – пояснял Виттфогель – не находились под жестким государственным давлением, они составляли политически иррелевантную форму демократии нищих. С точки зрения абсолютистской власти бюрократии собственность ремесленников и крестьян была собственностью нищих, т. е. собственностью, которая экономически фрагментированна и политически бессильна» [144, р.296]. Но при агрореспотии политическую слабость демонстрируют не только ремесленники и крестьяне, но и владельцы крупных состояний. Почему экономическое богатство не удается в таких обществах конвертировать в политическую власть? По мнению Виттфогеля, «в рамках управляемого класса типы ... собственности являются основными детерминантами социального статуса, в то время как различия в системе властных отношений играют минимальную роль или вообще не играют никакой роли» [144, р.305]. Таким образом, можно выделить несколько причин, по которым частнособственнические группы отстранены от власти. Во-первых, частная собственность сама по себе не содействует политической консолидации социальных групп. Во-вторых, богатая прослойка частнособственнического сегмента рассматриваемого типа общества обеспечивает высокий для себя социальный статус чисто экономическими средствами и потому она не нуждается в дележе власти. В-третьих, и мелкая и крупная частная собственность функционирует в условиях, говоря словами Виттфогеля, «тотальной политической власти», абсолютной монополии бюрократии на управление. Страта собственников вынуждена считаться с тем, что одно только обладание материальным богатством (экономическим ресурсом) при господстве иерархий политических и идеологических статусов недостаточно для включения в политический процесс. Но можно ли отнести к правящему классу всю бюрократию? Хотя преобладание крупных хозяйств, централизация управления, расширение границ империй стимулировали рост чиновничества, оно не стало самостоятельной политической силой. Ею оставались царь и жрецы, которые не следует отождествлять со всей бюрократией. В отличие от остальной части управленческого слоя монарх, и жреческая каста имели сакральный статус. При идеократическом типе стратификации институт управления идеями обособляется от институтов управления людьми и вещами. В иерархии статусов религиозный статус здесь стоит выше политического и экономического статусов. Отношение страт к обладанию знанием является более существенным признаком социально-стратификационных процессов, чем неравный доступ к политической власти и различный размер собственности. В этакратическом типе религиозный и политический статусы важнее экономического статуса. Политическая и экономическая формы контроля слабо дифференцированы. Фактически экономические механизмы подменяются администрированием. Обожествление фигуры царя закрепляло легитимацию подчинения общества государству. Жречество остается наиболее организованной и влиятельной корпорацией, способной реально противостоя-

ять царской власти. Широко распространенное в древневосточных обществах убеждение в том, что человек существует ради того, чтобы служить богам, оправдывало притязания жреческой касты на власть. В этом отношении власть царя не выглядела столь безусловной. В терминах современной политической лексики эту ситуацию можно описать как систему сдержек и противовесов, а в терминах евразийца Н. Алексеева ее можно охарактеризовать как «дуалистическую монархию» [238]. Царь мог добиться смещения неугодных ему жрецов, провести религиозную реформу, подчинить себе храмовые хозяйства, но не мог обойтись без жреческой касты, которая способна была править самостоятельно. Это превращало ее в самодостаточную силу, постоянно угрожавшую притязаниям царя на абсолютную власть. Для жрецов «усвоить слова, в которых представлено все то, что признано данной группой, значит заручиться значительным преимуществом в борьбе за власть.... Именно поэтому...нужно перевоплощать религиозное слово в символы. ...Наиболее универсальная стратегия для профессионалов производства символической власти...заключается...в том, чтобы заставить здравый смысл работать на себя, присваивая себе слова, ценностно нагруженные для любой группы, поскольку они выражают ее веру» [25, с.95]. С этой точки зрения идеократическую и этакратическую системы можно определить как символический тип стратификации, где статус символических производителей выше статуса производителей материального продукта или товара. Не случайно, что именно в странах Древнего Востока (Египет) возникло учение о логосе, к которому христианство подошло лишь спустя века [28, с.37]. Помимо роли жрецов следует отметить и значение института деификации царской власти для последующих стадий социального развития. Его можно рассматривать в качестве другой стороны процесса символизации стратификационных отношений. Принцип обожествления власти – один из непреходящих компонентов древневосточного культурно-цивилизационного наследия – не остался в прошлом, а в разных обличьях переходил от одной эпохи к другой. Культ римских императоров в эпоху поздней античности, провозглашение пап римско-католической церкви наместниками христианского бога на земле, обожествление русских царей в средние века и в новое время, деификация японских императоров вплоть до середины XX в., «вождистский» характер авторитарных и тоталитарных режимов истекшего столетия строились на сакрализации власти. Образы «человекобога» у Ф. Достоевского и «сверхчеловека» с его волей к власти у Ф. Ницше, под знаком которых прошел почти весь XX в., завершили трансформацию этого архетипа.

Социально-стратификационные системы, построенные на идеократически-этакратических принципах, отражали тот факт, что институт управления предшествует институту собственности и имеет более фундаментальное значение. «Менеджеристская» форма социальной организации не ушла в прошлое. Виражи истории возвращают социум к той точке, из которой он некогда вышел. Современное информационное общество восстанавливает социальное устройство древности, где собственность не играла такой роли, как в эпоху индустриального модерна. «Революция управляющих», возвещенная американским социологом Дж. Бернхэмом в начале 40-х гг. XX в. [270], отделив управление от собственности, вытеснила класс собственников стратой управленцев, а частную собственность – корпоративно-коллективной и государственной. На рубеже XX-XXI вв. «идеи как нематериальные факторы» составляли свыше 50% фондов промышленных корпораций [31, с.8]. Теоретики постиндустриализма назвали такое общество «обществом знаний». По словам американского специалиста в области менеджмента П. Дракера «знание бы-

стро превращается в определяющий фактор производства, отодвигая на задний план и капитал, и рабочую силу» [32, с.70-71]. При всех различиях между древними идеократическим и этакратическим типами социальной стратификации с одной стороны и современным постиндустриальным обществом с другой их объединяет господство символического производства над материальным. В такой системе происходит «размывание границы между базисом и надстройкой» [31, с.9].

1. 4. Плюралистический тип

В его рамках складываются предпосылки для превращения человека из придатка социальной общности – большесемейных коллективов, патриархальных и территориальных общин, рабовладельческих имений, храмовых хозяйств или администрации царского двора – в личность. Этот процесс носил затяжной и противоречивый характер. В эпоху античности он только начинался и не получил своего завершения. Но уже тогда началась трансформация сознания, послужившая исходным пунктом глобального социокультурного изменения в отношениях между человеком и обществом. Эти изменения шли на фоне отсутствия в Древней Греции прочной традиции централизации и деификации верховной власти и, говоря словами О. Шпенглера, «развитого жреческого сословия». Культуры Древнего Востока тяготели к отождествлению надчеловеческой и человеческой сфер бытия. Спекулятивная мысль древней Индии кульминировала в концепции тождества индивидуальной и космической души. У древних китайцев дао обозначало безличный закон эволюции вселенной, а духи отражали различные состояния духовной субстанции человека. Боги ближневосточного пантеона, считаясь самыми крупными собственниками, наделялись функциями социально-экономических акторов. Боги и люди настолько сближались друг с другом, что современному историку дозволяется в случае отсутствия достоверных свидетельств далекого прошлого воспользоваться описанием устройства божественного мира для того, чтобы воссоздать картину социальных отношений того времени [27]. Напротив, древнегреческая религия провела границу между двумя мирами [33, с.547]. По словам Шпенглера, античный человек противопоставляет богам как тело другим телам. Их дистанцированию не помешало допущение, что боги вмешиваются в человеческие судьбы, а своим поведением мало чем отличаются от людей. Эпикур даже увеличил этот разрыв, когда поместил небожителей в интермундии (межмировые пространства), отстранив их от участия в земных делах. В философии Платона, где оба мира трансформировались в мир идей и мир видимых вещей, идеальное сохраняет свое самостоятельное существование. Поиски инстанции, способной навести мосты между ними, не перечеркивали значение найденных мифологических паттернов. По мнению некоторых мыслителей (С. Трубецкой) кризис античной духовности выразился в ее неспособности найти переход от идеального уровня бытия к материальному. Как бы то ни было, представления древних греков открывали путь к индивидуализации человеческих практик как новому виду достижительной стратегии. Вехи ее становления можно проследить в девизе Дельфийского храма «познай самого себя», философии Сократа, сместившей акцент на этические аспекты человеческого существования, понимании Протагором человека как меры всех вещей.

Исторически плюралистический тип социальной стратификации имел место и при олигархии (Карфаген) и при демократии (античные Афины, республиканский Древний Рим) и при империи (императорский Древний Рим). Патриархальное рабство и натуральное хозяйство вытесняются товарно-денежными отношениями [27, с.20]. В рам-

ках плюралистического типа сформировалось то, что М. Вебер назвал «примордиальным капитализмом», чьи элементы в предыдущих стратификационных типах еще не обрели устойчивого существования. Наряду с крупными государственными имениями, использовавшими труд государственных рабов, широкое распространение получает частное, в том числе крупное, рабовладельческое хозяйство. С ростом частного производства укрепляются система наемного труда, описанного еще Платоном в его «идеальном государстве», банковские и кредитные институты. Отличительной особенностью плюралистического типа является способность социальных акторов к самоорганизации. Здесь индивиды группируются не на основе кровно-родственных связей или внеэкономического принуждения, а на базе частных интересов. Отсюда разнообразие свободных ассоциаций – деловых товариществ, профессиональных корпораций, увеселительных клубов и пр. «Не было в истории мира страны, – пишет А. Кравченко – где активность частных ассоциаций была бы выше, чем в Древней Греции» [26, с.44-45].

В рамках плюралистической модели возникает другой тип производителя. В античной Греции опорой частного сектора было малое семейное хозяйство, основанное на личном труде селянина [26, с.41]. В древнегреческом полисе преобладали мелкие (от 5 до 30 рабов) ремесленные мастерские – эргастерии. На античном рынке господствовал потребитель, а не производитель. Некоторые исследователи называют древнегреческую цивилизацию цивилизацией «венчурных фирм» [26, с.44]. В экономической жизни Древнего Рима активно участвовали латифундии, мелкие крестьянские хозяйства, виллы. Последних отличала рациональная организация труда, обеспечивавшаяся повышением квалификации рабов и применением более совершенных орудий производства. В Карфагене кроме рабского труда использовался труд бодов – полусвободных производителей. Свободного производителя в античном Риме представлял институт колоната – юридически и экономически независимого арендатора. Даже рабы получали некоторую экономическую свободу. В рамках института пекулий им выделялось в пользование имущество (мастерские, лавки, земельные участки) их хозяев. Часть полученного с пекулий дохода рабы отдавали своим патронам. В условиях товарно-денежного хозяйства система пекулий сближала положение рабов с положением свободных собственников и колонов [34, с.317].

Незаменимую роль в экономической самоорганизации античного общества сыграл институт римского права – один из устоев западной цивилизации. Частное римское право закрепляло за отдельной личностью правовую и хозяйственную автономию, признавало юридическое равенство лиц, легитимируя, таким образом, институт частной собственности. Предусмотренный им принцип договорных отношений (контрактная система) подрывал рабство – одну из основных форм власти над людьми в древнем мире. Собственность обретала в рамках института римского права такой статус, какой она не имела в идеократической и этакратической системах. Наряду с римским правом укреплению власти над вещами способствовал порожденный греческой философией рационализм. По словам французского социолога А. Турена, «армии Рационализма вывернули наизнанку... мир, заполнив его техникой и технологиями» [24, с.361]. Хотя античности было еще далеко до такого преобразования действительности, но именно тогда вызревает идея использования машин для хозяйственных нужд. В общей форме эту мысль высказал Аристотель. Он видел главное препятствие для технического развития в рабстве. Тем не менее рабский труд не был единственной и даже главной помехой. Его широкое применение в эпоху первоначального накопления капитала не остановило последующий технологический рост

в западных странах. Поэтому более правдоподобно предположение, что технический прогресс не состоялся в античном обществе по аксиологическим причинам. Древние греки вдохновлялись идеями красоты и гармонии, а сама мысль о вмешательстве в мировой порядок казалась им противоестественной. Платон и Аристотель обосновывали превосходство созерцательной жизни над деятельной. Вот почему при наличии научных знаний и технических изобретений в эпоху античности не могло возникнуть то, что Х. Ортега-и-Гассет называл «научной техникой» [35, с.105-106,109].

Развитие экономической самоорганизации, появление иного типа производителя сопровождалось сменой социокультурных паттернов. Их анализ позволил В. Парето выделить две поведенческие стратегии – «рантье» и «спекулянтов» [21, с.559]. «Рантье» придерживаются жестко закрепленных норм поведения и не обладают способностью к деловым комбинациям и новаторству. Этот тип характерен для идеократической и этакратической систем. Поведение «спекулянтов» отличается инициативностью, предприимчивостью, склонностью к риску. Такой поведенческий стиль становится нормой в обществах плюралистического типа. Согласно Аристотелю после того, как Солон сообщил друзьям о своем решении отменить долговое бремя, они поспешили занять деньги, чтобы на них скупить землю. После отмены долгов эти люди превратились в богатых землевладельцев [21, с.514]. Платон называл такую категорию акторов «дельцами». От них он отличал «трутней», чье положение при олигархии, где им «не на чем набить себе руку и набрать силу», было менее привилегированным, чем при демократии, где они «чуть ли не стоят во главе» [30, с.353].

В рамках плюралистического типа происходит заметное усиление власти над вещами. Можно даже говорить о формировании нового баланса институтов власти над идеями, людьми и вещами. Этот баланс еще шаток и его не трудно нарушить. Он скорее существует в виде некоей тенденции, а не устойчивого состояния социума. Если в идеократической и этакратической системах ранг определял величину дохода и социальное положение индивида, то в плюралистических обществах натуральное богатство и деньги способны решающим образом повлиять на статус человека. Так, введенный реформами Солона (VII в. до н. э.) в Афинах имущественный ценз поделил всех свободных граждан на четыре разряда в соответствии с величиной годового дохода с земли – пентакосиомедимнов (500 медимнов вина, масла, зерна), всадников (300 медимнов), зевгитов – мелких и средних землевладельцев (200 медимнов) и фетов – батраков, поденщиков, арендаторов (менее 200 медимнов) [21]. Политические права определялись размером имущества. В Древнем Риме высшее сословие составляли сенаторы (владельцы латифундий) с цензом в 1 млн. сестерций и всадники (землевладельцы, чиновники, армейские командиры) с цензом в 400 тыс. сестерций [36]. В конце существования республики и в имперский период Рим стал государством «миллионеров и нищих». Юлий Цезарь, например, вывез из Галии имущество на сумму в 70 млн. долл., состояние Красса насчитывало 7 млн. долл., богатство римского философа Сенеки оценивалось в 15 млн. долл. [21, с.40]. Крылатое выражение римского императора Веспасиана – «деньги не пахнут» - оттеняло новую роль денег в системе социальных отношений. Такой статус денег влиял на стратификационные процессы, рост социальной мобильности и развитие коррупции. Это наглядно видно на примере Карфагена – главного конкурента Рима в Средиземноморье во второй половине I-го тыс. до н. э. Он управлялся выборными органами власти – суффетами (магистратами) и пентархиями (коллегиями пяти). Цари обладали полномочиями «вносить или не вносить дела на решение народного собрания», которому принадлежал решающий голос [37, с.438].

Должностные лица избирались не только по признаку знатности, но и богатства. Подчеркнем, что в Карфагене существовала не просто аристократия по богатству, а финансовая олигархия. Иначе говоря, наличие не просто вещного богатства (земли, скота, зерна, вина, масла и т.п.), а денежного капитала определяло социальный статус индивида. Как пишет Аристотель, высшие должности покупались за деньги, а «покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль» [37, с.439]. В Карфагене наблюдалось исторически новое явление – превращение власти в товар, подобно тому, как до этого товаром стали произведенный продукт, раб или наемный работник. Логика рынка экономического нашла свое продолжение в логике политического рынка, на котором власть – объект купли-продажи. Этот возникший в эпоху античности институт в ходе исторического развития постепенно превращался из эпифеномена общества в его устойчивую и необходимую компоненту. В XX в. постоянно росло число государств, чьи правящие элиты систематически вовлекались в орбиту коррупционных скандалов и разоблачений, причем независимо от того, происходили ли они в развитых или развивающихся странах. В России коррупция обрела новое социальное качество. По данным фонда «Индем» (за 2005 г.) в России коррупция поглощает до 300 млрд. долл. в год. Трудно представить себе, что можно было бы купить власть в государствах Древнего Востока. В них богачи могли приобрести недвижимость, рабов, но не царский титул. Царь мог быть свергнут или даже избран, но его власть не продавалась. Коррупционность власти вытесняла более «идеальные» и менее обезличенные регуляторы поведения социальных акторов. Одновременно коррупция превращалась в дополнительный канал вертикальной мобильности. Так, поденщики в Карфагене из-за отсутствия денег и досуга не избирались на государственные должности, а богатые ремесленники, т.е. люди не знатного происхождения, становились должностными лицами. В Риме высшие сословия периодически обновляли свой социальный состав за счет низших групп, включая рабов. Нобилитет – римская знать – возник из слияния патрициев и плебеев. С III в. до н. э. ряды всаднического сословия пополняли владельцы крупных мастерских, ростовщики. Постепенно утрачивал свои привилегии институт гражданства. Если во II в. до н. э. предложение предоставить не римлянам гражданство вызывало ожесточенное сопротивление со стороны римской аристократии (как это произошло с инициативой братьев Гракхов), то в III в. н. э. почти все жители Римской империи имели гражданство.

Важным каналом социальной мобильности были армия и институт вольноотпущенников (выпущенных на свободу или выкупившихся рабов). Так, 36 римских императоров начинали свое восхождение на верх с самых низких ступеней армейской иерархии [21, с.149]. В Западной Римской империи процент «выскачек» (т.е. выходцев из низов общества) среди монархов составлял 45,6% [21, с.130]. В целом плюралистический тип больше благоприятствовал росту социальной мобильности и ресурсности нижестоящих страт, чем идеократический и этакратический социальный порядок. То же самое верно и в отношении верхов. Отсутствие собственности у правящей касты (как в Спарте) и условное владение знати (как в восточных деспотиях) сменяет легитимация частной собственности элиты (как в плюралистической модели).

Большой потенциал мобильности и ресурсности страт в плюралистической системе обеспечивает ей более широкий выбор средств урегулирования социальных конфликтов. Помимо применения силовых методов (подавление восстаний) использовались экономические пути разрешения конфликтных ситуаций. Власти Карфагена в своем стремлении оградить себя от народных волнений давали простым гражданам возможность «разбога-

теть» [37, с.440]. В античной Греции и Древнем Риме предпринимались попытки перераспределения собственности и доходов с учетом интересов неимущих слоев населения. В качестве инструментария социального «выравнивания» стала использоваться, хотя и не сразу, демократия. Древняя Греция дала исторически первую форму демократии – прямую, которую впоследствии называли также «партисипативной». Идея такой демократии в разное время была особенно популярна среди радикально настроенных идеологов и политиков (от Руссо и Сен-Жюста в XVIII в. до части евролевых в XX и XXI вв.). Они увидели в ней своеобразную альтернативу парламентской или представительной демократии. Партисипативная демократия в своей плебисцитарной форме до сих пор сохраняет сильные позиции в политической жизни Швейцарии. Некоторые исследователи полагают, что новые возможности перед партисипативной демократией открывают современные технологии и коммуникации. Первоначально демократия и эгалитаризм (в лице Афин и Спарты) находились на противоположных полюсах социальной организации. Европейский вектор исторического движения постепенно сближал их, превратив в XX в. в неразрывные компоненты социума там, где у власти стояли партии социал-демократического и социалистического типа. Однако первые признаки такого сближения наметились уже в период правления Перикла, названного «золотым веком» афинской государственности. Перикл отменил введенный Солоном имущественный ценз, ввел клерухии – военно-земледельческие поселения с целью наделения землей безземельных граждан, открыл бедноте доступ к посещению театра [36, с.410]. В некоторые периоды древнегреческой истории налоги на собственность отнимали до 20% доходов богатых [21, с.41]. В республиканском Риме по разработанному братьями Гракхов аграрному проекту предусматривалось предоставить беднякам земельные наделы размером в 30 югеров (около 9 га) без права их продажи. В императорском Риме существовала система государственной помощи малоимущим. Они бесплатно получали хлеб, масло и мясо. Действовали алиментационные фонды, выплачивавшие детям из бедных семей небольшие пособия. Средства этих фондов образовывались за счет процентов со ссуд, выдававшихся землевладельцам. К концу периода империи власти в попытке ограничить произвол рабовладельцев запрещали им убивать рабов, отдавать их в гладиаторы, надевать на них кандалы. В античном обществе появляются новые социальные акторы. В Древнем Риме социальной опорой государства постепенно становилась армия. Завоевания новых территорий, расширявшие границы империи, превращали ее в незаменимый инструмент политической власти. Вотдельныхслучаяхимператорыприбегалидажекрепрессиямпротивзнати, конфискациеее земель и отстранению от высших армейских должностей, открывая путь наверх своим солдатам и ветеранам-легионерам.

В античном обществе сформировался исторически новый социальный институт – «средний класс». Аристотель писал: «В...государстве есть три части – очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими... Величайшим благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия..., либо тирания...» [37, с.507-508]. В западной социологии средний класс принято рассматривать в качестве важнейшего индикатора существования гражданского общества. В этой связи естественно спросить, а было ли гражданское общество в эпоху античности? Если ответ на этот вопрос связать с необходимостью присутствия в обществе средне-

го класса, то он не будет однозначным. Согласно принятому нами пониманию класса, исходящему из веберовской трактовки этого понятия, классы, в том числе средний класс, возникают лишь на стадии индустриального капитализма. Стало быть, и сам феномен гражданского общества должен быть отнесен к этой фазе социального развития. С этой точки зрения об античном «среднем классе» еще преждевременно говорить как о классе в точном смысле этого слова. Но если принять во внимание, что в условиях плюралистического типа стратификации происходит высвобождение индивида из под власти большого коллектива и отделение общества от государства – процессы, не знакомые идеократической и этакратической системам, – то можно рассматривать античные средние слои в качестве некоего исторического аналога среднего класса, а социальную жизнь античного полюса – как первоисторическое выражение гражданского общества. В рамках этого процесса политическая деятельность становится открытой, публичной социальные конфликты получают рациональное осмысление. Так, римский историк Аппиан, усматривая в борьбе разных социальных групп столкновение интересов имущих и неимущих слоев населения, прокладывает путь к пониманию конфликтной природы гражданского общества в условиях социального неравенства.

Наряду с трансформацией институтов управления людьми и вещами становлению античного гражданского общества содействовало изменение института власти над идеями. Знание снимает с себя плотный покров эзотеричности и выходит из узкого круга посвященных. Не последнюю роль в этом сдвиге сыграла античная философия. Платона критиковали за то, что он раскрыл секреты мистерий тем, кто не прошел обряд инициации. Софисты, беря деньги за обучение, т.е. вводя в коммерческий оборот знания, делали их доступными всем, кто мог заплатить за учебу. Плотин проводил свои «конференции» для всех желающих. Аристотель классифицировал свои сочинения на акроаматические, специально предназначенные для своих учеников, и экзотерические, обращенные к широкой аудитории. Последняя категория трудов философа вызвала недовольство у его воспитанника Александра Македонского. Знаменитый полководец писал своему учителю: «Ты поступил неправильно, разгласив учения... Чем же еще мы будем отличаться от остальных людей, если те учения, на которых мы были воспитаны, станут общим достоянием? Я хотел бы иметь превосходство над другими не столько могуществом, сколько знанием о высших предметах» [38, с.19]. По иронии истории завоевательные походы македонянина привели к появлению идеологии космополитизма, разрушавшей социокультурный пароксизм народов древнего мира. Эта идеология, сформулированная стоицизмом, уравнивала всех людей независимо от их социального положения (свободных и рабов), этнической принадлежности (греков и варваров) и открывала доступ к духовным накоплениям, сосредоточивавшимся в древневосточных обществах в руках немногих. Начатое эллинизмом движение к «мировому государству» нашло свое завершение (во времена античности) в возникновении Римской империи.

Образ римского гражданина стал символом гражданина мира. «Образованный римлянин знал наследие греческих поэтов, философов и риторов и был осведомлен в тонкостях египетских культов, астрологии, а подчас и в новейших достижениях науки и философии» [39, с.69]. Такие оккультные дисциплины как астрология, которую жрецы на Востоке окружили ореолом таинственности и превратили в один из источников

своей власти над обществом, были доступны не только образованному римлянину, но даже древнеримскому рабу. Он мог посещать астрологов и получать нужные ему сведения. Единственное ограничение его права на получение подобной информации состояло в том, что рабу запрещалось интересоваться предсказаниями судьбы своего хозяина. Все это отражало процесс более равномерного перераспределения информационных ресурсов, подрывавший монополию узкой касты символических производителей на знание. То обстоятельство, что древнегреческая философия выступала в роли транслятора знаний, невзирая на «лица и звания», объясняется присущим ей рационалистическим дискурсом.

В то же время гражданское общество античного типа еще не зрело, в нем слабо кристаллизованы групповые интересы, прежде всего низов. На выражение их интересов претендуют некоторые представители правящих страт. Оппозиция чаще всего возникает вследствие борьбы верхов за власть. Протестные настроения не приводили к устойчивым формам оппозиционного движения. При всех различиях, например, между общественным устройством Спарты и социальными порядками в Карфагене их объединяет практическая невозможность образования эффективно действующей оппозиции. В одном случае она беспощадно подавляется силой (как в Спарте), в другом покупается за деньги (как в Карфагене).

Слабая кристаллизация групп интересов, отсутствие сильной оппозиции, активизация роли бюрократии, особенно военной, наличие авторитарно настроенного плебса, популярность идеи персонификации власти породили такое явление, как «цезаризм», названный так по имени Юлия Цезаря, установившего личную диктатуру в конце существования республиканского Рима. Цезаризм был оборотной стороной противоречивого процесса отделения общества от государства, свойственного плюралистическому типу социальной стратификации.

Если возникновение гражданских социальных институтов отражало развитие этого процесса в направлении усиления общества, то появление цезаризма направляло этот процесс в сторону возвышения государства. На этом пути последнее приобретало способность стать «самостоятельной» силой, и превратиться в самодовлеющую корпорацию, «частную собственность» бюрократии. В культурно-цивилизационном отношении цезаризм двусоставен: он не только представляет собой продукт «западных» форм социальной стратификации, но и вбирает в себя «восточный» стратификационный элемент – принцип сакрализации власти, породивший в эпоху Римской империи культ императоров. Этот культ оказался столь привлекательным для последующих властителей, что европейские императоры смотрели на свое правление как на продолжение истории Римской империи, а русские цари возводили свою родословную к первому римскому императору – Октавиану (Августу).

Цезаризм был не исторически случайным явлением, порожденным редким стечением специфических для античного общества обстоятельств, а долговременной тенденцией, воспроизводившейся в условиях стадийно отличающихся друг от друга социумов.

Поэтому цезаризм можно встретить и в виде бонапартизма XVIII-XIX вв., возникшего после победы Великой французской буржуазной революции (правление Наполеона I и Наполеона III), и в форме право- и лево окрашенного авторитаризма XX в. (диктаторские режимы ряда стран Европы, Латинской Америки), решавшего задачи индустриаль-

ной модернизации общества. Цезаризм вскрывал фундаментальное противоречие сакрализации института верховной власти. С одной стороны власть в силу предписанной ей сакральности не могла и не должна была быть объектом посягательств со стороны общества, а с другой, ее отдельные носители нередко свергались с престола, что постепенно разрушало сакральный образ царя или диктатора. Из сакральной власть превращалась, таким образом, в профаническую.

К отмеченным выше факторам, сдерживавшим развитие гражданского общества в эпоху античности, можно отнести и сохранявшуюся тенденцию к кастовости. Ее не удалось преодолеть несмотря на то, что античное общество было более открытым и мобильным по сравнению с идеократическим и этакратическим типами социальной стратификации.

Падение Римской империи не завершило исторический процесс, а подвело черту под существование древнего мира. Он ушел, но сформировавшиеся в его недрах типы социальной стратификации остались. Эпоха модерна в преобразованном виде сохранила их. «Упадок современности», где, по словам П. Штомпки, «вместо прогресса лейтмотивом эпохи становится тема кризиса» [13, с.369], ставит вопрос об альтернативных сценариях развития. Возможна ли трансформация культурно и цивилизационно разнородных институтов управления идеями, людьми и вещами на путях конвергенции? Или неизбежно столкновение цивилизаций? Восторжествуют ли общества с «обратной перспективой»? Пример советского социального порядка – один из фундаментальных ответов в XX веке на «тему кризиса» современности. Он отклонил перспективу конвергенции и сосредоточился на утверждении обратной перспективы. Анализ содержания и границ этой альтернативы и посвящена следующая глава данного исследования.

Глава II. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

2. 1. Базовые черты российского социального порядка и природа его трансформации

Идеократически-этакратический и плюралистический социально-стратификационные типы не принадлежит исключительно древности, а носят межстадиальный характер. Впоследствии плюралистический социальный тип как система социального номинализма, общий набросок которой дан в философии Аристотеля, принял форму индустриального капитализма. Здесь в диалектике единого и многого, целого и части приоритет отведен категориям многого и части, динамика (прогресс) которых обеспечивает устойчивость (порядок) целого. Номиналистическая диалектика нашла свое логическое завершение в идеологии и практике классического либерализма (Дж. Локк, А. де Токвиль и др.). Идеократически-этакратический социальный тип, существовавший и на Западе, обрел возможность своего наиболее устойчивого воспроизводства в России и странах Востока. «На Востоке (и в России) – писал А. Грамши – государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и, если государство начинало шататься, тотчас выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов»[40, с.200]. В противовес западному социальному порядку как системы социального номинализма российский социальный порядок уместно назвать системой социального реализма. В его рамках диалектика единого и многого, целого и части задана доминированием категорий единого и целого, которые определяют динамику многого и части. Взаимоотношение порядка и прогресса оборачивается в этой модели дихотомией «порядок-прогресс». В обществах социального реализма превалирует принцип вертикальной организации. Индивид превращается в часть подавляющего его целого, зависимость от которого оправдывается не самодостаточностью природы индивида (Платон), государство становится обобществленным выражением всего социума (Г. Гегель), социальный порядок зиждется на основе поглощения общества государством как политически выраженной воли народа (в случае леворадикального варианта социального реализма, разработанного Ж...Ж.. Руссо).

Советский социальный порядок сформировался в стране, где господствовало традиционалистское, аграрное общество, а капитализм получил лишь начальное развитие. Несущие конструкции советского строя – большевизм и Советы, – возникнув в недрах императорской России, представляли собой прежде всего ответ на кризис царизма (Ленин как-то сказал: «Стена-то гнилая. Ткни и развалится»). Чтобы понять смысл и формы этого ответа, целесообразно хотя бы вкратце охарактеризовать самодержавие, которое просуществовало в России не одно столетие и оставило на ее социальном лице неизгладимый след. Именно самодержавное устройство стало системным признаком российской власти. Ю. Пивоваров выделил три основных элемента «русской системы» – «русскую власть», «популяцию (население)» и «лишнего человека». Социальные группы, сформировавшие категорию «лишнего человека», «не стали ни органом» власти, «ни частью популяции». К ним российский исследователь отнес часть дворян, интеллигенции в XIX – начале XX

вв., а также казачество. Как сказали бы сейчас, эти слои находились в состоянии социального исключения. Пивоваров пишет: «Русская Система – этой такой способ взаимодействия ее основных элементов, при котором Русская Власть – единственный социально значимый субъект...» [41, с.88]. Русское самодержавие, как исторически сформировавшийся социальный порядок, носило смешанный характер. Несмотря на формальную преемственность византийской (ромейской) империи, русский монарх возводил свое происхождение к римскому императору Августу. В отличие от персоны византийского императора фигура русского царя обожествлялась, подобно римским императорам, древнеегипетским фараонам или шумеро-вавилонским владыкам. «Миллионы людей – писал А. Ахиезер – принимали царя, как позитивное начало... Люди не были склонны поддерживать государство как таковое, соглашаясь... поддерживать царя как некую сакральную точку в пространстве» [42, с.34]. Г. Федотов подчеркивал, что «единственной скрепой нации была идея царя – религиозная для одних, национальная для других» [43, с.68]. Как и древневосточная монархия, русское самодержавие носило не только военный, но и идеократический характер, при котором церковь играла подчиненную роль. Заменяв патриаршество Синодом, Петр I завершил легитимацию процесса сращивания институтов государства и церкви. Идеократический характер монархии предотвращал в России процесс отделения идеологии от государства, развивавшийся в течение нескольких веков на Западе. С этим связана и другая фундаментальная особенность русского самодержавного социального порядка – слабость института частной собственности. И. Тургенев подчеркивал, что русское дворянство в отличие от западноевропейского было, прежде всего, служилым, а не владельческим сословием. Даже тогда, когда оно (сравнительно поздно, начиная со времен Петра III и Екатерины II), получило вольности и право частной собственности, в его иерархии ценностей большее значение имела идея служения государству, чем возможность устроить свою частную жизнь. Слабость потоков социальной дифференциации стала одной из причин, обусловивших устойчивое существование крепостного права. Как отмечает А. Аузан, «самодержавие и крепостничество – несущие конструкции нашей институциональной системы» [44, с.57]. В России помещик владел не только землей, но и крестьянином, который, тем не менее, считал землю своей. Отмена крепостного права в 1861 г., не похожая ни на американский путь, ни на прусский путь, не сделала крестьян свободными людьми. Земли, отведенные в надел крестьянам, на деле не были их собственностью, а находились «как бы в залоге у государства» [45, с.92]. При освобождении крестьян правительство заплатило помещикам значительную сумму «выкупов» и крестьяне должны были ежегодно в течение 49 лет выплачивать в казну «выкупные платежи». В 1881 г. правительство уменьшило на четверть сумму, которая ему причиталась согласно Положению от 19 февраля 1861 г., а в 1907 г. оно вовсе отменило выкупные платежи и аннулировало недоимки [140, с.229]. При Александре III был учрежден Крестьянский банк, выдававший крестьянам ссуды для покупки земли. Еще до столыпинской аграрной реформы, начатой в 1906 г., была отменена круговая порука, что подрывало общинное самоуправление. Однако эти меры не привели к экономической самостоятельности крестьян. Традиция их поземельного прикрепления, передача государством крестьянской земли в собственность «сельских обществ» только укрепляли роль крестьянской общины, которая «вдобавок к своим традиционным полномочиям (... праву перекраивать земельные наделы) приобрела часть власти, прежде принадлежавшей помещику» [140, с.227-228]. На рубеже XIX – XX вв. крестьянство владело свыше 80 % земли и арендо-

вало часть остальных земель [205]. Крестьянство превратилось в крупнейшего земельного собственника. Это означало, что в России произошла экономическая революция, передавшая собственность на землю из рук дворянства в руки крестьян. Особенность этой революции состояла в том, что она сделала крестьянина не частным, а коллективным собственником. Крестьянское хозяйство в России не было похоже ни на крупное товарное производство в Англии, ни на частные владения parcelных крестьян Франции [205], ни на организацию аграрного дела у грессбауэров в Германии. Смена собственника создала парадоксальную ситуацию в стране: политическая власть находилась в руках самодержавия, а земля – в руках крестьян. И Февральская и Октябрьская революции 1917 г. были осуществлены не в последнюю очередь благодаря тому, что до них произошла экономическая революция. Но начавшееся еще до реформы Столыпина разрушение крестьянской общины и последовавшее за этой реформой расслоение крестьянства, вызвавшее острое противостояние между его частным и общинным сегментами, помешало консолидации крестьянского класса. Воспользовавшись «внутриклассовой» борьбой, большевики лишили крестьян статуса земельного собственника и навязали им колхозный строй.

По сравнению с колхозом крестьянская община была более демократическим институтом. Она помогала крестьянам находить консенсус интересов, приобщала к участию в решении важных для них проблем, делала крестьян более независимыми от государственной опеки. Крестьянская община выполняла также и функцию традиционного рынка труда. По словам М. Черныша, «в традиционном обществе ... наем работника производится стихийным образом, без формальной оценки результатов его деятельности. Широкое распространение имеет наем людей по знакомству или благодаря родственным связям», а «производственный процесс в малой степени зависел от наличия или отсутствия свободных рабочих рук в свободном рыночном доступе» [100, с.100]. В то же время традиционалистский характер крестьянской общины сдерживал формирование свободного рынка, препятствовал развитию, по выражению русского мыслителя М. Каткова, «частной инициативы» и «личной предприимчивости» в «русской народной жизни», обеспечивал, говоря словами Э. Дюркгейма, «механическую солидарность» своих членов. Под воздействием реформ П. Столыпина крестьянская община начала утрачивать земельную собственность и власть, которые она приобретала в результате отмены крепостного права. К 1915 – 1916 гг. из общины выделились примерно 2 млн. домохозяйств или приблизительно 10% всех крестьянских семей. Поэтому крестьянская община не была заинтересована в институциональной перестройке, подобной той, какую знал западный опыт преобразования общественных отношений в эпоху буржуазных революций. Нарушая логику собственной теории исторического прогресса, исходящей из идеи совпадения «логического» и «исторического», К. Маркс писал в «Набросках ответа на письмо В. И. Засулич» от 1881 г., что «историческая неизбежность» развития капитализма «ограничена странами Западной Европы». Что же касается России, то она, по мысли Маркса, «получает возможность развить ... архаическую форму своей сельской общины, вместо того, чтобы ее разрушить ...» [173, с.413]. Одновременно Маркс указывал на угрозу «разложения» крестьянской общины. Его мысль колебалась между надеждой на то, что община послужит формой перехода к социализму, минуя капитализм, и опасением, что под ударами присущего общине «дуализма» (коллективная собственность на землю и личный характер присвоения продуктов труда) и сил, которым община мешала, она распадется. На основе анализа марксова подхода можно предположить, что основоположник научного социализма ожидал в России не столько

буржуазную, сколько крестьянскую революцию, нацеленную на сохранение устоев общинной жизни. Он резюмировал: «Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция» [173, с.410]. Маркс предугадал объективную направленность русской революции. Здесь мы сталкиваемся с одним из случаев парадокса социального прогнозирования. Запад, который находился в центре теоретических изысканий Маркса, не оправдал его социалистических ожиданий, а Россия, которая находилась на периферии научных интересов Маркса, подтвердила правоту его некоторых предсказаний.

Еще одним фактором, оказавшим глубокое влияние на природу предстоявшей трансформации российского социального порядка, стало установление во время Первой мировой войны государственного контроля над экономикой, продиктованное требованиями военного положения. На связь этого института самодержавия с мерами по национализации, предпринятыми большевиками после их прихода к власти, обратил внимание в начале 20-х гг. П. Сорокин. Он писал: «Особенно интересно и назидательно здесь, то, что начало коммунизации-этатизации и в политической, и правовой, и экономической области было положено руками царского правительства (военные положения, ограничения прав личности, права собственности, частной торговли, контроль промышленно-торговых дел, права реквизиции и национализации с 25 октября 1915 г. и т. д.). ... Временное правительство ... продолжало линию этатизации-коммунизации. При нем, особенно в области экономической, были установлены все начала принудительного коммунизма. ... Большевикам ничего нового не пришлось вносить, кроме введения классового пайка да дальнейшей уравнилельно предельной централизации и коммунизации. Все главное было сделано до них и без них» [4, с.946]. Именно Временное правительство, которое принято считать либеральным, пошло на такую антилиберальную меру, как отказ от дальнейшего проведения столыпинской реформы. Тем самым была проложена дорога к большевистскому декрету о земле, предусматривавшему ликвидацию частной собственности на землю. Так что политика военного коммунизма, за которую осуждали большевиков, была не новым для России того времени явлением, а завершением комплекса ограничительных мер, принятых предшествующими политическими режимами.

Среди других факторов, повлиявших на ход революционных событий в России, следует назвать изменение института самодержавия в начале XX в. Г. Федотов отмечал, что революцию вызвали два человека: Николай II и В. Ленин. Один ее начал, другой завершил. Превращение фигуры царя из гаранта сохранения существовавшего социального порядка в фактор его дестабилизации имело разные причины. Самодержавие отменило крепостное право и не в интересах дворян и не в интересах крестьян; пореформенный период отмечен разорением «дворянских гнезд» и ухудшением положения крестьянства. Начавшаяся после отмены крепостной зависимости крестьян промышленная модернизация значительно опережала экономическую, политическую и социокультурную модернизацию. С одной стороны, самодержавие выходило за рамки узко выраженных сословных интересов. С другой, оно не сумело завоевать авторитет общенациональной силы, способной консолидировать все слои русского общества. Дочь императора Александра III Ольга Александровна вспоминала, что два последних российских императора были особенно нелюбимы в обществе [248]. Недоверие к императорской семье можно рассматривать в качестве одной из причин революции. Ее приближало и сближение императорской власти с черносотенством, к которому в стране сложилось неоднозначное отношение. Несмотря на традиционалистскую фразеологию, черносотенство представляло собой новую

для России политико-идеологическую субкультуру, инициированную наступлением эпохи «массового общества». Оно было первым русским опытом организации массового политического движения на межсословной основе. В его рядах были представлены все слои русского общества – от крестьян, рабочих, интеллигенции до духовенства и титулованной знати. Сам император Николай II носил значок черносотенного «Союза русского народа» и финансировал его деятельность за счет государства. Это обстоятельство свидетельствовало о новой фазе эволюции монархии, на которой происходило ее сращивание с одним из политико-идеологических сегментов общества. Такое сращивание означало «партизацию» монархии. Николай II стал первым русским «партийным» царем и в этом отношении был прообразом советских генеральных секретарей партии. Показательно, что «Хозяином», а так назвал себя Николай II во время проведения переписи населения Российской империи, в советское время называли и Сталина.

В отличие от таких консерваторов, как К. Победоносцев, называвший представительную демократию «великой ложью нашего времени», черносотенцы допускали возможность выборных институтов власти. У одной части черносотенных организаций роль таких институтов играл Земский собор, институт избрания «сословиями», у другой – Государственная Дума. Демократические претензии черносотенцев следует рассматривать в контексте процесса перегруппировки сил в европейской политике в условиях становления «массового общества». Подытоживая начальные результаты этого процесса, К. Шмитт констатировал: «... в той мере, в какой демократия становилась действительностью, обнаруживалось, что она служила многим господам. ... В начале она ... была сопряжена с либерализмом и свободой В социал-демократии она шла рука об руку с социализмом. Успех Наполеона III и швейцарских референдумов показал, что она могла быть также консервативной и реакционной ...» [74, с.168]. Конечной целью «Союза русского народа» провозглашалось «введение строгого, прочного правового порядка» [206, с.107]. Для введения такого порядка программа «Союза» предусматривала среди прочего «учреждение Государственной думы с правом ... фактического контроля над деятельностью министров, правом прошения Высочайшего соизволения на предание их суду», «фактическое осуществление дарованной манифестом 17 октября свободы и неприкосновенности личности, т. е. ограждение личности от произвола и насилий со стороны властей, ... отдельных частных лиц, а также ... обществ, союзов ..., как тайных, так и явных» [206, с.107]. Консерваторы старого закала отводили низам роль пассивного реципиента норм официальной идеологии. Черносотенцы апеллировали к народу и использовали мобилизацию как способ управления массами. Один из мобилизационных лозунгов черносотенцев – «Русь идет!» – недвусмысленно передает их настроения. На организованных черносотенцами митингах клеймили не только левых и интеллигенцию, но и купцов, бюрократию, правительство и даже премьер-министра П.Столыпина. В позициях многих черносотенцев просматривалось то, что Н. Бердяев, характеризуя взгляды Ф. Достоевского, назвал «социализмом на почве православия». У черносотенцев были свои представления о социальной справедливости, которые можно назвать уравнительными. Они открывали «чайные», потребительские лавки, сбивали цены на товары первой необходимости, чтобы улучшить материальное положение обездоленных слоев русского населения. Митрополит Антоний (Храповицкий) подчеркивал «мужицкий» состав «Почаевского союза русского народа» [174, с.422-423]. Программа другой черносотенной организации – «Русской монархической партии» – предлагала «свободное, децентрализованное, плодотворное развитие местной хозяйственной

и общественной жизни, не стесненной ни правительственным, ни земским бюрократизмом», «неустанное попечение о материальном и духовном благе крестьянского и рабочего сословия», призывала «освободить Россию от дурного бюрократизма» [206, с.111,113].

В черносотенной идеологии синтезированы идеи как левых (свобода личности, развитие местного самоуправления, «попечение о благе» крестьян и рабочих), так и правых (незыблемость самодержавия, сохранение сословного строя) сил. Таким образом, черносотенное движение может рассматриваться в качестве раннего образца феномена, который позже назовут «консервативной революцией». Она объединяет, говоря словами О. Шпенглера, «левый фронт низших городских масс» и «правый фронт иерархически упорядоченной нации» [215, с.168]. Отвергая либеральную идею прогресса, идеология консервативной революции невольно перенимала линейный образ времени, состоящего из прошлого, настоящего и будущего. Но в отличие от прогрессистов консервативные революционеры хотят удержать прошлое за счет настоящего и будущего. Консервативная революция вряд ли была бы возможна, скажем, в Древнем Египте или Древнем Китае. Для древнего мира с его циклическим восприятием времени не существовали представления о прогрессе и регрессе, движении вперед или вспять по оси времени. Черносотенцы пошли дальше консерваторов старшего поколения, готовых все «подморозить» для сохранения статус-кво. В эпоху начинавшихся социальных потрясений сохранить статус-кво было уже невозможно. Парадокс ситуации состоял в том, что его достижение мыслилось на путях консервативной революции. Именно она определяла природу предстоявшей трансформации российского социального порядка. Черносотенное движение было слишком демократическим и одновременно националистическим, чтобы перейти от «преклонения» «перед великаном русского государства» (по выражению митрополита Антония) к его реальному спасению. Эту задачу выполнили большевики, располагавшие построенной на жесткой дисциплине и демократическом централизме организацией и идеологией интернационализма, который гораздо больше соответствует духу многонациональной империи, чем этнический национализм.

По выше приведенным причинам в России традиционно слабым оставался и институт права. Эту особенность «русской системы» метафорически сформулировал еще В. Ключевский. «Право – исторический показатель, а не исторический фактор – писал русский историк, – термометр, а не температура... Закон – рычаг, который движет тяжеловесный, неуклюжий и шумный паровоз общественной жизни, называемый правительством, рычаг, но не пар» [46, с.21]. Российский социальный порядок обращен скорее к прошлому, чем к будущему. В этом отношении Россия – не единственная страна, где прошлое постоянно участвует в настоящем. По данным американского социолога О. Тоффлера, 70% человечества живут в прошлом, 25% – в настоящем, и только 2-3% – в будущем [47, р.15]. Особенность российского социума состоит в том, что он живет в «непредсказуемом прошлом».

Тем не менее, со времен религиозной схизмы (противостояния старообрядцев и никоиан) при Алексее Михайловиче, положившей начало кризису национально-религиозной идентичности, и реформ Петра I в российском обществе постепенно нарастали процессы социальной дифференциации. С помощью таких центров сил, как, например, Славяно-греко-латинская академия, в русскую культуру проникал «латинизм», на противодействии которому основывалась политика московских царей. Под влиянием расслоения духовного пространства русского общества политико-религиозная доктрина «симфонии властей»,

где государство – «тело», а церковь – «душа» народа, сменилась «цезаризмом», превращавшим церковь в разновидность бюрократической организации. Царь Алексей Михайлович отказал Никону в праве предоставить церкви независимость от государства. Петровские реформы окончательно подчинили церковь государству, разрушили вертикальные социальные связи (связи между верхами и низами), вызвав распад традиционной межсословной общности. Прежде дворянина и крестьянина объединяла одна и та же культурная традиция, теперь они принадлежали разным культурным мирам. В результате произошел социокультурный раскол. С одной стороны, сформировался «европоцентристский» стиль жизни верхних слоев общества. С другой, сохранялся традиционалистский образ жизни низших сословий. Г. Федотов писал: «Со времени европеизации высших слоев русского общества дворянство видело в народе дикаря, хотя и невинного, как и дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на вероотступников и полу немцев» [43, с.68]. Иначе говоря, возникло, выражаясь словами Г. Федотова, противостояние между «дворянской империей» и «мужицким царством», противоречие между религиозной и секулярной сферами общественной жизни. По словам К. Леонтьева, в России «вера ... греческая ..., государственность со времени Петра почти немецкая, общественность французская, наука ... общеевропейского духа» [175]. Противоречие между традиционализмом (греческая религия) и тем, что И. Ильин назвал «новоевропейским укладом души человека» (франко-германская культура), не было снято в рамках самодержавного социального порядка. Это противоречие по-своему решала Октябрьская революция 1917 г. Вопрос о том, какое общество породила эта революция, до сих пор не получил однозначного ответа. Было ли советское общество социалистическим? Победил ли в стране капитализм, закамуфлированный под коммунистическую идеологию? Или сохранилось традиционное общество в новом обличье? От ответа на этот вопрос во многом зависит понимание специфики советского социального порядка. Простое сопоставление советской реальности с идеями марксизма показывает, что она далеко отстояла от императивов социализма в его марксистском понимании. Г. Плеханов писал, что «русская история не смогла той муки, из которой можно выпечь пирог социализма» [176]. Отказались признать социалистический характер Октябрьской революции мыслители противоположных мировоззренческих и политических ориентаций – от видных деятелей левого движения на Западе, в том числе и признанных теоретиков марксизма того времени, до русских религиозных философов. Крупнейший теоретик германской социал-демократии К. Каутский, лидер немецких коммунистов Р. Люксембург подвергли суровой критике большевистский режим за его репрессивный характер, противоречащий интересам трудящихся. Руководитель итальянской компартии и известный теоретик марксизма А. Грамши назвал Октябрьскую революцию революцией против «Капитала» (имея в виду название основного труда Маркса). Один из ведущих теоретиков германской социал-демократии Р. Гильфердинг сделал вывод о том, что общественно-экономическая система в СССР не является ни социалистической, ни капиталистической, а представляет собой «тотально огосударвленное хозяйство» [172, с.197-198]. Видный теоретик русских эсеров В. Чернов относил советскую систему хозяйствования к государственному капитализму. На фоне оценок, отрицающих социалистический характер большевистской революции, диссонансом прозвучало мнение известного теоретика австрийских социал-демократов О. Бауэра. Он полагал, что в СССР победил социализм [172, с.197].

Не менее принципиальной выглядела критика большевизма со стороны русских

философов. С. Франк писал: «Административный состав большевистской власти, преимущественно армии и полиции, был создан при ... участии “черносотенства”. ... Толпа, участвовавшая в былые времена в еврейских погромах ..., есть та самая толпа, которая совершила большевистский переворот ...» [48, с.53-54]. Другой русский философ И. Ильин считал черносотенство одной из причин революции. По его словам, «большевики суть “черносотенцы слева”, а черносотенцы суть “большевики справа»» [49, с.178]. П. Струве также видел в большевистской революции проявление «черносотенной стихии».

В. Ленин соглашался с тем, что в стране не сложились объективные предпосылки для социалистической революции. После октябрьских событий Ленин признал, что по своим «движущим силам» эта революция была буржуазной; в 1918 г. большевики взяли курс на союз с «середняком». Все это противоречило более раннему представлению вождя о социалистической революции, в которой роль союзника пролетариата отводилась только беднейшим слоям крестьянства или, по его же словам, «полупролетариату». В. Ленин неустанно подчеркивал, что «гвоздем» русской революции является аграрный вопрос. Но, по Марксу, социалистическая революция в качестве своего основного вопроса решает не крестьянский, а рабочий вопрос, т. е. противоречие индустриального, а не аграрного общества. Аграрный вопрос оставался основным вопросом и Октябрьской революции. Она дала на него свой ответ в тех рамках и теми способами, которые были заданы интересами и социальным составом ее акторов. Участие разных слоев крестьянства, лозунг «Советы – без коммунистов» (впоследствии поддержанный евразийцами), выдвинутый (в 1921 г.) теми, кто в 1917 г. брал Зимний, размывали статус большевистской революции как социалистической. Крестьянин, будучи мелким товаропроизводителем, ежеминутно, по убеждению Ленина, порождает капитализм. Кроме того, революция, по признанию того же Ленина, не сумела сломать старый государственный аппарат, чьи чиновники стали советскими госслужащими. Те офицеры бывшей царской армии, которые перешли на сторону большевиков, (а таких было порядка 70 тыс. чел.), сделали это не из-за симпатий к марксизму, а повинаясь своему долгу служения отечеству. Их вклад в победу Красной армии дал основание А. Деникину объяснить поражение Белого движения в Гражданской войне тем, что одни офицеры победили других офицеров [237].

Изложенные соображения, казалось бы, дают больше аргументов в пользу признания буржуазного характера большевистской революции. Тем более, что так называемые «легальные марксисты» (С. Булгаков, П. Струве и др.) и В. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» (ее редактировал Струве) отвергли народнические проекты крестьянского пути развития. Ленин признавал, что Россия страдает не столько от развития капитализма, сколько от недостатка его развития. Начиная с конца XIX в. и до 1917 г. интенсивно развивались буржуазные отношения, а после принятия царского Манифеста в октябре 1905 г. даже наметились возможности постепенной эволюции самодержавия к парламентской монархии. Поиск сходства между большевистской революцией и движением Реформации М. Лютера и Ж. Кальвина, казалось бы, усиливает впечатление обоснованности точки зрения о буржуазном характере Октябрьской революции. В этой системе рассуждений она понимается как «русская реформация», а большевизм выступает в роли «протестантизма», хотя бы и атеистического. Проблематичность такого подхода состоит в отсутствии достаточных оснований считать протестантизм буржуазной идеологией. Еще до М. Вебера К. Маркс назвал протестантизм «буржуазной разновидностью» христианства, а Реформацию считал (вместе с Ф. Энгельсом) «буржуазным» движением [50, с.89].

Идейный противник Маркса Вебер развил эти идеи в виде представления о связи между «протестантской этикой» и «духом капитализма» [51, с.60-272]. Оба мыслителя приняли сходство протестантских и буржуазных ценностей, а также хронологическую близость возникновения протестантизма и генезиса капитализма за причинно-следственные отношения между двумя явлениями. Пересмотреть позицию Маркса-Вебера позволяют следующие соображения.

Картина мира. Вебер прав в том, что картина мира влияет на действие социальных акторов. Вопрос состоит в том, а было ли протестантское мировоззрение буржуазным. Несмотря на оппозицию к метафизике Аристотеля, протестантизм заменил органицизм механицизмом, а невзирая на конфликт с церковной мистикой, он вслед за «вольной» мистикой Майстера Экхарта наделил первоначало динамизмом. Некоторые протестантские секты (квакеры) относились к молитве как мистическому акту. Принцип предопределенности, заимствованный у Августина и пронизывающий исламскую теологию, не согласовывался с утверждавшимся гуманистами и рационалистами культом человека (антрополатрия) и его разума, присущим ранней буржуазной идеологии. Враждебность протестантизма к науке исключала появление в рамках его аксиологии «научной техники» (т.е. соединение техники с наукой), без чего невозможен капитализм [35, с.105]. Привлекаемые в качестве доказательства обоснованности веберовского тезиса такие протестантские страны, как Англия, США или Голландия, являются как раз примерами той культуры, где раньше всех победил эмпирический способ мышления, опиравшийся на индуктивную методологию познания, экспериментальную науку, технологический рост и ярко выраженный индивидуализм. По крайней мере этот социокультурный ряд лучше объясняет причины развития капитализма. Протестантизм восстал против католицизма не потому, что стремился к светскому обществу, а потому, что мечтал вернуться к простому образу жизни первых христиан, не знавших строгой церковной иерархии и идеологического диктата церковной бюрократии. Умонастроению протестантизма противоречило кредо тех мыслителей, для которых золотой век находился не позади, а «впереди нас» (К. А. Сен-Симон).

Социальный тип. Вебер проводил различие между «примордиальным капитализмом», основанным на «сопоставлении доходов и издержек в денежном выражении» или «денежном обороте» (общества Древнего Востока, античные государства средиземноморья, средневековые города), и «западным капитализмом». Один строился на жажде личного обогащения, другой – на «рациональной организации» формально свободного труда, применении достижений науки и техники. Именно с последней разновидностью капитализма Вебер связывал протестантский социокультурный тип, наделенный бережливостью, «внутримирским аскетизмом», инициативностью, верой в успех профессиональной деятельности. Однако всех этих качеств еще не достаточно для появления «экономического человека», а культ труда сам по себе еще не ведет к капитализму. Подмастерье средневекового цеха работал не меньше рабочих на капиталистической фабрике, у которых к тому же была возможность добиваться сокращения рабочего дня. Многие рабочие на советских предприятиях работали не меньше, чем их западные коллеги. Выдававшаяся Вебером за отличительный признак западного капитализма рациональная организация труда не является его неповторимой особенностью. Шумерские жрецы демонстрировали образцы рационального ведения хозяйства задолго до императивов хозяйственной этики протестантизма [15, с.153]. Платон писал о существовании в античном обществе категории «дельцов». В. Парето понимал под «античными спекулянтами» социальную группу, чья по-

веденческая стратегия отличалась предприимчивостью и новаторством. Старообрядческая культура в России также содействовала выработке стимулов к рациональной трудовой деятельности. Старообрядцы составляли свыше 60% представителей торгово-промышленного класса России. Но ни экономическая культура жрецов, ни активность дельцов Платона, спекулянтов Парето или старообрядцев не породили капитализм в смысле Вебера. В европейской истории встречаются движения, способные оспорить роль протестантизма в развитии капитализма. Чреватый научным эмпиризмом средневековый номинализм, рациональная организация банковского дела у тамплиеров, культ земных ценностей у гуманистов Возрождения, космополитизм масонства больше отвечают духу капитализма, чем идеология и сектанство протестантов. То, что Вебер поставил у истоков западного капитализма «средние слои ремесленников», которым немецкий социолог противопоставил «торговый патрициат», сообщает убедительность оценке Ф. Ницше протестантизма как движения активных, но отсталых слоев средневекового общества. Такие слои при всех своих деловых качествах не могли преодолеть логику развития традиционного общества. Протестантские идеи распространились в Европе в результате победы лютеранства и кальвинизма. Но только к концу XIX в. Германия, а потом и Швейцария вступили в период индустриальной модернизации. Традиционное общество эпохи Лютера отделяло от индустриализовавшегося общества эпохи Крупнов больше 300 лет. В Пруссии, претендовавшей на общегерманское лидерство, крепостное право отменили лишь в 1807 г. Сословные различия – этот важный признак доиндустриального общества – продержались вплоть до прихода к власти национал-социализма. Тезис о связи протестантизма и капитализма не подтверждается и тем фактом, что Великая буржуазная революция произошла в католической стране (Франция), к тому же воевавшей в свое время с протестантами.

Опыт социального транзита стран Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Китай, Вьетнам) во второй половине XX в. Он показал, что протестантизм для перехода к капитализму не обязателен. Модернизация азиатских стран, которая шла под лозунгом «западная техника и национальные ценности», вывела некоторые из них в ряды государств «золотого миллиарда» [227]. В этом им помогли такие фундаментальные ценности азиатской культуры, как превалирование ценностей общества над индивидуалистическими ценностями, консерватизм нравов и уважение к власти. Все это противоречит духу капитализма по Веберу. Ни синтоизм, ни конфуцианство, ни буддизм, доминирующие в странах Восточной Азии, не являются аналогами протестантизма еще и потому, что они возникли задолго до появления западного капитализма и им нельзя приписать буржуазные ценности.

Протестантизм предложил набор ценностей и поведенческих стратегий, которые, отличаясь от католического консерватизма, тем, не менее, не угрожали существованию традиционного общества. Вебер принял это движение за антисистемную модернизацию. Поэтому попытка связать протестантизм с новым социально-экономическим процессом оказалась непродуктивной. Попытка подчеркнуть такую связь должна была продемонстрировать сомнительность представлений об основополагающей роли «базиса». Стремление Вебера преодолеть зависимость «надстройки» от «базиса» обернулось утверждением зависимости экономики от аксиологии. Однако возникновение капитализма в каждом конкретном случае имеет свои причины, не описываемые феноменом протестантизма.

Более близка к реальности позиция, в рамках которой Октябрьская революция

может рассматриваться как радикальный по форме способ воссоздания традиционных (в том числе российских) институциональных архетипов на базе соединения, говоря словами Г. Федотова, «дворянской империи» (но без дворянства), «мужицкого царства» (но при подавлении крестьянства) и усвоения результатов индустриальной революции эпохи модерна. «Реставрация крепостничества в России после 1917 г. – констатировал А. Ахиезер – была ответом на попытки разрушить патриархальные отношения, на усиление зависимости крестьянина от чиновника, что было результатом начавшихся в 1861 г. реформ» [52, с.38]. К. Виттфогель еще более решительно выразил мысль о консервативном характере Октябрьской революции. Он писал: «Мы можем совершенно определенно утверждать, что Октябрьская революция, каковы бы ни были провозглашенные ею цели, породила основанную на промышленности систему ... государственного... рабства» [144, р.441]. О том, что революция в России приведет к установлению «рабства», «реакционной организации недалекого будущего» страны, где установятся порядки «несравненно стеснительнее прежних», писал и К. Леонтьев за десятилетия до захвата власти большевиками [175].

Октябрьская революция объективно была направлена на предотвращение развития трех фундаментальных форм институциональной дифференциации – отделения: идеологии от государства (сохранение монистического типа информационной стратификации), гражданских институтов общества от государства (сохранение монистического типа социально-политической стратификации) и собственности от государства (сохранение монистического типа социально-экономической стратификации). Советский социальный порядок стал «местом встречи» древневосточной идеократической этакратии, традиционных российских социальных институтов, элементов плюралистического социально-стратификационного типа (включая сюда примордиальный капитализм в смысле Вебера, сопровождающий социальное развитие от античности до современности, т.е. имеющий не узко формационный, а межстадиальный характер), замешанных на сциентистски-технократическом активизме эпохи модерна. Этот исторически сложившийся комплекс стадиально-различных социальных институтов устанавливает преемственность советского социального порядка с моноцентрическими социальными режимами традиционалистского типа. Она состоит в объединяющем такие общества в особый класс систем признаке – противодействии закону социальной дифференциации как фундаментальному закону развития общества. В тоже время этот комплекс институтов сообщает неповторимое своеобразие советскому строю. Этот баланс сил долгое время удерживался за счет приспособления традиционалистских отношений, выражавших категорию «порядка» в условиях советской системы, к новой, научно-технической реальности на основе концепции «догоняющей модернизации» как проявления категории «прогресса» в условиях такой системы. Не случайно на советских станках 30-х гг. была выбита аббревиатура «ДИП» («Догоним и перегоним»), а Н. Хрущев в продолжение этой стратегии повторил лозунг И. Сталина «догнать и перегнать Америку». Советский социальный порядок нельзя понять ни с помощью марксистской теории смены общественно-экономических формаций, ни с помощью либеральной теории прогресса, рассматривающей капитализм в качестве необходимой хозяйственной деятельности, ни с помощью концепций цивилизационных циклов в духе А. Тойнби, изображающих человеческую историю в качестве замкнутого движения автономно существующих обществ [53].

Для функционирования советской системы большее значение имело не слияние

собственности и власти, а слияние власти и идеологии. Даже в тех случаях, когда советская власть шла на экономическую либерализацию (НЭП, реформы 60-х гг., развитие теневого бизнеса в 60-е – 80-е гг. XX в., легализация частной собственности в период перестройки), оставался нерушимым идеологический монополизм государства. Поскольку в советском социально-стратификационном типе доминирующими игроками выступают сращенные друг с другом идеология и государство, то целесообразно сначала рассмотреть эти ключевые институты советской идеократической этакратии.

2. 2. Советская идеология

На идеократический характер советской системы исследователи давно обратили внимание. Среди них такие видные философы русского зарубежья, как Ф. Степун [249], Н. Бердяев [54], евразийцы П. Савицкий, Н. Алексеев, Н. Трубецкой [55]. Но есть и другая точка зрения. В российской социологии ее выразил, например, Ю. Левада. По его мнению «характеристика партийно-государственного правления» как «идеократии» «не вполне адекватна» [56, с.10]. Он считал, что апелляция к идеологии была вызвана потребностью в оправдании властной вертикали и поддержке атмосферы единомыслия в обществе. На наш взгляд значение идеологии в советском обществе не исчерпывалось только этими функциями. Идеология служила фундаментом советского социального порядка, основополагающим фактором его воспроизводства в силу того, что несла в себе в безальтернативно сформулированном виде стратегические цели и системные смыслы его существования, национальный культурно-цивилизационный код, определяющий причину возникновения, место и роль этого порядка в мировом историческом процессе. На первый взгляд может показаться, что западная идеология, будучи единой, не отличается в этом отношении от советской. Факт наличия единой западной идеологии А. Зиновьев даже передал словом «западнизм» [250]. На деле западная идеология существенно отличается от советской. Западнизм, по словам Зиновьева, «состоит из различных идей, учений, концепций», которые «невозможно механически объединить в единое логическое целое». В свою очередь марксизм-ленинизм не допускал идейно-мировоззренческого плюрализма как строго монистическая система [5, с.178]. По словам Ленина, марксизм словно «вылит» «из одного куска», т.е. монолитен. Монополия одной идеи, исключая конкуренцию разных мировоззренческих систем, жесткость теоретических конструкций, не позволяющая «поступиться принципами», подчинение реальности факта запросам догматики лишали советскую идеологию необходимой гибкости, ослабляли ее связи с быстро менявшейся ситуацией в мире и стране, превращали в замкнутую систему раз и навсегда установленных и не подлежащих пересмотру постулатов веры. Такая идеология представляла собой завершенную форму «спекулятивной философии истории», чья характерная особенность заключается в том, что «живая история для нее – лишь наполнитель, необходимый для бесперебойной работы машины схематизации. Политическая событийность здесь – лишь поставщик материала, которому в определенной момент говорят “стоп”. Для Гегеля этот момент остановки наступал с Наполеоном, для Александра Кожева – со Сталиным ...», а для советских партийных идеологов постсталинского периода – с идеей победы коммунизма в планетарном масштабе [57, с.49].

Организация идеологической жизни в СССР больше напоминала боевые действия

армии, чем площадку для свободных дискуссий. Язык советских идеологических практик использовал такие вербальные конструкции, как «идеологический фронт», «идеологическое оружие», «воинствующий атеизм», «если враг не сдается, то его уничтожают», «орудие пролетариата», «идеологическая», «классовая борьба», «идеологическая война», «враги пролетариата», «классовые враги», «враги народа», «борьба двух систем». Военизированный лексикон советской идеологии предвосхищали слова Маркса о «Капитале» как «самом страшном снаряде, который когда-либо был пущен в голову буржуа». Все это не означало, что в советском обществе не было дискуссий, в том числе по острым мировоззренческим вопросам. Дискуссии между разными фракциями в партии в 20-е гг., «механистами» (Л. Аксельрод, И. Скворцов-Степанов, А. Тимирязев) и «диалектиками» (А. Деборин и др.) в философии, споры вокруг генетики и кибернетики в науке в 40-е – 50-е гг. отражали реальные проблемы общественной жизни в СССР и непримиримость официальных идеологических норм. Так, генетику и кибернетику в те годы называли «буржуазными лженауками». Такого рода обсуждения часто заканчивались не достижением истины, а наказанием их участников. «В 20-е годы ... – свидетельствовал советский философ А. Зись – произвольные, чуть ли не иррациональные конструкции, к тому же грубо навязываемые в качестве непререкаемой директивы, еще не дают о себе знать, но соответствующая тенденция уже обозначается» [58, с.128]. «Соответствующая тенденция» проявилась в организованной по инициативе В. Ленина массовой высылке русской интеллектуальной элиты. Среди высланных летом-осенью 1922 г. (не только на «философском пароходе») были профессора, педагоги (41 чел.), экономисты, агрономы, кооператоры (30 чел.), литераторы (22 чел.), юристы (16 чел.), инженеры (12 чел.), политические деятели (9 чел.), религиозные деятели (2 чел.), студенты (34 чел.). На пароходе «Обербургомистр Хакен» были высланы философы Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин, Б. Вышеславцев, историк, член ЦК кадетской партии А. Кизеветтер. На пароходе «Пруссия» из Петрограда в изгнание отправились философы Н. Лосский, Л. Карсавин, И. Лапшин. На поезде «Москва – Рига» вынужден был покинуть Россию преследовавшийся большевиками социолог, активист партии правых эсеров П. Сорокин. Впоследствии перебравшись из Европы в США, он напишет труды, которые сделают его признанным классиком мировой социологической мысли.

Кроме противников первого ряда – «идеалистов», – по определению Ленина, «дипломированных лакеев буржуазии» – выделяли противников меньшего калибра – «меньшевиствующих идеалистов». Запущенное в идеологический оборот (в 1930 г.) понятие «меньшевиствующий идеализм» было еще одним звеном в цепи непрерывного конструирования маркеров «чуждых», говоря словами П. Бергера и Т. Лукмана, «областей объективированных значений», которое служило одним из важных способов воспроизводства символической власти в СССР. А. Ахматова позже назовет 20-е гг. «вегетарианскими». Но уже события конца 20-х гг. – начало раскулачивания в деревне, замена НЭПа пятилетними планами развития экономики (вытеснившими рыночные механизмы), свертывание свободы дискуссий в партии – предвещали окончание «вегетарианских» времен. Разве что у несогласных было больше шансов выжить. Победа И. Сталина над Л. Троцким привела к высылке последнего из страны (в 1929 г.), а не к расстрелу, которым заканчивалась партийная и государственная карьера многих большевиков в 30-е гг. Судьбы Сталина и Троцкого наглядно иллюстрируют слова Вебера о том, что революционер, придя к власти, становится или тираном или еретиком. Тенденция преследования инакомыслия переросла в устрашающую реальность уничтожения не только своих оппонен-

тов, но даже «обласканных властью», как в случае расправы с представителями дебординской школы «диалектиков», возглавлявших общество воинствующих материалистов и редактировавших поддержанный в свое время Лениным философский журнал «Под знаменем марксизма». Споры между «механистами» и «диалектиками» не выходили за рамки атеистического материализма и в этом смысле не могли причинить урон официальной идеологии. Более того, философская точка зрения «механистов», казалось бы, должна была больше насторожить власть, т. к. представлявшая их Л. Аксельрод открыто выражала свое несогласие с В. Лениным по вопросам гносеологии. Для Ленина ощущения представляли собой копии вещей, тогда как Аксельрод (вслед за Плехановым) считала ощущения лишь «символами», не тождественными самой реальности, а диалектический метод мышления формализмом. Несмотря на критику трансцендентализма Канта, позиции Аксельрод ближе к его пониманию соотношения мысли и реальности, чем к теории отражения Энгельса-Ленина. Тем не менее, по какой-то неведомой причине именно «диалектики» оказались неуютны властям. Во всяком случае, расстрелы Я. Стэна (он давал уроки философии Сталину), Н. Карева и Г. Баммеля (ближайших сотрудников Деборина), позже (в 40-е гг.) И. Лупшоло трудно объяснить чисто идеологическими соображениями, поскольку марксизм-ленинизм провозглашал себя диалектическим учением и противником механистической философии [58, с.129]. Также трудно подыскать рациональное объяснение тому факту, что сам А. Деборин, несмотря на обвинения его в «меньшевистском идеализме» и свое меньшевистское прошлое, уцелел в ходе массовых чисток. Так, партийность марксистской философии, нацеленная на борьбу с идеализмом, в конце концов обернулась борьбой против основных направлений материализма. «Командующий» «философским фронтом» того времени – М. Митин – повел борьбу одновременно против школы Деборина, обвиненной в «формалистическом уклоне», и философского «механицизма». Организаторами этой борьбы двигало не стремление к истине, а совсем другие мотивы. В 1936 г. Митин писал, что он «руководствовался одной идеей: как лучше понять каждое слово и каждую мысль нашего любимого и мудрого учителя товарища Сталина и как их претворить и применить к решению философских вопросов» [149, с.528]. Превращение философии в служанку партии и ее вождя было одним из признаков наступления «нового средневековья». Н. Бердяев писал, что «современный “вождь” ... есть вождь народных масс», он «зависит от массы, которой ... управляет деспотически», «идеократическое государство ... хочет быть церковью» [167, с.353-354].

Советская идеология представляла собой не просто абстрактную политико-философскую доктрину, а широкий «ансамбль социальных практик» [59, с.66], воплощавших ее базовые положения в реальную жизнь. Это делало ее многомерным явлением со специфическим для нее набором характеристик. Рассмотрим наиболее важные из них.

Метафизичность. Советская идеология соединяет в себе атеистический материализм, приобретающий в ней религиозное значение, религиозный пафос, принимающий в ней светские формы, и элементы «идеал-реализма» (обнаруживающие его гегельянские, Спинозистские и Кузанианские корни), построенные на коинцидентальной диалектике. Такую идеологию относят к разновидности светской или «атеистической религии» (термин введен немецким естествоиспытателем Э. Геккелем). Фундаментальную антиномию философского аспекта советской идеологии составляет неразрешимое в ней противоречие между категориями сознания и материи. Эта антиномия внесена лежащим в ее основе материализмом К. Маркса, пропущенным через идеализм Г. Гегеля. «Поскольку

Маркс и Ленин – писал П. Сорокин – ... приняли практически всю структуру гегелевской философии ... различие между гегелевской философией “объективного идеализма” и марксистско-ленинской философией “диалектического материализма”, главным образом, терминологическое. Фактически разными терминами – дух и материя ... – Гегель, Маркс и Ленин обозначали ... одну и ту же реальность и приписывали ей почти одинаковые свойства и диалектический процесс самопознания» [17, с.144-145]. Исходя из идеи абсолютности материи, К. Маркс и В. Ленин в то же время апеллировали к активности духа, идеи, даже к их превосходству. Они сознавали, что без идеи преобразования природы нет промышленного производства, без идеи социализма нет самого социализма. В «Капитале» Маркс писал, что в отличие, например от пчелы, архитектор сначала разрабатывает план строительства здания и только потом строит его. Иначе говоря, без технической, научной или социальной идеи не может быть ни практики как критерия истины, ни «живого творчества масс» (Ленин). В марксизме-ленинизме, с одной стороны, «не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» («Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса), а, с другой, «сознание не только отражает мир, но и творит его» («Философские тетради» В. Ленина). В поисках равновесия между сознанием и материей диалектический материализм пытался найти новые рамки для понимания двух фундаментальных категорий. В «Святом семействе» материя – это не косное вещество механистического материализма и не первоматерия Аристотеля, а «стремление», «жизненный дух», больше всего напоминающие, по собственному признанию К. Маркса и Ф. Энгельса, материю в теософии Я. Беме с ее единством противоположностей, игрой полярных космических стихий. Позже Ф. Энгельс (которому, как и К. Марксу, не была известна теория электромагнитного поля), внес дуализм в понимание материи. В его понимании материя есть «чистое создание мысли и абстракции» и одновременно мировое вещество («Диалектика природы»). Это вещество он наделил атрибутом движения, которое охватывает как самые простые (механические), так и самые сложные (жизнь и человеческое мышление) формы реальности, и чувственно воспринимается человеком («Диалектика природы»). Вызванный революционными открытиями в физике кризис старых трактовок материи породил представление о том, что «материя исчезает». Но он не внес существенные коррективы в философские позиции В. Ленина. Он объединил два основных подхода к пониманию материи, сформулированные до него Энгельсом, в одно определение. В нем материя – это «философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его». Натурфилософская рецепция была дополнена философским абстракционизмом, с которым ее связывал сохраненный Лениным сенсуализм. Не будем останавливаться на несовместимости выражений «материя есть философская категория для обозначения объективной реальности» и «дана человеку в ощущениях его» (в ощущениях могут быть даны отдельные предметы, часть, какой бы большой она не была, реальности, а не «философская категория» или «объективная реальность» как таковая, тем более, что Энгельс предупреждал, что за рамками человеческого «кругозора» «бытие есть вообще открытый вопрос»). Укажем только на то, что Ленин усилил сенсуалистический аспект понимания материи допущением (в «Материализме и эмпириокритицизме») существования «в фундаменте самого здания материи» «способности, сходной с ощущением». Этот аналог психической организации напоминает платоновскую мировую душу или бессознательное творчество природы Аристотеля как источника динамики бытия. Здесь онтологизированный сенсуализм облачается в форму гилозоистически-панпсихических спекуляций, свойствен-

ных не только античному идеал-натурализму от досократиков до стоиков и нововременному идеализму от Г. Лейбница до А. Шопенгауэра, но и материализму в духе Д. Дидро. Диалектический материализм уже не мог игнорировать ситуацию в физике, сложившуюся после появления теории относительности А. Эйнштейна и квантовой теории копенгагенской школы. Н. Винер писал в своей книге «Кибернетика и общество», что «старый ... реализм физики уступает место чему-то такому, с чем мог бы охотно согласиться епископ Беркли». Хотя Ленин не соглашался с британским епископом, его собственное (синкретическое) понимание материи сочетало «старый реализм» и логический конструктивизм в виде кантианского априоризма. Со временем в советской философии наметились две основные тенденции в трактовке проблемы соотношения сознания и материи. В дискуссиях 20-х – 40-х гг. наряду с гносеологическими вопросами обсуждалась природа материальной субстанции в связи с открытиями теории относительности и квантовой механики (споры вокруг релятивизма, допустимости/недопустимости редукции материи к веществу, необходимости/необязательности наличия механической среды для физических процессов). С 60-х гг. акценты начали смещаться с субстанциалистской трактовки на понятие атрибутивности в ее не геоцентрической форме, заменявшей атрибутивность движения атрибутом развития [148, с.72]. В то же время все больше внимания фокусировалось на категории сознания, идеального в его логико-исторической объективации (философия деятельности). В рамках обеих тенденций категории сознания и материи представляли креативными величинами.

Под воздействием научно-технической революции, успехов в освоении человеком космоса атрибутивная концепция материи приобретала форму не геоцентризма. Его подпитывали высказанные в «Диалектике природы» мысли Ф. Энгельса о неизбежности появления «мыслящего духа» в просторах вселенной, когда материя истребит свой «высший цвет» на Земле, нараставший кризис дарвинизма и концепции А. Опарина – наиболее авторитетных в советской идеологии теорий земного происхождения жизни и человека. Некоторые крупные советские астрофизики (И. Шкловский, Н. Кардашев), не удовлетворяясь такими теориями, обращались к поиску внеземных цивилизаций [190]. Однако перевод категорий жизни и духа в разряд не геоцентрических атрибутов материи также далек от объяснения их происхождения, как и сохранение за ними статуса геоцентрических атрибутов. Развитие кибернетики и синергетики стимулировало переосмысление идеи атрибутивности самоорганизации в контексте категории информации как атрибута материи. Советский философ А. Урсул рассматривал информацию в качестве фактора, ускоряющего эволюцию материи [149, с.820]. В представлении о космической роли информации получала новое обоснование концепция ноосферы В. Вернадского, исключавшего вслед за идеями гилозоизма возможность возникновения жизни из неорганической материи [177]. Свое обоснование категории информации и ноосферы нашли и в рамках концепта «интегральный интеллект». В работе Ю. Шейнина «Интегральный Интеллект» изложена технократическая интерпретация понятия ноосферы [178]. Согласно Шейнину, интегральный интеллект образует единство всех интеллектуальных ресурсов планеты, включая «машинный интеллект», в рамках «Единой Информационной Системы» и «механизм ноосферы», обеспечивающий устойчивое равновесие между ноосферой и биосферой. Универсализация категории информации сближала идеальное и материальное до такой степени, что сама постановка вопроса о первичности одного из них теряла свой смысл. Идеальное начало, хотя и в сциентистском облачении, обретало законные права в советском

философском дискурсе. Тем не менее, все это не снимало антиномии сознания и материи в диалектическом материализме. В определении материи как «чистого создания мысли и абстракции» или «философской категории» диалектический материализм отождествляет мышление и материю. В признании существования внешнего мира как чувственно воспринимаемой материи он отождествляет реальность и опыт человеческого субъекта. При этом диалектико-материалистическая философия рассматривает сознание в качестве свойства материи, которая объявлялась первичной. Определяя материю через мышление, а сознание через материю, диалектический материализм попадает в замкнутый круг тавтологии и паралогизмов. В диалектико-материалистической теории онтологической стратификации антиномически сталкиваются представление о человеческом «мыслящем духе» как «высшем цвете» (по словам Энгельса) материи, но вторичном начале, присущем не всей материи, а только ее высокоорганизованной форме, и понимание лишенной сознания материи как более низкого, но первичного уровня в иерархии бытия. В марксизме человеческое мышление есть продукт низших по сравнению с ним форм развития, т. е. эволюции. Однако до сих пор никто не доказал, что из низшего может возникнуть высшее. Не решен вопрос о том, определяет ли категория процесса сущность вещей, способ их существования, на чем настаивает диалектическая философия. Немало ученых ставят под вопрос способность эволюционистской парадигмы объяснить возникновение мира и жизни на Земле. В марксизме и советской идеологии материя абсолютна, вездесуща, есть причина самой себя, а сознание относительно, локализовано планетарными условиями своего существования. Иначе говоря, здесь сопоставляются несопоставимые по объему категории – материя, под которой понимается вся, а не только земная реальность, и сознание, под которым подразумевается только земное (человеческое) сознание и отрицается любое другое.

Как это ни парадоксально с точки зрения здравого смысла, но, например, трансцендентализм Канта предлагает более глубокую картину мира, чем «объективизм» диалектико-материалистической философии. В теории онтологической стратификации Канта за феноменальным бытием стоит интеллигибельная реальность, а «первоначальный творческий разум» есть «первообраз» человеческого разума. В диалектическом материализме, где кроме материи ничего нет, перемежаются идеи бесконечного развития и циклизма. В философии Канта надэмпирическая реальность, существуя вне пространства и времени, свободна, перефразируя слова М. Хайдеггера об «иге бытия», от «ига развития». Более последовательная теория онтологической стратификации Канта помогла ему построить и более правдоподобную гносеологию. В отличие от диалектической логики в советской философии, отстаивающей единство (совпадение) «логического» и «исторического», в философии Канта наиболее четко проведено разграничение между эпистемологией и онтологией. Согласно Канту, человек познает не мир сам по себе, а лишь его явления, которые имеют не больше отношения к самой реальности, чем тени в платоновской пещере. Залпы, раздавшиеся из философских орудий кантовского трансцендентализма, разрушили тщательно укреплявшиеся в науке метафизические бастионы философского реализма. Кантовская программа построения системы единого знания, проникнув в науку через теорию относительности и квантовую механику, привнесла в нее феноменализм, конструктивизм, осознание границ опытного или экспериментального знания. Некоторые аналитики кризиса науки, связывая (как Э. Гуссерль) его причины с рационализмом (картезианским) или критикуя (как Х. Динглер) теорию

относительности, все же не порывали связь с той или иной разновидностью трансцендентальной философии. Гуссерль развивал идеи феноменологии. Динглер придерживался априоризма, хотя и не в его кантианском понимании. Кроме того, кризис науки оказался продуктивнее для развития познания природы, чем представление некоторых ученых XIX в. о том, что наука сказала о мире все или почти все, что могла.

В процессе осмысления категории сознания советская философия постепенно отходила от созерцательной гносеологии. Первоначально в сознании видели высшую форму отражения. Данный тезис черпал свое обоснование в ленинском взгляде на идеи как «копии» вещей. Ленинская теория отражения, также идущая в рамках марксизма от мысли Энгельса о сознании как отражении чувственно данных вещей, превратилась в первоначальную форму гносеологии советской философии и всей системы советского идеологического дискурса. Она отвечала социальным и политическим условиям, в котором находилось советское общество в первые десятилетия своей истории. Ленинская теория отражения если что-то и отражала, то потребность властей в послушном, исполнительном работнике, способном неукоснительно выполнять спущенные сверху директивы начальства. Данная парадигма, будучи по существу созерцательной, со временем все меньше удовлетворяла запросам общественной мысли и социальной практики. В 60-е гг. прошлого века в советской философии получила распространение теория «опережающего отражения» (термин пришел из естествознания) [148, с.72]. При всей антиномичности этого словосочетания и всем его компромиссным характере концепт опережающего отражения выражал узость материалистического понимания сознания и желание преодолеть его. В теории опережающего отражения творчество стало рассматриваться в качестве его важного элемента. В 80-е гг. прошлого столетия принцип отражения практически исчез из понимания природы сознания, а его единственной характеристикой осталось творчество [148, с.72-73]. Так советская философия под влиянием научно-технической революции, научных открытий и эволюции социальных отношений, по сути, вернулась к представлениям об активности сознания. Они лежали в русле идей немецкого идеализма, в частности И. Фихте, об абсолютном «Я» как чистой деятельности, конструирующей внешний мир. Повышение статуса категории субъекта в структуре субъект-объектных отношений стимулировало развитие аксиологии (В. Тугаринов [229], О. Дробницкий [230]), философии сознания (Э. Ильенков, Д. Дубровский, Г. Батищев, Г. Щедровицкий [233]) и психологии (А. Леонтьев [231]). Становление этих направлений подготовили также психологическая теория деятельности или «принцип творческой самодетельности» С. Рубинштейна, теория символического характера культуры Г. Шпета и культурно-историческая теория психического Л. Выготского, вобравшие в себя весомую аксиологическую составляющую [170, с.129]. Их основы были заложены названными мыслителями еще в 20-е – 30-е гг. XX в. Вслед за Марксом советские философы наполнили категорию деятельности конкретно-историческим предметным содержанием. Важно отметить, что в основе категории деятельности лежит принцип целеполагания, артикулирующий творческую роль идеального начала в изменении действительности. Усилия Э. Ильенкова по реабилитации категории идеального как «формы мыслящей активности индивида» содействовали обоснованию перехода от теории отражения к категории «предметная деятельность» [149, с.317]. В интерпретации Ильенкова идеальное есть представленная в вещи форма человеческой деятельности [228, с.256]. В этой формуле намечена линия размежевания с марксовым пониманием идеального как материального, пере-

саженного в человеческую голову и преобразованного в ней («Капитал»), и сближения с аристотелевским подходом к проблеме соотношения формы и материи. З. Оруджев, выступая против распространенной в советской философской литературе трактовки субъекта как общества, подчеркивал, что общество есть лишь «социальная среда», «в которой человек может развиваться как субъект познания и преобразования природы» [232, с.314-315]. Мысль о том, что субъект – это индивид, не растворяющийся в социальных и космических процессах, прокладывала путь к персонализму. «Теоретической реабилитацией» идеального была занята и монография Д. Дубровского «Проблема идеального» [179]. Категорию идеального автор рассматривает как «единство гносеологического и онтологического аспектов». Для Дубровского субъективная реальность есть «многомерная, динамичная, биполярная структура», противостоящая безликой массовости. Ученик Э. Ильенкова Г. Батищев развивал идеи «диалектики творчества» [180]. Согласно этой концепции, идея «субъект-объектного отношения» порождает «редукционизм», не оставляющий места для творчества. Критика односторонности идеи «субъект-объектного отношения» вела к отрицанию теории отражения и субстанциализма. В противовес им советский философ предложил «межсубъектный подход». Из него вытекала идея иерархии уровней бытия, существующих как в мире человеческих коммуникаций, так и вне него. Построенная на принципе совпадения онтологии и аксиологии, она меняла восприятие мира. Он превращался из места космического одиночества человека в место, согретое присутствием высших смыслов.

Философия идеального изменяла понимание соотношения личного и общественного, выправляя тот крен в сторону последнего, который наблюдался в течение многих лет в советской идеологии. Философия творчества влекла за собой смену созерцательного объективизма интенциональным активизмом. Все это еще не порывало с взглядами марксизма, также допускавшего активную роль сознания и воли в человеческой практике, но вступало в противоречие с его устаревшими интерпретациями и консервативными сторонами жизни советского общества. «Организационно-деятельностные игры» (ОДИ) Г. Щедровицкого придали решающий импульс развитию всего «деятельностного движения» в СССР [148, с.73]. В 60-е гг. Щедровицкий вместе с В. Садовским и Э. Юдиным организовал междисциплинарный семинар по структурно-системным методам анализа в науке и технике при Совете по кибернетике АН СССР [149, с.911]. Истоки организационно-деятельностной методологии с ее упором на мыследеятельность как первооснову деятельности можно проследить в логическом идеализме Гегеля, трансцендентальном идеализме Фихте и даже тектологии Богданова. В ОДИ соединялись разные виды мыследеятельности: программирование, организация, коммуникация и др. В понимании категории деятельности как мыследеятельности намечался разрыв с подходом к концепту деятельности как культурно-исторической практики. В 80-е гг. ориентация на категорию деятельности закрепляется в официальных философских изданиях. В опубликованном в 1981 г. Институтом философии АН СССР коллективном труде «Марксистско-ленинская теория исторического процесса» говорится о категории деятельности «как исходной категории, отправном пункте теоретического воспроизведения исторического процесса» [165, с.179]. В вышедшей в 1983 г. монографии К. Рожко «Принцип деятельности» анализируются виды человеческой деятельности [181]. В ней рассматриваются не только трудовая и групповая деятельность, что традиционно свойственно марксистскому анализу, но и индивидуальный, нетрудовой и «промежуточный» виды деятельности. В период перестройки «деятельностный подход»

получает идеологическое подкрепление с публикацией в 1989 г. работ «Философия свободы. Смысл творчества» Н. Бердяева – самого известного русского философа творчества.

В недрах философии творчества вызревало несколько концептуальных решений. Одно из них вело к «технологизации» или «кибернетизации» научной рациональности, и, стало быть, научной деятельности, и ставило человеческое познание перед дилеммой – или отдать приоритет интуитивному началу или остаться в лоне дискурсивно-логических отношений и формализованных процедур мышления [148, с.73-74]. Здесь философия творчества соприкасалась с технократическим дискурсом. Другое решение способствовало разработке этики научного творчества, концепции нового человека на основе общей антропологии. Важный вклад в становление этого направления советской философии внес И. Фролов – один из инициаторов междисциплинарного, комплексного изучения человека [149, с.845]. В конце 80-х гг. Фролов стал помощником Генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990 г. был введен в состав Политбюро ЦК партии. В рамках антропологической оптики фундаментальные категории советских идеологических практик «производственные отношения», «базис», «надстройка» выглядели содержательно узкими и не совсем адекватными даже духу марксовской мысли [191; 192; 193]. Тезис о том, что «совокупность ... производственных отношений составляет реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания» («К критике политической экономии» К. Маркса), образует важный, но не конечный слой марксистской методологии. Следуя за марксовской оценкой роли экономического фактора в развитии общества, Ф. Энгельс писал в 1892 г., что «все правительства, даже самые абсолютистские, в конечном счете только исполнители экономической необходимости» [182, с.314]. Энгельс понимал, что такие взгляды находятся в опасной близости к экономическому детерминизму. Поэтому он счел нужным пояснить свою с Марксом позицию по этому вопросу. Энгельс отличал понятие «воспроизводство действительной жизни» от категорий «производственные отношения», «экономическая структура», «базис», «надстройка». «Если же кто-нибудь – писал он в 1890 г. – искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, ... бессмысленную фразу» [183, с.394]. Некоторые критики марксизма указывали на не специфичность для него представлений о базисе и надстройке. К. Шмитт отмечал, что эти представления циркулировали в интеллектуальных кругах Европы еще до Маркса [74]. Б. Вышеславцев подчеркивал, что «в признании преимущественной ценности “экономического фундамента” Чичиков вполне согласился бы с Марксом и французский буржуа с русским коммунистом» [60, с.698]. Третье решение в рамках философии творчества было не менее радикальным. В ней по-другому расставлялись акценты в интерпретации проблемы соотношения сознания и бытия. Простор для такой философской работы предоставили некоторые высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса в «Немецкой идеологии» («обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства») и выдержанные в духе натуралистического гуманизма положения в философских работах «раннего» К. Маркса. В соответствии с этой трактовкой, «проблема “соотношения сознания и бытия” есть проблема произвольности и целесообразности поведенческих актов жизнедеятельности Homo sapiens, если начинать с начала, а не ... с ее проекции на абстракты спекулятивного мышления, оперирующего “Бытием вообще” и “Сознанием вообще” без соотнесения с вопросом: чье бытие и чье сознание» [150]. Главное открытие Маркса, по мнению сторонников этого подхода, состоит «в логико-историческом

определении ... способности человека, как, с одной стороны, абсолютно равной способности реализовать свои природные жизненные силы лишь постоянным воспроизведением и совершенствованием форм, способов и средств общения с другими людьми, а, с другой, – абсолютно равной тому, что ... называется способностью самосознания и сознания – то есть продуктивным воображением, реализуемым интуицией, высшими аффектами, волей ... и ... вербальным мышлением. И именно эта, по Марксу, – изначальная, генезисная тождественность ... столь разных способностей Homo sapiens ...» [150]. Мысль Маркса о том, что «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» («К критике политической экономии»), трактуется не с точки зрения выведения сознания индивида из бытия «с поправкой на соматическую наследственность и ... “средовые” влияния», а с позиций «новой, “неклассической” идеальной реальности». Она заменяла «Субстанцию Спинозы, ... Интеллигенцию Гегеля, ... волю Шопенгауэра» новой формой тождества сознания и бытия [150]. Денотатом этого тождества становится здесь «язык, его структура, правила и законы их соблюдения», названные «воплощенным тождеством бытийности и духовности, осознанным как внешняя индивидуальное сознанию реальность» [150]. Таким образом, проблема соотношения сознания и бытия переместилась из плоскости онтологии (вопрос о том, как вообще соотносятся сознание и бытие, не имеет решения в рамках человеческого измерения) в область человеческой деятельности, где у каждой культуры и цивилизации свои формы сознания и общественного бытия. Сдвиг советского философского дискурса в сторону категории деятельности позволял отойти от трактовок, которые, по словам П. Бергера и Т. Лукмана, пытались «отождествить “субструктуру” ... с экономической структурой, а суперструктура считалась ее ... “отражением”», т. е. допускали «искажение мысли Маркса, представляющее собой скорее механистический, чем ... диалектический вид экономического детерминизма», и вернуться к представлению Маркса о том, что «человеческое мышление производно от человеческой деятельности (точнее, от труда) и от социальных взаимосвязей, возникающих в результате этой деятельности» [9, с.17]. Но лежащая в основе общественного бытия человеческая деятельность – не только причина, но и следствие общественного сознания, без которого она была бы невозможной.

Стало быть, одно не может существовать без другого, и тогда тезис о первичности материи или духа теряет смысл и трансформируется в «новое для европейского рационализма определение: не отношение сознания к бытию, а ... их изначальное и субстанциональное тождество» [150]. В философии творчества представлены два типа тождества сознания и бытия. Одна трактовка категории деятельности (Г. Щедровицкий) относится к тому типу тождества сознания и бытия, где содержанием сознания является «мыследеятельность», в том числе «язык, его структура, правила и законы их соблюдения». В другой трактовке концепта деятельности (Э. Ильенков, Г. Батищев) воспроизводится такой тип тождества бытия и сознания, в котором содержанием сознания выступает сам предметный мир, данный в исторически развивающейся материальной и духовной культуре. На философию творчества работал и пришедший из космологии антропный принцип (АП). В его основе лежит мысль о том, что вселенная такова, какова она есть, для того, чтобы в ней мог существовать наблюдатель (земной человек) как необходимый продукт космической эволюции. По сути АП в сциентистской форме воспроизводит старый тезис идеализма, в частности Шопенгауэра, о том, что без субъекта нет объекта, и порождает дуализм, раскалывая реальность на воспринимающего и воспринимаемого.

В советской философии популяризации антропного принципа способствовало космистское направление (В. Казютинский [234]).

Философия творчества, подрывая силу утверждений о том, что материя первична, а сознание есть функция высокоорганизованного «куска материи» (В. Ленин), объективно была направлена против устоявшихся в СССР внеэкономических форм отношений господства и подчинения, философским обоснованием которых служила теория отражения. Возобладав над созерцательной гносеологией, креативизм идеологически проложил путь к перестройке с ее сменой мировоззренческих парадигм, вызвавшей разрушительные последствия для советского социального порядка. Не случайно в период перестройки особую популярность и притягательность имела философия творчества и свободы Н. Бердяева. Мы далеки от мысли о том, что его антроподицея обрушила советский идеологический порядок. Но то, что завершение развития советской философии креативизмом, органически присущим и мироощущению русского философа, совпало с деконструкцией господствовавшей идеологии, весьма символично.

При всех модификациях советской философией положений материализма напряжение между категорией сознания и категорией материи осталось. Философия диалектического материализма представляла собой разновидность философии тождества, которая, будучи монистической философией, одновременно содержит в себе дуализм. В диалектико-материалистической философии попытка решить одну из сложнейших дилемм – антиномию единого и многого – приводит к столкновению монизма субстанциалистской и плюрализма иерархической (атрибутивной) концепций материи при сохранении дуализма сознания и материи. Чтобы как-то смягчить этот дуализм, советская философия заменила дуализм картезианского типа относительным монизмом. В гносеологии марксизм-ленинизм сохранил противоположность духа и материи, а в онтологии рассматривает сознание в качестве одного из атрибутов материи. В последнем случае на место проблематизации центральной роли субъект-объектных отношений ставится проблематизация абсолютности имперсональной реальности, наделенной развито-емилистановлением. Таким образом, в своей онтологии диалектический материализм возвращается, условно говоря, к спинозовскому пониманию соотношения сознания и бытия, где мышление есть один из двух известных (наряду с протяженностью) атрибутов безличной субстанции как *causa sui*, и где, соответственно, равновесие между персонализмом и имперсонализмом нарушено в пользу последнего. Не случайно Г. Плеханов определял марксизм в качестве разновидности спинозизма. П. Сорокин писал, что «советская философия диалектического материализма содержит в себе множество «скрытых идеалистических элементов» и, «несмотря на использование ею материалистической терминологии», «намного ближе», например, к таким мыслителям, как Н. Кузанский или Г. Гегель, «чем к любым разновидностям “вульгарного материализма”» [17, с.147-148]. Известный советский философ Ф. Михайлов считал Б. Спинозу единственным в философском дискурсе Нового времени предшественником марксова подхода к проблеме соотношения бытия и сознания [150].

Однако, как любая массовая идеология, советская идеология нечувствительна к относительной природе диалектических противоположностей, акцентируя внимание на той из них, которая больше всего согласуется с требованиями классового (партийного) подхода. Формула Ф. Бэкона «знание – сила», подчеркивающая силовой характер когнитивных практик, в том числе идеологий, приложима и к советской

идеологической системе, как одной из форм «дискурсивно-властного синкретизма» или «власти-знания» [59, с.72].

Другой ключевой аспект советской идеологии – атеизм – также утрачивал в ряде случаев свою последовательность и нередко воспринимал дух оспариваемой им религиозности. В задачу советского атеизма входило не просто спекулятивное ниспровержение религии, а реализация заложенной в нем властной доминанты. Тем не менее, он, как и любой атеизм, не был досужим изобретением, запущенным в реальную жизнь агрессивной группой антирелигиозно мыслящих ниспровергателей традиционных духовных устоев человечества. Имея в виду метафизические основания атеизма вообще и советского в частности, Б. Вышеславцев писал: «Человек ищет пред кем преклониться и чему служить..., будет ли то пролетариат, ... коммунизм, нация или ...вождь ... Идол виден, понятен, осязаем ...и вот атеистический материализм делает важное открытие: идол ... есть материя» [60, с.259]. Историк науки Т. Райнов в качестве другого объективного основания процесса массовой атеизации в индустриальном, в том числе советском, обществе называл технику. «Техника – отмечал он – есть школа безбожия» [61]. Французский философ-гегельянец А. Кожев видел «конец религиозного» в «победе технически оснащенного атеиста» [57, с.49]. Однако атеизм в России имел свои особенности. По словам С. Булгакова, «в русском атеизме больше всего поражает его догматизм, то... религиозное легкомыслие, с которым он принимается» [62, с.148]. «На таком фундаменте – заключал русский философ – не была построена еще ни одна культура». Советский атеизм искал своего оправдания не только в трудах Маркса, Энгельса, Ленина и других марксистов, но и в сочинениях материалистов и натуралистов прошлого (античный и нововременной атомизм, средневековый натурализм, Б. Спиноза, французские просветители XVIII в., Л. Фейербах) и богоборческих настроениях в русской культуре. Не случайно духовный идеал советских коммунистов (и вообще марксистов) совпадал с образом будущего у некоторых западных мыслителей эпохи ранних буржуазных революций. Так, французский философ XVII в. П. Бейль мечтал об обществе, состоящем из одних атеистов. Показательна в этом отношении следующая мысль В. Ленина, высказанная им в работе «О значении воинствующего материализма». «Было бы великой ошибкой..., – писал он в 1922 г. – которую может сделать марксист, думать, что ...народные ...массы ...могут выбраться из ...темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения» [63, с.26]. Принятые в 1918 г. декреты Совнаркома РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных общинах» и «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в которых все церковное имущество объявлялось «народным достоянием», заставляют вспомнить об антиклерикальном кличе Вольтера «раздавите гадину». Ленин ставил перед партией и государством трудно совместимые идеологические задачи – избегать оскорбления чувств верующих и в то же время пропагандировать воинствующий атеизм. На практике это оборачивалось то преследованием духовенства и разрушением церквей (с начала революции до «большого террора»), то сближением с церковью (во время войны), то возобновлением погромной антирелигиозной пропаганды (во времена «оттепели»), то замирением с церковью (в период перестройки). Обращает внимание на себя тот факт, что, несмотря на двадцатилетний период активного насаждения большевиками воинствующего атеизма, 56% советских людей, согласно данным переписи населения конца 30-х гг., назвали себя верующими людьми.

В советской идеологии антиномически переплелись секуляристские веяния модерна

в форме марксистски истолкованного антропоцентризма и идущая из архаики сакрализация символов. Первая тенденция приводила к телеологизму, изображавшему мировой интеллектуальный процесс как поступательное движение от низших форм к высшим, который необходимо завершается в марксизме-ленинизме. При этом история человеческой мысли раскалывалась на два непримиримых стана – «линию Платона» и «линию Демокрита» (Ленин), понятые как сколок классовой борьбы. Утверждение подобной дихотомии отчасти объясняется антиплатоническим настроением марксизма. Он категорически отвергал идею Платона о существовании метафизического мира и зависимости от него эмпирической реальности. Но есть здесь и политический подтекст. На рубеже 20-х – 30-х гг. труды Платона были изъяты из интеллектуального обращения не в последнюю очередь потому, что идеократический принцип устройства его «Государства» мог вызвать у советских людей соблазн провести опасные для власти сравнения со сталинским идеократическим режимом. Только в 60-е гг. начали издавать труды древнегреческого философа. Идеологический заказ на понимание развития философии как борьбы «линии Платона» и «линии Демокрита», «идеализма» и «материализма», «религиозного обскурантизма» и «прогрессивного свободомыслия» приводил к грубым упрощениям. Об этом писали В. Зеньковский, Н. Лосский и другие мыслители русского зарубежья. Так, Лосский обратил внимание на то, что советские философы неправоммерно зачислили Спинозу в ряды «атеистов». В дореволюционной русской культуре также не удалось достичь единства мнений по вопросу о том, должна ли Россия быть религиозной или светской страной. Ф. Достоевский считал русский народ «народом-богоносцем», а В. Белинский указывал на его «глубоко атеистическую природу» при наличии «религиозных суеверий». С победой атеизма и преодолением этих суеверий в России Белинский связывал великое будущее своей страны. История лишь отчасти подтвердила правоту предвидений Белинского. Советский атеизм по своему статусу не был похож на западноевропейский атеизм. Он является частным делом секуляристски настроенных интеллектуалов, использующих атеизм для отвоевания «парцелл» личной и интеллектуальной свободы. В Советском Союзе атеистический материализм служил официальной мировоззренческой доктриной, направлявшей ценностно-поведенческие стратегии и практики советских людей, контролировавшей их сознание. Специфическая природа советского атеизма превращала его в разновидность религиозной идеологии светского типа. В таких религиях наиболее явственно выражена тенденция сакрализации природных и социальных сил. Евразийцы, например, отмечали, что большевизм стоит гораздо ближе к религиозному социализму начала XIX в., чем к научному (атеистическому) мировоззрению XX в. [55, с.51]. В «Диалектике мифа» А. Лосев охарактеризовал советскую идеологию как «коммунистическую мифологию». Французский писатель-коммунист А. Барбюс, известный своим высказыванием «Сталин – это Ленин сегодня», назвал советский марксизм «религией». (Это не помешало западным левым интеллектуалам отнестись с симпатией к Советскому Союзу). К. Виттфогель также разделял оценку «марксизма-ленинизма как секулярной религии» [144, р.440]. Некоторые современные российские исследователи видят в советской идеологии «политическую религию» [133, с.125]. В свое время Ф. Энгельс указал на «точки соприкосновения» христианства с «рабочим социализмом» и общность их социальных идеалов [64, с.467]. Продолжая это сравнение, следует подчеркнуть, что подобно тому, как политическая победа христианства сделала его государственной религией Римской империи, так победа большевизма превратила марксизм-ленинизм в государственную идеологию советского социального по-

рядка. Маркс, дистанцировавшись от употребления слова «марксист» по отношению к самому себе, не без оснований угадывал в этом проявление догматических настроений, граничащих с квазирелигиозными интенциями. Однако предупреждения основоположников марксизма не уберегли советский идеологический дискурс от религиозных настроений. В «Первомайском обращении ВЦИК к рабочим и крестьянам, гражданам РСФСР» (1918 г.) мы читаем: «Отныне трудящиеся всего мира видят в русской Советской социалистической республике ... святую страну социализма. В ее национальном флаге они видят свое святое рабочее красное знамя» [59, с.146]. Эти настроения породили специфический сакральный идейный ряд, с помощью которого выстраивалось символическое пространство советского общества. Здесь мы находим: абсолютизацию философских абстракций (в мире «нет ничего, кроме вечно движущейся материи», «ничто не может устоять перед» «диалектической философией», «кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения», «материя есть философская категория для обозначения объективной реальности», «единственное “свойство” материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью», «единство мира не в его бытии, а в его материальности», «идеальное» есть «материальное, пересаженное в человеческую голову, и преобразованное в ней», бытие определяет сознание); возведенное в ранг последней истины одно учение («учение Маркса всесильно, потому что оно верно»); гипостасизацию как практики в целом (практика – критерий истины), так и отдельных социальных практик (революции – «локомотивы истории»); непогрешимость отдельных институтов власти («партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»); обожествление отдельных лидеров («вождь и учитель всех угнетенных», «отец народов»). В символическом пространстве советского общества сакрализация носила восходящий характер – она начиналась с безличных природных сил и заканчивалась возвышением одной личности на недостижимый для других уровень. Телеология достигала предельных значений: мир природы и социальных отношений получал оправдание своего существования в появлении коммунизма и его вождя как «высшей формы движения материи». Другие важнейшие сегменты советской символизации социальных отношений – изменение в визуализации числового ритма канонизации и расширение/сокращение границ статуса «вождь и учитель» – служили тем же целям. В первом случае речь идет о порядке следования и количестве изображаемых сакральных для советской идеологии фигур, персонифицирующих ее базовые идеалы, ценности, поведенческие паттерны и конечные цели. При Ленине наиболее почитаемыми героями были Маркс и Энгельс. Более скромное место занимали другие революционеры, которым также отдавали дань уважения. Функционально эта ступень новой сакральной иерархии напоминала культ святых в христианстве. В соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды сразу после Октябрьской революции стали воздвигаться памятники десяткам революционеров прошлого. Кроме памятников К. Марксу и Ф. Энгельсу ставились памятники первому русскому революционеру А. Радищеву, русскому революционному писателю Н. Чернышевскому, вождю французских якобинцев Робеспьеру и многим другим. В дальнейшем высший ярус этой иерархии пополнился именами В. Ленина и И. Сталина. Магическое отношение к имени Ленина и культ его тела стали важнейшими компонентами советской обрядово-культурной практики. Культ тела материализовался в мавзолее Ленина как «символическом центре СССР» [132, с.129]. Как подчеркивает И. Семенов-Басин, «в мавзолее Ленина ... сказалась бессознательная потребность в волшебном саркофаге, гарантирующем стабильность и развитие. Кроме того, в советских культах сохранялось

традиционное представление о том, что сакральный объект “работает” лишь в том случае, если он материально присутствует в микросоциуме. Иначе говоря, существовал запрет на разрушение социального единства святыни и сообщества, массы должны были посещать мавзолей в центре столицы ...» [132, с.130]. Строительство мавзолея мотивировалось обнаружением незадолго до него мумии египетского фараона Тутанхамона, церковной традицией почитания мощей святых, идеями русского философа-космиста Н. Федорова и установками движения “богостроительства” [132, с.129]. Именем Ленина назывались улицы советских городов, библиотека, станции метро, ему ставились памятники. В 1924 г. Петроград – бывшая столица Российской империи – был переименован в Ленинград. При Сталине принцип троичности был временно нарушен с утверждением в общественном сознании не характерной для духовной традиции России сакральной четверицы в виде четырех вождей и учителей мирового коммунистического и рабочего движения. После Сталина окончательно возобладал троичный принцип канонизации и изображения самых сакральных фигур – Маркса, Энгельса и Ленина. Без их портретов не обходились советские праздники и демонстрации. Коммунистическая «троица» оказалась «превращенной формой» своего христианского аналога. Тройственный принцип осмысления реальности типичен для советской идеологии не меньше, чем для христианской теологии или древних языческих мифов. В ней три «неприкосновенных лица» (Маркс-Энгельс-Ленин), три закона диалектики (единство и борьба противоположностей, переход количества в качество и закон отрицания отрицания), триединство диалектики, логики и теории познания, трехчленная социальная структура (рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция), три направления в строительстве коммунизма (создание материально-технической базы коммунизма, развитие коммунистических общественных отношений и формирование нового человека на базе заимствованных из религии моральных принципов). Другой важный компонент советской обрядово-культурной практики – традиции посещения мест боевой славы и ритуалы увековечивания памяти о павших героях – представлял собой трансформированную разновидность культа предков, распространенного во многих религиях. Не менее значима для понимания трансформации напряжений в советском идеологическом поле и эволюция объема статуса «вождь и учитель». Категория «учитель» занимает исключительно важное место в древних восточных эзотерических практиках и оккультных учениях эпохи модерна. Здесь также наблюдается переключка советских идеологических образцов с мистической традицией. (Отметим, что пятиконечная звезда – один из ключевых элементов советской символики – принадлежит к распространенным символам оккультизма). В ранний период советской истории статусом «вождь и учитель» обладали Маркс-Энгельс-Ленин, позже Сталин. При Сталине этот статус дополнился титулом «отца народов». Соединение революционаристской фразеологии и патерналистского образа подняло мифотворчество советской идеократии в этот период на такую высоту, на которую оно потом больше никогда не поднималось. Последующие генсеки партии официально уже не имели такого статуса. Он окончательно закрепился только за Марксом, Энгельсом и Лениным. Как отмечает Н. Лапина, в 20-е – 40-е гг. роль партийного руководства была, прежде всего, идеологической, в 60-е и 70-е гг. его отношение к идеологии стало более функциональным [65]. В условиях постановки новых задач и менявшегося сознания советских людей титул вождя и учителя меньше соответствовал пришедшей к власти генерации партийных руководителей. Эту тенденцию можно проследить и на примере осуждения «культа личности» Сталина. В признании феномена культа личности в скрытой, «эзопо-

вой» форме содержалось признание сакральности единоличной власти в СССР. Критика культа личности положила начало постепенному переходу от единоличной идеократии к идеократической полиархии (принцип «коллективного руководства» на языке партийного дискурса). Этот переход не сопровождался принципиальными изменениями в идеологии и тем более исчезновением идеократической составляющей советского социального порядка. Но подобная эволюция ослабляла принцип сакрализации и размывала идеократические основания советского строя.

Специфическая религиозность советской идеологии проступает в трех основных модусах – в постулате о радикальном преобразовании природы и общества, представлении о коммунизме как конце человеческой истории и идее преодоления разрыва между социальным субъектом и социально-природным объектом, между определенностью цели и неопределенностью конечного результата. Эти парадигмы не были открыты марксизмом и, тем более, советской идеологией, но получили в них философское обоснование и социально-экономическое и политическое подкрепление.

В основе первой парадигмы лежит сформулированная в «Тезисах о Фейербахе» мысль Маркса о том, что философы лишь различным образом объясняли мир, тогда как дело заключается в том, чтобы изменить его. Синтезированные Марксом в его варианте социального конструктивизма идеи античного антропоцентризма (и антрополатрии) – человек – мера всех вещей (Протагор) – и научно-технического активизма Нового времени, предлагавшего людям «сделаться хозяевами и господами природы» (Р. Декарт) и войти «в царство человека, основанное на науках» (Ф. Бэкон), полностью отвечали радикальному пафосу советской идеологии. Идея коренного преобразования мира как человекомерного процесса нашла свое предельное отражение в универсализации категорий труда и революции. Вот как описывает логику «метафизики труда» немецкий философ П. Козловски: «Тоталитаризму наряду с другими чертами присуще также чрезмерное усиление трудового характера модерна, усиление идеи тотальной трансформации мира посредством труда, превращение ее в идею планетарного трудового государства или планетарного бесклассового общества. В ...коммунизме ...история и природа, так же как и их противоположность друг другу, снимаются посредством труда» [66, с.41]. На протяжении всей советской истории воплощался девиз 20-х – 30-х гг.: не ждать милостей от природы, а взять их у нее – вот наша задача. «Метафизика труда», доведенная до своего логического конца, завершалась «метафизикой революции». «Будучи коммунистической ипостасью трансцендентной идеи Прогресса, – пишет Д. Резинко – идея Революции мифологизировалась, обретала свойства иррационального божественного начала, в котором были одновременно воплощены эсхатология и воля к власти» [59, с.84]. В поэме «Двенадцать» А. Блок передал настроения революционных масс посредством образов шествующего впереди них христианского бога и двенадцати апостолов. Если революция – это божество, то люди, участвующие в ней или, по крайней мере, возглавляющие ее, – это «человекобоги». Так древний архетип, сакрализирующий статус человека в мире, нашел себе место в идеологии, претендовавшей на то, чтобы расколдовать мир. На присутствие в русском самосознании идеи человекобога обратил внимание еще Ф. Достоевский, попытавшийся преодолеть ее с помощью религиозного экзистенциализма. Однако на волне революционных потрясений идея человекобожия получила новый импульс в русской культуре. Ее проводниками стали «буревестник революции» М. Горький и бывший «богостроитель» (в первое десятилетие советской власти нарком просвещения) А. Луначарский. Первый

смотрел на человечество как на коллективное божество, напоминающее «верховное существо» О. Конта, призванное перестроить природный мир. Второй ввел в советский идеологический лексикон ницшеанскую категорию сверхчеловека для характеристики личности Ленина. Горький считал даже лагерный труд проявлением героики «человекобожеского» труда. Луначарский оправдывал строительство мавзолея вождя революции тем, что Ленин был «сверхчеловеком». На примере ранних советских идеологических практик видно, как «революционная целесообразность» не останавливалась даже перед отступлениями от норм воинствующего атеизма. Некоторые исследователи не случайно отводят особое место в формировании советских идеологических канонов сторонникам объединения идей ницшеанства и социализма. Так, М. Агурский считал, что М. Горький больше заслуживает того, чтобы его называли «зеркалом русской революции», чем даже Л. Толстой, поскольку «без Горького невозможно понять глубинные народные корни большевистской революции» [208]. Мировоззрение М. Горького и А. Луначарского воплощало, по словам В. Жукоцкого, «русский синтез» ницшеанства и марксизма. Но зачем понадобился такой синтез? Почему марксизм оказался недостаточен для удовлетворения идеологических запросов большевистской революции? Дело не только в том, что Горький и Луначарский были захвачены «ницшеанским порывом отвержения старых и созидания новых ценностей» [209]. «Дух радикально-большевистского социального реформаторства постреволюционной России – поясняет В. Жукоцкий – был бы невозможен без стихийной опоры на аморальную составляющую ницшеанского сверхчеловека» [209]. Вместе с тем «в условиях массового социального движения образ сверхчеловека адаптировался в идею партии и ее вождя» [209]. Примеры деятельности Горького и Луначарского свидетельствуют о том, что нет чистых по своему классовому содержанию идеологий. Даже притязания марксизма на идеологический пуризм разбивались в России о процесс проникновения в советскую идеологию важных элементов концептуального языка враждебных социализму учений.

В «метафизике труда и революции» намечались экзистенциальные пределы советской картины мира. В ее рамках рациональное понимание превращалось в иррациональное, а историческое в антиисторическое. Здесь мы подходим к следующему модусу религиозности рассматриваемой идеологии – финализму.

Охватывая самые разные стороны жизни советского человека, идеологические практики распространялись и на область трансформации категорий социального времени и пространства. Отношение здесь к ним не пассивно-созерцательное, а активистское, в духе агрессивного модерна. Заимствованный из европейской просвещенческой философии идеал прогресса с его пониманием времени как линейного и необратимого процесса нес на себе в советской идеологии дополнительную смысловую нагрузку. Во-первых, категория времени подверглась идеологизации. В Советском Союзе Октябрьская революция рассматривалась в качестве поворотного события в мировой истории, убеждавшего в том, что, говоря словами песни советских пионеров, «близится эра светлых годов». Вслед за В. Лениным было принято считать двадцатое столетие веком социалистических революций. 24 января 1918 г. СНК РСФСР отменил старый юлианский календарь, по которому жила царская Россия, и ввел советский календарь, основанный на календаре грегорианском. Общепризнанными календарными праздниками стали даты революционных, военно-исторических событий, трудовых свершений, имевших место в советской истории: 7 ноября праздновалась годовщина Октябрьской революции, 23 февраля – День Советской армии (за дату ее создания была принята дата создания Красной армии в годы револю-

ции), 9 мая – День Победы (хотя его начали праздновать лишь с 1965 г.), 12 апреля – День космонавтики (после полета Ю. Гагарина в космос), 1 мая – День международной солидарности трудящихся, 5 декабря – День Конституции СССР. Организовывались юбилеи по случаю годовщины образования коммунистической партии и советского государства, торжества по случаю дней рождения вождей и руководителей партии (например, дня рождения В. Ленина), отмечались дни, посвященные отдельным профессиям (день учителя, день металлурга, день шахтера, день десантника и т. п.) и воспевающие героическую трудовую и военную подвиги советских людей. Во-вторых, произошла «массовизация» категории времени. Оно перестало быть только временем отдельных индивидов, временем, отсчитывающим частную жизнь личности, а превратилось в «коллективное», «обобществленное» время, время революционного движения масс, призванных «творить историю». Это выразительно показано в фильме М. Швейцера «Время, вперед!». В-третьих, категория времени трактовалась с точки зрения производственно-экономических критериев. Это сближало рабочее и свободное время индивида, заполняя его свободное время элементами общественно полезного и бесплатного труда в виде проведения субботников или других альтруистических акций. Само социальное время воспринималось в категориях пятилетних планов, лозунгов («пятилетку – в три года» или «догоним и перегоним»), социалистического соревнования, в терминах динамики роста производственных показателей. В итоге время принимало форму «бюджета времени», которое «может быть истрачено, израсходовано, рассчитано, вложено разумно или безрассудно» [59, с.151]. Схожая метаморфоза произошла и с восприятием пространства. В социальном пространстве выделялись следующие сегменты: производственный (колхоз, предприятие, главк, министерство республиканского или федерального значения); административно-территориальный (район, город, область, край, республика); идеологический (разветвленная система партийной, комсомольской учебы, размещавшиеся на зданиях улиц, предприятиях лозунги, здравицы, плакаты, чествовавшие КПСС, советский народ, портреты с изображениями руководителей страны, Маркса, Энгельса, Ленина, стенды с фотографиями передовиков производства); политический (райком, горком, обком, крайком, ЦК партии республики, центральный партаппарат КПСС, Советы разных уровней, комсомольские и другие общественные организации); культурный (деятельность структур социально-культурного назначения, наименование и переименование городов и улиц в честь героев советской истории, воздвижение памятников ее кумирам); социальный (функционирование объектов социально-бытового назначения); национальный (деление страны по национально-территориальному признаку); «всемирный» или общемировой [59, с.151] («социалистический лагерь», мир капитализма и третий мир, понимание исторического пространства как места борьбы двух антагонистических систем). Для советского способа организации социального пространства присущи нераздельное, синкретическое единство на макроуровне родины (отождествленной с государством), партии и народа, на микроуровне малой родины (города, села, края, республики), местной партийной организации и места работы советского человека (завода для рабочего, колхоза для крестьянина, учреждения для служащего), подчеркнутый идеологизм и иерархизм. Концепт социального времени в советской идеологии слагался из идеи ««модерн»- времени» [59, с.151] и (идущей от марксизма) его финалистской трактовки. В ней, говоря словами К. Маркса, «предыстория» человечества как конец собственно исторического этапа его развития должна была уступить место «подлинной истории», снимающей категорию исторического

времени в диалектическом синтезе. «Социалистические идеи, начиная с Платона, – отмечал К. Кантор – были протестом против исторического способа существования. Также думал о коммунизме и Маркс» [67, с.86]. По словам А. Зиновьева, «у Маркса речь идет ... о переходе от Истории к Не истории. ... Коммунизм есть способ ограничения исторического прогресса. Он кладет конец и самой истории, и ее фетишизации» [67, с.87]. Антиисторическая метафизика марксизма является, говоря в терминах О. Шпенглера, «псевдоморфозой» гегелевской философии истории. В ней эволюция общества инициируется процессом отчуждения (отпадения) абсолютного духа от самого себя, развертывающего свои потенции на всех стадиях исторического процесса, чтобы после долгих скитаний по лабиринтам природного и социального бытия, наконец, обрести пристанище в прусском государстве как кульминации своего развития. У Гегеля завершение истории совпадает с «обуржуазиванием (“буржуа” в смысле Burger = гражданин + собственник)» [57, с.49]. В марксизме и соответственно в советской идеологии завершение истории совпадает с пролетаризацией общества, появлением класса, которому, говоря словами авторов «Манифеста Коммунистической партии», «нечего терять, кроме своих цепей», но «приобретет же он весь мир». Стремление «замкнуть» исторический процесс обнаруживает парадоксальный характер марксизма и вдохновлявшейся им советской идеологии. Здесь залегает концептуальная и онтологическая граница развития, за которой оно прекращается вопреки утверждениям Энгельса в «Людвиге Фейербахе и конце немецкой классической философии» о том, что перед диалектикой не может устоять ничего, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения. «Новый мир» коммунизма неожиданно смыкается с консервативным образом «замораживания Истории» (выражение К. Кантора), о котором мечтал «русский Ницше» – К. Леонтьев. Так, марксистский социализм становится консервативной системой, способной оправдать даже традиционалистские структуры власти, если они готовы продемонстрировать свой «антибуржуазный характер». Это отчасти объясняет, почему Советский Союз причислял такие государства, как Куба, Вьетнам или Лаос к социалистическим странам.

Другая базовая матрица советской идеологии – намерение привести в соответствие намеченную обществом цель с конечным результатом – выражает грандиозную идею планирования истории, глобального управления социальным развитием. Именно здесь достигают своего предела притязания на тотально рационалистическое понимание мира и убеждение в его исключительно рациональной природе. С этой точки зрения социализм в марксизме и советской идеологии принципиально отличается от всех других обществ прошлого не наличием общественной собственности на средства производства и не установлением власти народа, а способностью направлять социальную эволюцию. На механизм такого перехода от «предыстории» к «подлинной истории» человечества указал еще К. А. Сен-Симон, сформулировав идею смены управления людьми управлением вещами. Развивая эти идеи, Энгельс писал: «Люди... чем больше они удаляются от животных ..., тем в большей степени они делают свою историю сами, сознательно, и тем точнее соответствует исторический результат установленной заранее цели» [68, с.358]. Идея соответствия между поставленной обществом целью и достигнутым им результатом приводит к отождествлению категорий порядка и прогресса (как направленного хаоса). В итоге развитие, застывая в таком единстве, фактически прекращается.

Здесь вновь финалистские обертоны марксизма прорываются сквозь покров его прогресситской фразеологии.

Монистическая природа советской идеологии «разбавлена» элементами полифоничности. Она складывается не только из марксистских идей, адаптированных к подвергавшейся радикальным социальным трансформациям российской действительности. В этой идеологии также содержатся некоторые положения нововременного рационализма, ренессансного гуманизма, нищезанятия, дух манихейского дуализма, компоненты древневосточных магико-эзотерических практик, устойчивые паттерны русской культуры, образующие совокупность вкраплений немарксистских и даже иррациональных стратегем в метафизическом корпусе советской идеологии. При этом традиции русской культуры служили мостом, соединявшим марксизм с цивилизационно инородной ему средой. Выполнение посреднических функций облегчало несколько обстоятельств, оказавших определяющее влияние на формирование метафизических контуров советской идеологии. Во-первых, русская культура сыграла роль медиатора благодаря языку. Как отмечает В. Глебкин, «основным механизмом трансляции “культурных схем” русской культуры в советское культурное пространство является воспроизведение сформированных в этой культуре синтаксических конструкций, наполняемых новой лексикой» [132, с.129]. Во-вторых, марксизм воспринимался в российской социокультурной среде в значительной мере через призму ее гностической природы. По словам И. Яковенко, «в основаниях русской культуры лежат ... гностические и манихейские смыслы. ... Речь идет о ... сложном феномене существования не проявленной структуры, которая эксплицируется в частных установках, практиках, отдельных интенциях. Эти сущности ... могут быть инкорпорированы в христианскую, коммунистическую (либо иную тоталитарную), эсхатологическую доктрины» [133, с.109]. Н. Бердяев в своей работе «Мирозерцание Достоевского» характеризовал творчество писателя как «гностическое откровение о человеке» [217, с.60-61]. Эти слова хорошо выражают метафизическую интенцию русской культуры. Перефразируя слова русского философа, советскую идеологию и культуру можно назвать «гностическим откровением» о новом человеке, рождавшемся в условиях революций, войн, коллективно организованного труда, прошедшем через государственный террор и веру в социализм, но сохранившем «хладность» духа при распаде своей державы. В-третьих, наличие гностического потенциала в самом марксизме также «легитимировало» функционирование в советской идеологии гностической матрицы русской культуры в качестве посредника и стабилизатора разнородной идейной среды.

Классовость (партийность). Метафизический аспект советской идеологии отвечал за формирование унифицированной и формализованной картины мира, регулировавшей ценностные и поведенческие паттерны социальных акторов. Ее классовый аспект формулировал и легитимировал принципы обоснования путей достижения социального идеала, социальной селекции, социальной мобильности, новых форм социальной иерархии. Борьба за идеологическую «перемаркировку», другую «номинацию различных структур социальной реальности» «сочетала две взаимодополняющие системы социальных координат» [59, с.87]. Один иерархический ряд строился на идее вертикальной структуризации социального пространства. Восходящая к «Манифесту Коммунистической партии» Маркса и Энгельса схема «вожди – партия – класс – масса», узаконенная Лениным и развитая Сталиным, выступала первичным стратифицирующим фактором, выстраивавшим тип социальной иерархии на основе слияния идеологической и политической сфер общества [69, с.22]. Ф. Степун справедливо назвал эту схему идеократической. В ней выражены принципы

сакрализации, возрастающей по мере восхождения по ступеням этой социальной лестницы, а также специфические формы социальной селекции и мобильности. Хотя марксизм считал народ «творцом истории», это не мешало ему критически оценивать роль крестьян или рабочих в тех или иных исторических событиях. Ф. Энгельс (как и К. Маркс) считал крестьянство уходящим с исторической арены классом общества, выражал недовольство так называемой «рабочей аристократией» в Англии за отход от идей революционного социализма. Для Ленина диктатура пролетариата была направлена не только против буржуазии и помещиков, но и против «несознательных трудящихся». В указанной схеме в парадоксальной форме повторяется принцип классификации форм природного бытия с нарастающей степенью «сознательности». Если в неживой природе она фактически отсутствует, то в человеке сознание окончательно утверждается. Масса и класс (аналог не осознающей себя природы) еще не способны формулировать свои долгосрочные, стратегические интересы, не идя дальше тред-юнионизма и экономических требований. Однако класс (пролетариат) уже стоит на ступеньку выше общей массы, потому что он выбран для осуществления всемирно-исторической миссии (мифологический мотив избранничества). Тем, не менее, подлинно классовое сознание, по Ленину, не формируется в недрах самого пролетариата, а привносится извне группой профессиональных революционеров, выходцев, как правило, из интеллигентской среды. Именно акторы из этого социального слоя благодаря своей способности к производству жизненно важных для определенного сегмента общества символов наделяются монопольным правом на репрезентацию интересов больших социальных групп и на этой основе более высоким статусом с соответствующим ему объемом власти. В идее авангардизма партийного меньшинства нашли свое воплощение интересы, выражаясь словами М. Вебера, «пролетариоидного интеллектуализма». Его социологическим адресатом являются группы, стоящие на нижних ступенях социальной иерархии и готовые нарушить сложившийся в обществе *status quo*. Допущение критики партии соотносилось с решавшимися ею задачами и общими настроениями в массах. Однако притязания на руководящую роль в обществе гораздо сильнее сужали масштабы критики политики партии, чем возможность критики действий нижестоящих групп. Конечно, нельзя было усомниться в том, что пролетариат есть «самый прогрессивный класс» общества по сравнению с буржуазией или каким-либо другим классом. Но классики нередко критиковали пролетариат, если его действия противоречили коммунистической идеологии. Компартия, будучи авангардом пролетариата, партией нового типа, носительницей «передовой» идеи, получала на этом основании главный ресурс власти и право самой определять формы и содержание критики своих членов. И хотя Ленин в послеоктябрьские годы резко критиковал партийцев за «комчванство», бюрократизм и неумение работать, критика в партии носила избирательный характер и была подчинена борьбе за власть между различными внутрипартийными группировками. После ликвидации двухпартийной системы в 1918 г. уже не ставилась под вопрос правомерность монополии власти одной партии как ключевого института общества. Коммунистическая партия в СССР не соответствовала главному критерию, которому должна отвечать любая политическая партия, – быть выразителем интересов определенной части общества, взглядов и настроений определенных социальных групп. И потому она не была партией в обычном смысле этого слова. Наконец, вождь, персонифицировал разум и волю, говоря словами В. Маяковского, «атакующего класса». Он считался наиболее сакральной фигурой, открытая критика которой либо минимизировалась (хотя несогласие с Лениным по тем или иным вопросам,

которое выражали товарищи по партии, при жизни вождя еще считалось нормой внутрипартийной демократии), либо (при Сталине и последующих генсеках) вообще исключалась. Сталин усилил сакрализацию институтов партии и особенно вождя, определив партию нового типа как «орден меченосцев». Образ партии как закрытой боевой организации, построенной на железной дисциплине, сближал ее со средневековыми орденами. Энтузиазм, аскетизм, самоотверженность, преданность своим идеалам делали большевиков своего рода «тамплиерами» от революции. В процессе обмирщения социальных практик (отказ от аскетизма, тяга к комфорту, стремление к обогащению, потребительству, охлаждение революционного пыла, рост конформизма) все больше коммунистов, особенно их элитные группы, стали походить на «торговых патрициев» Вебера (по психологии и образу жизни). Пример эволюции советского правящего слоя служит дополнительной иллюстрацией безотказности действия диалектики превращения «воинов-аскетов» в «дельцов», осмысленной еще Платоном.

Психология властителей менялась вместе с эволюцией самих властных групп. В марксизме власть рабочего класса определяется как диктатура пролетариата. Это понятие у К. Маркса не получило систематического развития. Поэтому К. Каутский считал его случайно оброненным словом. Для В. Ленина оно выражало суть политической доктрины марксизма. Ленин определял диктатуру пролетариата как «ничем не ограниченную, никакими законами, никакими ... правилами нестесненную, непосредственно насилие опирающуюся власть». Маркс и Ленин видели в диктатуре пролетариата временную меру, после которой должно будет наступить отмирание государства. Они не считали, что власть можно достичь исключительно вооруженным путем. В своей речи в Голландии в 1872 г. Маркс высказал предположение о возможности мирного прихода к власти рабочих. В начале 90-х гг. XIX века Энгельс допускал мирный переход от капитализма к социализму. Ленин в своей книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», приуроченной к работе III Интернационала (1919 г.), наставлял молодые европейские компартии в необходимости использовать парламентские формы политической борьбы. До Октябрьской революции Сталин выступал за создание коалиции политических сил от большевиков до кадетов. Тем не менее, Маркс, Ленин и Сталин вкладывали свое содержание в термин «диктатура пролетариата». Для Маркса примером диктатуры пролетариата служила Парижская коммуна, в которой власть принадлежала разным направлениям французского рабочего и социалистического движения того времени. При Ленине диктатура пролетариата после непродолжительного периода функционирования двухпартийной системы превратилась из диктатуры одного класса в диктатуру одной партии и одной идеологии. Сталин свел диктатуру одной партии к диктатуре одного человека (вождя). Интерпретация понятия диктатуры пролетариата в сторону сужения его основания не была произвольной. Однако связь между ленинским и сталинским толкованием диктатуры пролетариата более прямая, чем связь между марксистским и ленинским подходами. Слова В. Маяковского – «мы говорим Ленин – подразумеваем партия, мы говорим партия – подразумеваем Ленин», – несмотря на поэтическую форму выражения, точно передают укоренившуюся еще на ранних этапах развития советской идеологии идею тождества вождя и партии. Сталину оставалось облечь уже готовую идею в соответствующую политическую конструкцию, в которой культ вождя, возвышавшегося над партией, делал ее не самодостаточным и не устойчивым институтом политической власти. По меткому замечанию М. Джиласа, «по мере укрепления нового класса ... роль самой партии неуклонно убывает» [120, с.200]. Неотъемлемым

компонентом сталинского подхода к диктатуре пролетариата является тезис об обострении классовой борьбы при социализме. Этот тезис можно толковать как обоснование политики репрессий и гражданской войны в обществе. При более близком рассмотрении признание классовой борьбы (которая, по Марксу, ведется только между эксплуататорами и эксплуатируемыми) на почве социализма (победу которого Сталин провозгласил к 1936 г.) означает, что либо такое общество на деле не является социалистическим, либо социализм сохраняет классово-антагонистические отношения и в этом не отличается от капитализма. Новый взгляд Сталина на классовую природу посткапиталистического общества разрушал классическое марксистское представление о социализме как строе без классовых антагонизмов и эксплуатации человека человеком. Под оболочкой марксистской терминологии таилась принципиальная мысль о глубоко конфликтной природе нового строя. «Ревизионизм» Сталина был обусловлен трудно разрешимой дилеммой, с которой столкнулась его мобилизационная политика модернизации. В тех условиях требовалось или идеологически оправдать крутую ломку общественных отношений, выдав полученный результат за социализм, чтобы доказать осуществимость последнего, на чем настаивала партийная идеология, и тем самым оправдать ожидания масс, или отложить провозглашение победы социализма на неопределенный срок, рискуя потерять доверие масс к идеологии и политике партии. За этим выбором стояла общая дилемма, перед которой находится социалистическая идея как таковая. В отведенном ей узком историческом проходе она вынуждена лавировать между Сциллой риска исторически преждевременного провозглашения победы социализма (тем более в одной стране) и Харибдой опасности отложенной реализации социалистического идеала. В истории XX в. были сформулированы и реализованы два основных решения этой антиномии – русский большевизм с его «кавалерийской», т.е. военно-мобилизационной, «атакой на капитал» и западноевропейский социал-демократизм с его тезисом о том, что «движение – все, а цель – ничто». В отличие от социал-демократов Ленин категорически отрицал тезис о «мирном вращении» капитализма в социализм. По его мнению, сторонники этого тезиса игнорируют необходимость диктатуры пролетариата. Ленин никогда не допускал мысли о том, что социализм может развиваться в условиях парламентаризма и правового государства. Опыт скандинавских обществ второй половины XX в. показал, что парламентская демократия может служить не только интересам буржуазии, но и широким слоям населения. Для Ленина парламентская демократия всегда оставалась буржуазной формой политической организации власти, которую он считал обманом трудящихся. Таким же обманом западная демократия казалась К. Победоносцеву, назвавшему ее «великой ложью нашего времени». Сходное отношение вождя большевистской революции и идеолога охранительной политики самодержавия к «буржуазной демократии» отражало слабость позиций парламентских институтов и силу традиции монополии власти в России. Но без парламентских институтов построить современное демократическое общество оказалось невозможным. Также провалилась и социал-демократическая политика «врастания» социализма. В результате оба движения породили такие социальные системы, которые не сочетаемы не только друг с другом, но и с марксистским образом общества будущего.

Сформировавшийся в те годы культ Сталина как народного вождя по-своему воплощал образ «царя-жреца», о котором мечтал один из представителей утопического социализма XVI – XVII вв. Т. Кампанелла. Об угрозе появления «красного диктатора» предупреждали и некоторые большевики, в том числе Ф. Дзержинский, хотя он и относил себя

к «пролетарским якобинцам». Исторический опыт осуществления диктатуры пролетариата показывает, что бонапартизм столь же свойствен революциям, проходящим под социалистическими лозунгами, сколь он присущ и революциям, осуществляющимся на иной идеологической основе. Парадокс ленинского и особенно сталинского понимания диктатуры пролетариата заключался в том, что оно наметило переход в большевистской концепции власти от политических идей марксизма к политической теории платонизма, чьим идеалом является абсолютистское государство. В своем «Государстве» Платон писал, что «никто никогда не должен оставаться без начальника», «ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению». Созданная Лениным и Сталиным структура власти показала, что, как писал М. Волошин, «в комиссарах – дух самодержавья».

Не все большевистские лидеры разделяли сталинскую интерпретацию диктатуры пролетариата. Бывший «левый коммунист», выступивший в 1918 г. против Ленина, «любимец партии» (по выражению Ленина), противник чрезвычайных мер насильственной коллективизации 30-х гг. Н. Бухарин предложил свое толкование устройства власти рабочего класса. В отличие от Сталина он особо не выделял рабочий класс и крестьянство, а предпочитал употреблять термины «трудящиеся», «работники социалистического общества» [134, с.127]. В свой вариант конституционного проекта Бухарин записал следующие слова: «Между Советами как непосредственными носителями власти трудящихся и отдельными гражданами в СССР имеется ряд разнотипных организаций, являющихся юридическими лицами с определенными, государством признаваемыми, охраняемыми и регулируемым правами и обязанностями» [134, с.128]. В развитии общественных организаций с их горизонтальными связями, т.е. гражданского общества, Бухарин видел одно из проявлений советской демократии [134, с.128].

Диктатура пролетариата нигде не приводила к отмиранию государства и победе народного самоуправления. Этот институт рождает свои кадры, психологию, нормы поведения, нацеленные на удержание власти теми, кому она принадлежит. После отмены диктатуры пролетариата наиболее актуальной становится не проблема отмирания государства, а проблема его демократизации. В СССР нормы диктатуры пролетариата были юридически оформлены в принятой в 1924 г. первой советской Конституции. В ней вводились серьезные ограничения по классовому признаку, исключавшие из полноценной социальной жизни представителей дворянства и буржуазии. В принятой в 1936 г. новой советской Конституции, закрепившей руководящую роль ВКП (б), провозглашались демократические права и свободы граждан в соответствии с интересами трудящихся. Среди этих прав свобода печати, слова, собраний, митингов, право на объединение в общественные организации, неприкосновенность личности, тайна переписки и пр. В то же время статья 58 Уголовного кодекса РСФСР «о контрреволюционной пропаганде» и Положение о Главном управлении по охране государственной и военной тайне в печати (Главлит), на который возлагалась функция идеологической и политической цензуры, определяли пределы свободы слова и печати [134, с.132]. Последняя, третья по счету, советская Конституция 1977 г. также гарантировала гражданские права и свободы, сохранив одновременно статью о коммунистической партии как руководящей и направляющей силе советского общества. Новым в этой Конституции было, прежде всего, определение советского государства как «общенародного» [134, с.133]. В новой Конституции предусматривалось участие в управлении государством общественных организаций и трудовых коллективов,

вынесение важных вопросов на всенародное обсуждение и голосование, провозглашался принцип свободных выборов. Конституция гарантировала свободное обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты. Советы, которые, как и в Конституции 1936 г., рассматривались в качестве политической основы СССР, назывались уже не Советами депутатов трудящихся, а Советами народных депутатов [134, с.134-135]. Хотя КПСС на протяжении всей своей истории провозглашалась партией рабочего класса, она по мере изменения своего социального состава все больше превращалась в «межклассовую» партию. Еще до перестройки в ней сформировались разные течения, которые открыто смогли заявить о своих идеологических предпочтениях только после прихода М. Горбачева к власти. Так называемая «Межрегиональная депутатская группа» (Г. Попов, Ю. Афанасьев, А. Сахаров и др.) попыталась консолидировать вокруг себя демократические силы ввне партии, чтобы устранить ее с политической арены. Такая позиция пользовалась популярностью в обществе. Согласно опросам, проведенным в рамках советско-американского исследования 1990 г., о котором подробнее мы скажем ниже, Межрегиональную депутатскую группу поддерживали почти 38% респондентов. По результатам тех же опросов, сформировавшаяся внутри партии Демократическая платформа в КПСС заручилась поддержкой около 37% респондентов [247, с.35]. Однако принцип оппозиционности не сделал партию демократической в целом. Вместо демократизации внутрипартийных отношений в 1991 г. произошел массовый выход из рядов КПСС. Те, кто в свое время сделал карьеру на партийном или государственном поприще, без сожаления расставались с партбилетами. Эти события показали, чем может закончиться отложенная демократизация. С той же дилеммой столкнулось и советское государство, реформирование которого зависело от реформирования партии. В процессе эволюции советского государства его конституционные нормы утрачивали классовый характер и приближались к принципам демократического конституционализма западного типа. Вместе с тем практика осуществления власти оставалась консервативной: не действовали механизмы разделения властей, что исключалось монополией одной партии на власть, оставалось не решенным противоречие между конституционно закрепленным статусом Советов как главной формы народовластия и также конституционно закрепленным определением КПСС как «ядра» политической системы советского общества. Деятельность Советов, которым, как политической основе общества, должна была принадлежать реальная государственная власть, подменялась деятельностью КПСС, которой реально эта власть принадлежала. Демократизация содержания конституции опережала демократизацию самого государства. Возникло несоответствие (институциональный разрыв) между более продвинутым характером конституции и более консервативной природой политической системы, в которой отсутствовали реальные механизмы обеспечения прав и свобод граждан, гарантированных конституцией. Роль механизма «обратной связи» играли, например, «письма трудящихся», направлявшиеся в партийные и государственные органы. Эти письма выявляли настроения людей, характер волновавших общество проблем. Но они не смогли заменить необходимость участия населения в принятии важных для него решений. В постсталинский период государство отказалось от диктатуры пролетариата, и стало, согласно некоторым западным политологам, «посттоталитарным», но так и не смогло осуществить последовательную демократизацию [70, с.71]. Для конституционально-политических основ советской государственности присуще то, что в научной литературе принято называть «номинальным конституционализмом».

Его основная особенность состоит в «приоритете идеологии над правом и партии над государством (постановления высших партийных инстанций никогда не обращались к авторитету конституции). Это значит, что сама конституция выступает как часть этой идеологии и, следовательно, может изменяться в соответствии с ней» [134, с.134]. Одной из главных причин, сдерживавших демократизацию общественной жизни, стала затяжная, растянутая на десятилетия деконструкция института диктатуры пролетариата. В ее советской версии выделялось несколько основных компонентов этого института: провозглашение ведущей роли рабочего класса; провозглашение руководящей роли компартии (ее монополия на власть); провозглашение монополии одной идеологии как единственно возможной идеологии рабочего класса и коммунистической партии (марксизм-ленинизм); культ вождя; использование массового террора. Отмена диктатуры пролетариата в начале 60-х гг. привела к упразднению не всего этого института советской власти, а лишь его отдельных составляющих. Первоначально подвергся осуждению культ личности Сталина и был отменен «большой террор». Остальные компоненты сохранялись в течение многих лет. С провозглашением превосходства общечеловеческих ценностей над классовыми и ликвидацией конституционной статьи о руководящей роли КПСС устранялись последние компоненты диктатуры пролетариата. Однако М. Горбачев и его команда реформаторов, разрушив старую автократическую систему, не создали новую демократическую. Перестройка больше напоминала то, что Маркс называл «незавершенными революциями», которые ломали старый социальный порядок, но «забывали» построить новый.

Вождистский тип социальной классификации, обоснованный марксизмом-ленинизмом, не случайно нашел прием в России. Такая классификация отвечала настроениям масс. (Живучесть царистской психологии, неразвитость правовой культуры, тяга к патернализму, традиции принудительного труда, хроническая нерешенность «социального вопроса» лучше объясняют причины победы большевизма в России, чем романтические теории «заговора»). Включенная в эту схему идея авангардизма небольшого социального слоя, ведущего за собой непросвещенные массы трудящихся, была понятна русской интеллигенции, которая с одной стороны отличалась своим народопоклонством, а с другой представляла собой, по выражению Н. Бердяева, «религиозный орден». По иронии истории ницшеанские категории «воли к власти» и «сверхчеловека» нашли логическое завершение в описанной четырехступенчатой иерархии советского социального режима.

Проанализированная выше схема легитимировала новую форму отбора социальных игроков, намечала возможности и пределы их социальной мобильности, обосновывала иной тип социального неравенства, отношений господства и подчинения. Классификация идей и связанных с ней социальных практик на марксистские, коммунистические («законные») и буржуазные, «ревизионистские» («незаконные») обосновывала социальную селекцию, ее направленность против «чужих», и идеологическую и политическую власть «своих групп» над ними. При этом границы «чужих групп» раздвигались. Сначала это были буржуазия и помещики («классовые враги пролетариата»), потом интеллигенция («буржуазные спецы», подвергнувшиеся разгрому в ходе «процесса Промпартии»), а затем просто «враги народа», куда попадали практически все социальные слои – от сподвижников Ленина до рядовых рабочих и крестьян. В качестве механизмов такой власти использовались «власть-насилие», «власть-контроль» и «власть-соблазн» [59, с.90]. Эти виды власти опирались не только на террор. Они не смогли бы функционировать без других составляющих. Среди них партийно-государственная цензура, организация театрализованных

праздников, демонстраций, митингов. Нельзя представить эти виды власти и без широкого использования визуальной пропаганды (театр, кино). Они включали в себя и символические (герои Советского Союза, Социалистического труда, народные и заслуженные артисты СССР, лауреаты разных премий) и материальные (пайки, госдачи, автомобили, премии) поощрения (оценки) общественно полезных видов трудовой деятельности. С ослаблением массового энтузиазма и веры в коммунистические идеалы революционное содержание публичных мероприятий все больше выхолащивалось. Изменения в частности коснулись формы символического выражения протеста советских трудящихся против капитализма. Если на демонстрациях 20-х гг. несли одетую во фрак огромного размера куклу, символизирующую «мировую буржуазию», которую демонстративно прокалывали красноармейскими штыками, то на демонстрациях 60-х – 80-х гг. уже не прибегали к такому магическому способу выражения классового негодования властью капитала. Тем, не менее, элементы магической практики заклятий (например, призывы к сплочению рядов «прогрессивного человечества» вокруг СССР как «оплота мира и социализма») сохраняли свое значение.

Классово-партийный подход приводил к парадоксальному результату, нарушавшему логику исходных постулатов самого марксизма. Хотя это учение квалифицировало себя как строго монистическое, исходящее из одного принципа объяснения мира, картина классового деления социума приводила к его дихотомизации. Монизм незаметно переходил в дуализм. Марксистский и советский идеологические дискурсы были невозможны вне социальных, политических или культурных бинарных оппозиций: капитализм-социализм, буржуазия-пролетариат; «верные ленинцы»-«оппортунисты всех мастей», «реакционные силы»-«прогрессивные силы» (или «все прогрессивное человечество»), идеализм-материализм («линия Платона»-«линия Демокрита»), диалектика-метафизика, «абстрактный гуманизм»-«социалистический гуманизм» и пр. При этом члены этих оппозиций окрашивались в контрастные этические тона – одни в светлые, олицетворявшие добро, другие в темные, воплощавшие зло. «Их борьба воспринималась как битва божественных и inferнальных ... сил» [59, с.87]. Эту логику классового подхода точно выразил А. Лосев. Он писал: «С точки зрения коммунистической мифологии, не только ... призрак ходит по Европе, призрак коммунизма, ... но при этом “копашатся гады контрреволюции”, “воюют шакалы империализма”, “оскаливает зубы гидра буржуазии” ... Кроме того, везде тут “темные силы” ... и в этой тьме – “красная заря”, ... “красное знамя” восстаний ...» [71, с.488]. Использование советской идеологией зооморфной символики в целях пейоризации своего противника напоминает приемы христианства с изображением сил зла в зооморфных образах. Появление дихотомии светлых и темных сил облегчала и противоречивая природа социалистического идеала. Он исходит из должного, а не из сущего, предписывая реальности то, чем она должна быть. Это неизбежно приводило к ее расщеплению на желаемое (воображаемое) и действительное. Тенденция к дуализации сочетается с тяготением к принципу единства мышления и бытия, ориентацией на поиск коррелята в действительности, что выдает попытку социализма построить монистическую картину мира. Она используется для реализации максималистской формы социального конструктивизма, включающего в себя сакрализацию утилитарных идеалов или, говоря словами С. Франка, «утилитаристического альтруизма». Социализм – не просто фантом («утопия»), а регулятивный идеал, позволяющий протестным группам бороться за коррекцию общественных отношений. Поскольку реальность всегда несовершенна, то апелляция к идеалу становится долгосрочным инструментом в борьбе за легитимацию своей власти.

Но здесь поборников совершенствования мира на почве провозглашения социальных идеалов подстерегает опасность. Неизбежно существующий, а тем более увеличивающийся разрыв между идеалом и реальностью должен быть как-то оправдан. И тогда придется или модифицировать сам идеал, чтобы не вызвать (или, наоборот, рискуя вызвать) разочарование масс, или отказаться от него. Капитализм идет от сущего (эмпирической реальности). Он не навязывает монолитных идеологических конструкций, оставляя большой простор для маневра. Однако при всей тяги к моноцентризму социализм, подобно капитализму, может воплощаться в разных формах. Так, В. Парето выделял три типа социалистических систем. Первый тип социализма построен на тотальной социализации экономики. В рамках такого общественного устройства «мы будем иметь, с одной стороны, полный коммунизм, с другой – режим абсолютного деспотизма, при котором у деспота ... есть рабы» [274, с.173]. Социалистические системы второго типа сохраняют частную собственность на производимые продукты при упразднении или сильном ограничении частной собственности на средства производства. Такой социализм Парето называл «народным». «Народный социализм» базируется на государственной монополии, централизации и бюрократизации общества [274, с.173]. Наконец, к социалистическим системам третьего типа, по Парето, принадлежит такая форма социальной организации, где отсутствует частная собственность на производимые продукты, но остается нетронутой частная собственность на средства производства. По мысли Парето, такой социализм является «буржуазным» [274, с.173]. Он порождает олигархию, инициирует рост государственных и негосударственных монополий, развивает патернализм и коррупцию [274, с.173]. Подчеркнем, что в отличие от Г. Спенсера, рассматривавшего социализм в качестве одной из форм принудительной организации социума, В. Парето допускал наличие рыночного потенциала социализма, хотя и придавленного государственным монополизмом. М. Воейков тоже предложил дифференцированный подход к оценке природы социализма. Он различает две основные тенденции в понимании этого общества – «гуманистический социализм» и «механистический социализм». По мнению российского исследователя, механистическая модель предполагает «существенную роль государства в организации экономической жизни и планирования всей экономики из одного центра ... » [1, с.419-421]. Социализм с планомерно организованной экономикой казался Марксу и его последователям более высокой стадией общественного развития, чем капитализм. На деле социализм является комплементарным принципом, alter ego капитализма, его гуманизированным образом в теории и экономически не эффективным вариантом на практике. Ни технологически, ни экономически марксистам нечего было противопоставить капитализму, самостоятельно выработавшему рациональную организацию общественного труда и нашедшему эффективные методы хозяйствования, в том числе сумевшему успешно использовать принцип планирования, которое в своей индикативной форме оказалось совместимым, вопреки прогнозам Маркса, с частнособственнической экономикой.

Еще в сочинениях Т. Мора и Т. Кампанеллы социализм включается в повестку вопросов об альтернативных путях развития социума. Но уже в их утопиях просматривается характерная черта любого социалистического проекта: включение в общество будущего элементов того состояния общества, которое отвергается. В построениях ранних социалистов сохраняются институты доиндустриальной эпохи, в которую они жили: рабство, господство физического труда, жесткая социальная иерархия. Научный социализм К. Маркса также отразил свое время: он немислим без развития индустрии и сохранил институты, свой-

ственные как собственно буржуазному обществу («узкий горизонт буржуазного права»), так и другим формам господства и подчинения (принудительный труд, вертикальная организация власти, но иначе выраженная – в виде принципа демократического централизма и иерархии, построенной по схеме вождь – партия – класс – массы). Социализм – не самостоятельная социальная система, а коррелят общества, которое он предлагает преобразовать. Сфокусированность социализма на идеях социальной справедливости вступает в противоречие с неизбежным процессом встраивания в него инородных институтов. Это лимитирует возможности его устойчивого развития. Капитализм, наоборот, не ставя себя под удар, способен абсорбировать элементы самых разных типов социальной организации вплоть до рабства (По данным ООН за 2009 г. в современном мире больше рабов, чем за всю историю человечества). Но тогда возникает вопрос: в чем в таком случае заключается экономическая целесообразность социализма? В свое время Ленин писал, что между государственно-монополистическим капитализмом (ГМК) и социализмом промежуточных ступеней больше нет. Другими словами, ГМК представляет собой, говоря словами В. Ленина, «преддверие социализма», т.е. в экономическом отношении вполне готовый социализм. Если принять такое определение социализма, то можно высказать следующее предположение о его подлинном значении для капитализма. Социалистические решения играют по отношению к капитализму в трудные моменты его истории примерно такую же роль, какую играла рука Мюнхаузена, вытаскивавшая барона из болота. Социализм есть (наряду с колониализмом) точка сброса социальных издержек (негативной социальной энергии), накапливающихся в ходе развития капитализма. И «советский социализм» и немецкий «национальный социализм» и «шведский социализм», названный Ф. Хайеком «новым тоталитаризмом», при всех отличиях между собой выполнили одну и ту же историческую задачу – они предотвратили «перетекание» частной собственности в собственность трудовых коллективов и других самоуправляющихся ассоциаций. Для возвращения утраченной собственности капитализму легче договариваться с одним, говоря словами Платона, «начальником» (распространившим свой контроль над собственностью государством), чем с многими коллективными хозяевами (различными центрами принятия решений). Здесь выявляется, хотя и прикрытая демократическими институтами, авторитарная природа капитализма, о которой писал М. Вебер, а до него Г. Спенсер и К. Маркс.

Теоретики марксизма и носители символической власти в СССР постоянно сталкивались с проблемами адаптации социалистических идей к быстро менявшейся ситуации. Общую эволюцию социалистического идеала в советском обществе можно описать как движение от радикальных идей «военного коммунизма» к идеям социал-демократического толка. Уже первоначальные представления о социализме не отличались в большевизме однозначностью. Ленин по-разному смотрел на классовый характер социализма. Более ранний вариант ленинского понимания общества будущего изложен в работе «Государство и революция», написанной незадолго до Октябрьской революции. С одной стороны, социализм представлялся Ленину большой «государственной фабрикой», где социальная стратификация предельно упрощена. В социалистическом обществе должны были царить «равный труд» и «равная оплата», «строгий учет и контроль», а государство выступало в роли регулятора распределения произведенного продукта [235, с.101]. В таком обществе, где существуют дистрибутивная экономика и нормированное потребление, могли существовать только два социальных слоя – занятые в системе распределения общественного богатства и рядовые потребители, управленцы и остальные работники. Деление по классо-

вому признаку (отношение к собственности) заменялось делением по управленческому признаку, так как сохранялось разделение труда. С другой стороны, Ленин сделал важный вывод о сохранении при социализме буржуазного государства [235, с.99]. Этот вывод вытекал из сформулированного Марксом в «Критике Готской программы» положения о сохранении при социализме как низшей фазы коммунизма «узкого горизонта буржуазного права». Таким образом, социализм оказывался буржуазным обществом без буржуазии. Провал «военного коммунизма», построенного на попытке внедрения прямого продуктообмена, лишившего деньги какой-либо значимости, вернул вождя революции к прагматической оценке реальности. Под влиянием перехода к «государственному капитализму» (НЭП) Ленин остановился на двух основных трактовках классовой природы социализма, которые нелегко согласовать друг с другом. Согласно одной из них, новый строй определялся как «строй цивилизованных кооператоров» («О кооперации»). Эта трактовка содержала идею «рыночного социализма» и отражала стратификационные сдвиги, связанные с появлением новых социальных акторов – крестьянина-товаропроизводителя и городского частного собственника. По оценке экономистов, НЭП представлял собой один из ранних примеров «смешанной экономики». В ее советском варианте «командные высоты» (выражение В. Ленина) находились в руках государства, а частный бизнес развивался в сфере торговли, услуг и мелкого промышленного производства. В соответствии с другой трактовкой, социализм «есть Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование ...» [1, с.487]. Такая социальная организация предусматривала исключительное положение корпоративно-коллективной и государственной собственности (своего рода «государственный социализм») в системе социально-экономических отношений. Сталин пошел по консервативному пути, приспособив новое издание «военного коммунизма» к условиям постреволюционного общества. В этом отношении показателен его последний труд «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.). В нем формулировались следующие задачи по переходу к коммунизму: обеспечить непрерывный рост общественного производства с преимущественным ростом производства средств производства; поднять колхозную собственность до уровня общенародной, а «товарное обращение» «заменить» «системой продуктообмена»; добиться того культурного роста, который обеспечил бы всем членам общества их всестороннее развитие; поднять зарплату рабочих и служащих «минимум вдвое», «как путем повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем систематического снижения цен». В этой системе мер ставились взаимоисключающие задачи: заменить «товарное обращение» прямым продуктообменом и одновременно повышать зарплату. Но с упразднением товарного производства и обмена теряют какой-либо смысл и деньги. Столь же бессмысленно повышать «денежную зарплату» при систематическом снижении цен. Кроме того, ставка на преимущественный рост производства средств производства (так называемая группа «А») неизбежно сдерживает рост производства товаров широкого потребления и услуг (так называемая группа «Б»), лишая общество того изобилия материальных благ, которое, по Марксу, характеризует систему потребления при коммунизме. Под знаком доминирования группы «А» над группой «Б» прошло развитие советской экономики с ее потребительским дефицитом, очередями, неудовлетворительным качеством товаров народного потребления, низкой производительностью труда, невосприимчивостью к технологическим инновациям. В изложенной Сталиным концепции нашел свое законченное выражение взгляд на социализм как на общество, построенное на принципах полного ого-

сударствления, дистрибутивной экономики и нормированного потребления, т.е. идеал «общинного социализма» – наиболее влиятельного направления в русской социалистической мысли. Эти представления отражали состояние социума, в котором деньги превращены в своего рода купоны для получения необходимых благ, а товарное производство подменено партийно-государственным администрированием экономики. Социальной базой такого режима были так называемые «орбоченные крестьяне». В своем большинстве они не обладали общеобразовательными и профессиональными знаниями, у них отсутствовали традиции дисциплины и культуры труда. К тому же индустриальное производство требовало работника, которому приказывают, предписывают, дают команды, требующие неукоснительного и бездумного выполнения, не оставляющего места творческому подходу [24, с.353, 356]. Тип работника-исполнителя, на который существовал массовый социальный запрос в сталинском этатизме, отвечал интересам «орбоченных крестьян». После Сталина обновление советского образа социализма осуществлялось как в политико-идеологической сфере – осуждение культа личности Сталина, отмена диктатуры пролетариата, предоставление стране большей открытости внешнему миру, либерализация культурной жизни, – так и в области экономических отношений – ликвидация некоторых форм внеэкономического принуждения (лагерной организации труда, системы прикрепления крестьян к земле). В результате отмены этих форм принудительного труда появилась свободная рабочая сила, в том числе так называемые «шабашники», работавшие на договорной (контрактной) основе. Хотя институт контрактного труда составлял сравнительно небольшой сегмент в общей структуре советской рабочей силы, возникновение элементов рынка наемного труда вступало в противоречие с логикой административного управления экономикой. Было бы натяжкой считать эту обозначившуюся в советском обществе на рубеже 50-х – 60-х гг. тенденцию признаком капиталистической организации труда. Формирование контрактной системы, восходящей к римскому праву, в условиях советского общества, скорее, свидетельствовало о нарастании элементов плюралистического типа социальной стратификации, известного еще с античных времен. Значение контрактного труда состояло в том, что он размывал основы принудительного труда, сохранявшего свою силу даже после упразднения таких форм внеэкономического принуждения, как лагерный труд и система прикрепления крестьян к земле. У советского работника оставались ограничения в свободе выбора в сфере трудовых отношений. После окончания института молодого специалиста по распределению направляли туда, где его специальность была нужнее всего народному хозяйству. Студентов вузов, сотрудников НИИ и других учреждений в обязательном порядке отправляли на уборку овощей в сельскую местность. Причем их труд не оплачивался. Проведение субботников, которое первоначально выражало энтузиазм людей, впоследствии приобрело принудительный характер. По заданию партии или комсомола людей отправляли на ударные стройки, и они не имели право оспорить решения вышестоящих органов. Добровольный уход с работы, как правило, не поощрялся. Рабочих не увольняли по экономическим причинам, они могли проработать на одном предприятии всю жизнь, а потом заслуженных работников с почетом провожали на пенсию. Это, однако, не предотвращало текучесть кадров из-за низкой культуры и оплаты труда на производстве. Выбор работы ограничивало и то обстоятельство, что существовал в основном государственный сектор, где действовал уравнительный принцип оплаты труда. Кроме того, нельзя было позволить себе вообще не работать, так как власти следили за тем, чтобы каждый был занят общественно полезным трудом. Тех, кто не работал, наказывали

за тунеядство. В СССР труд был не только правом, но и обязанностью советских людей. Контрактный труд, «отсутствие плановой системы в перераспределении кадров» порождали «отношения спроса и предложения, т. е. элементы рыночного торга по поводу рабочей силы», что подталкивало к переходу к рыночной экономике [100, с.102]. В конце 1962 г. советский экономист Е. Либерман в статье «План, прибыль, премия», опубликованной в центральном органе ЦК КПСС газете «Правда», предложил использовать рыночные механизмы для регулирования экономической жизнью. Для административно-дистрибутивной системы хозяйства такое предложение выглядело революционным. Идеи Либермана инициировали дискуссии о роли товарно-денежных отношений при социализме, легли в основу экономических реформ в середине 60-х гг., а также оказали влияние на одного из идеологов «Пражской весны» О. Шика с его концепцией «рыночного социализма» [243]. Экономические реформы 60-х гг. предусматривали предоставление предприятиям с большей хозяйственной самостоятельностью, оценку эффективности их работы в категориях прибыли и хозрасчета. Реформы должны были сделать производство более гибким и децентрализованным, передать функции планирования объемов производства и ассортимента товаров предприятиям, оставив за государством (Госпланом) планирование ценнообразования, потеснить группу «А» за счет более интенсивного развития группы «Б». В принципе речь шла о стимулировании развития экономики потребления. Провал экономических реформ связывают с судьбой председателя казахстанского опытного хозрасчетного хозяйства «Акчи» И. Худенко, обвиненного в злоупотреблениях. Неудача рыночного социализма (в СССР и Чехословакии) показала пределы реформируемости обществ нерыночного типа, их неспособность к модернизации помимо внеэкономического принуждения и в условиях научно-технической революции. На смену попыток осуществить переход к рыночному социализму при Л. Брежневле пришла концепция «реального социализма». Она примечательна тем, что, похоже, кладет конец пониманию социализма как антинормии должного и сущего. Но если принципиальный конфликт между идеалом и реальностью преодолен, то тогда остается признать ту реальность, которая уже дана. Гегелевское высказывание «все действительное разумно, а все разумное действительно» могло бы здесь пригодиться, вопреки реальному смыслу, заложенному в нем, для оправдания консервативных выражений общества. «Идея строительства коммунизма – пишет А. Амосов – была предана забвению практически сразу после ее провозглашения, поскольку правящий слой общества не видел для себя перспектив в случае реализации планов построения полного коммунизма» [5, с.180]. Догматизация идей социализма, ставшая возможной в условиях отсутствия свободы дискуссий и оправдывавшаяся марксистским делением идеологического пространства на подлинных сторонников социализма (научный коммунизм) и его противников (антикоммунисты, ревизионисты, а у Маркса и Энгельса это были поборники буржуазного, мелкобуржуазного и пр. социализма), встретила оппозицию и внутри самой КПСС. Эти сдвиги были подготовлены рядом факторов. Начиная с 60-х гг., для многих партийных работников идеология приобрела строго функциональное значение, превратившись в простое орудие власти [65]. Мыслящие аппаратные работники ЦК не соглашались с этим. Они продолжали видеть в марксизме, как учили его классики, «не догму», а «руководство к действию». Переосмысление марксизма «привело к появлению ревизионистского течения в центральном партийном аппарате» [65]. В его составе «ревизионистов» насчитывалось порядка 5-7%, а в Международном отделе (МО) ЦК партии – около половины всех сотрудников [65]. В ходе проведенного Н. Лапиной в 90-е гг. XX в.

социологического опроса среди бывших работников МО ЦК КПСС все респонденты признали, что «события 1968 г.» (т.е. ввод советских войск в Чехословакию) способствовали «подспудному нарастанию оппозиционности» и подготовили часть партаппарата к перестройке [65]. Уже в 60-е гг. в центральном партийном аппарате возникла дифференциация по идеологическому признаку. В нем можно было выделить «идейно нейтральных технократов», «консерваторов» и «ревизионистов» или «социал-демократическое крыло аппарата» [65]. Именно активность реформаторов стала идеологической пружиной начавшейся в 1985 г. перестройки под лозунгами усовершенствования социализма («больше социализма») и затем отказа от классовой риторики, выраженного в провозглашении М. Горбачевым приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. Несмотря на то, что «единственным способом легитимировать ту или иную концепцию либо политику была апелляция к Ленину», «в 1990 – 1991 г. этот метод был уже не столь эффективен» [70, с.73]. Хотя сакральность образа Ленина была к тому времени изрядно поколеблена в глазах определенной части населения, высшее партийное руководство не решилось пойти на полный разрыв с ленинизмом. Оно не сделало в отношении последнего то, что сделали западногерманские социал-демократы в отношении марксизма, оформив с ним свой разрыв в Годесбергской программе 1959 г., или то, что сделал Хрущев в отношении Сталина в 1956 г. на XX партсъезде, осудив культ личности своего предшественника. Тем не менее, отказ от классовости разрушил прежнюю систему маркеров, структурировавших символическое пространство советского общества, подготовив демонтаж старого социального порядка.

Мобилизационность. Мобилизационный характер советской идеологии опровергает положение Маркса о том, что «всякая мифология» «преобразовывает силы природы» «при помощи воображения» [72, с.47]. Советская идеология как мифология «нового», активистского типа превращала идеи в материальную силу, менявшую мир. Она не могла существовать без апелляции к массам, их мобилизации, обеспечивая обратную связь между низами и верхами социальной пирамиды. Ее мобилизационность принимала разные формы – от проведения политики репрессий, организации массовых митингов, демонстраций, групп интенсификации производства и героизации труда (движение многостаночников, стахановское движение, герои Социалистического труда, ударники Коммунистического труда, передовики производства) до модернизации в масштабах всего общества (строительство тяжелой индустрии, создание новой советской культуры, обновление конституционных основ общества). «Модернизация ... – пишут Н. Тихонова, В. Аникин, С. Горюнова и Ю. Лежина – это протекающий в разнообразных формах с учетом особенностей национальных культур и исторического опыта народа процесс, благодаря которому традиционные общества достигают состояния модерна посредством не только экономической, политической..., но и социокультурной модернизации» [73, с.32]. В. Хорос и М. Чанышев выделили следующие базовые признаки модернизации: 1. Смену аграрного труда индустриальным. 2. Дифференциацию общества на экономическую, политическую и другие сферы с относительно автономной логикой развития, в том числе по отношению к государству (гражданское общество). 3. Формирование «автономно-суверенного индивида» [269, с.72-73]. К этим признакам модернизации С. Кэспэ добавляет еще один: кумулятивный характер социальных процессов, приводящий к «тотальному преобразованию всех форм социальности» [269, с.73]. При всех традиционалистских чертах советского строя он уже не мог существовать вне контекста индустриальной цивилизации и массового общества. Большеизм

знал только одну попытку возврата к доиндустриальным отношениям – в период «военного коммунизма». Это дало основание П. Струве сделать вывод о том, что «содержанием коммунистической революции была ... грандиозная экономическая реакция», обусловившая «натурально-хозяйственный характер» советской власти [41, с.106]. В силу гипостасизации идеи прогресса в коммунистической идеологии большевизм стремился к технической, экономической и культурной модернизации. «У крупного предпринимателя – отмечал К. Шмитт – нет иного идеала, кроме того, что есть и у Ленина, а именно “электрификация всей земли”... Американские финансисты и русские большевики соединяются в борьбе за экономическое мышление ...» [74, с.116]. Не случайно Ленин был сторонником внедрения трестов американского образца и поточного производства Тейлора в советскую экономику. Он надеялся, что система Тэйлора, охарактеризованная им как «научная система выжимания пота» в условиях капитализма, изменит свою природу при социализме. Широкое распространение в 20-е гг. идей научной организации труда (НОТ), отразивших увлечение в советском обществе сциентизмом и техницизмом, совпало с выходом в свет в этот же период «Всеобщей организационной науки (Тектологии)» А. Богданова [219]. Этот труд примечателен в нескольких отношениях. Оставаясь созвучной духу марксизма с точки зрения идеи преобразования действительности, тектология смещала акцент с проблемы собственности, центральной для революционной практики научного коммунизма, на проблему организации (управления). В ее рамках «приоритет в исследованиях не принадлежал философии и диалектике» [75, с.78]. «Организационная наука» Богданова предвосхищала «менеджерскую революцию» 40-х гг. на Западе, положившую начало трансформации капитализма через процесс отделения управления от собственности, неизвестный прежде марксистам. В собственно научном плане идеи тектологии оказались родственны кибернетике, сетевым методам управления, синергетике [75, с.79]. В свое время теория Богданова не получила широкой поддержки, но она внесла вклад в формирование «организационного сознания» у управленческих кадров [75, с.79]. Пример тектологии интересен еще и тем, что показывает «несовпадение модернизационных и социалистических теорий и даже их определенное противостояние» [76, с.17]. По мнению исследователей модернизация в СССР добилась трех фундаментальных результатов: 1) осуществления индустриализации, формирования современного общества с массовым образованием, развитой наукой, увеличением доли городского населения и пр.; 2) «сохранения собственной основы развития» – «коллективизма», «антирыночного подхода», коммунистической идеологии, названной Н. Бердяевым «секуляризированным православием» и 3) следования идеям развития культуры [76, с.17]. «Хотя и не решив задачи развития трудовых мотиваций в нетворческих профессиях, – пишет В. Федотова – все же ...коммунизм явился системой ценностной мобилизации людей к внутреннему развитию, чтению, обучению» [76, с.17].

На специфику развития советской культуры вообще и советской науки в частности повлияли императивы классового подхода, политико-идеологический монополизм и мобилизационная модернизация. Императивы классового подхода определили двойственное отношение большевиков к культуре, в том числе к науке. С одной стороны, они считали старую культуру и науку продуктом общества эксплуатации человека человеком и потому противоречащими интересам пролетариата, но, с другой, видели в них мощный инструмент преобразования действительности, если они поставлены на службу социалистическому обществу. Из этого двойственного отношения к культуре и науке вытекали два разноречивых курса большевиков. Один был нацелен на ликвидацию старой интеллигенции. Были

расстреляны поэт Н. Гумилев, экономисты А. Чайнов и Н. Кондратьев, философ Г. Шпет, высланы из страны представители русской культурной элиты, эмигрировали И. Бунин, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов и другие именитые деятели русской культуры. Процесс «Промпартии» позволил расправиться со старыми научно-техническими кадрами. В ГУЛАГе погибли биолог Н. Вавилов, ученый-богослов П. Флоренский, участвовавший в разработке ленинского плана ГОЭЛРО. В рамках другого курса создавалась новая рабоче-крестьянская интеллигенция. В попытке обосновать политику репрессий против интеллигенции старого закала «Правда» в статье «Иллюзии контрреволюционной “демократии”» (1922 г.) выступила со следующими обвинениями в ее адрес: «Некоторые интеллигентские круги, в ложном расчете на наше дальнейшее отступление под давлением НЭП и западных капиталистов, пытаются выступить против Советской власти. Этим расчетам не суждено оправдаться. В последнее время, параллельно тем контрреволюционным попыткам, какие стали вводить в свою практику святейшие князья церкви, можно наблюдать заметное “оживление” в кругах верхушки “интеллигенции”: среди профессоров, адвокатов, присяжных литераторов кадетского и кадетско-народного образца, иногда умело прикрывающихся псевдонимами вроде псевдонима “сменовеховцев”. Расчеты этих господ крайне элементарны: НЭП, Генуя, заграница сообщают свое дело, большевики должны эволюционировать. Поэтому буржуазной интеллигенции нужно перестать быть “объектом политики”, а нужно начать быть ее субъектом. В переводе на русский язык: так как большевики ради Европы и кредитов должны причесываться и умываться, то давайте заниматься вымогательством. Такова “логическая основа” начавшегося наступления контрреволюции» [135, с.182-183]. «Разорвав связь времен», культурную преемственность в России, большевики принципиально изменили положение дел в самой науке. По словам Г. Батыгина и И. Девятко, «превращение истории русской философии в идеологически опекаемую и политически ангажированную область науки, произошедшее после принятия решения ЦК ВКП (б) по третьему тому “Истории философии” в мае 1944 года, привело в действие те же механизмы размывания структуры научной деятельности и этоса академической науки, которые проявились в экономической, философской, биологической и исторической “дискуссиях”. Один из таких механизмов – перемещение в обеспеченную политической и идеологической поддержкой область исследований молодых искателей карьерных шансов, перемещение в ситуацию, когда обычный – достаточно длительный – цикл академической социализации разрушен, а вертикальная мобильность чрезвычайно высока. Именно такая ситуация сложилась в результате выбывания “специалистов” после систематических чисток и разоблачений» [136].

Несмотря на то, что диалектический материализм притязал на роль единственно научной философии, указывающей ученым верную дорогу к истине, ни одно сколько-нибудь значимое открытие в науке не было сделано благодаря диалектическому материализму. Он служил важным инструментом идеологического контроля над умами ученых, чтобы они в своем творческом порыве не смогли преступить дозволенные мировоззренческие границы, увлечься идеями, несовместимыми с господствовавшей идеологией. Обращает на себя внимание тот факт, что советской философии не удалось предотвратить острые конфликты с научным знанием. За ними стояли не только политические мотивы. По словам В. Гейзенберга, «конфликт между естественными науками и господствующим мировоззрением разыгрывается ... в тех тоталитарных государственных образованиях, где в качестве основы для всего мышления избран диалектический материализм» [153, с.337].

Однако потребности экономического развития вынуждали власти идти на компромиссы с новейшими направлениями научного знания. «Так, официальной советской философии – продолжал В. Гейзенберг – оказалось нелегко примириться с теорией относительности и с квантовой теорией» [153, с.337]. После некоторого периода непризнания кибернетики и генетики они заняли свое место в советской науке. Первоначально табу было наложено и на развитие научного прогнозирования. Советские идеологи полагали, что, так как будущее человечества принадлежит коммунизму (т. е. для них конечный результат развития уже был заранее известен), то излишне заниматься разработкой различных сценариев будущего. Со временем прогнозирование как научное направление также «реабилитировали» [245]. Играя роль селектора, создававшего нормативы и запреты в области мировоззрения, выполняя функцию идеологического принуждения, советская философия в течение многих лет ограничивала свой собственный когнитивный потенциал. В диалектическом материализме как разновидности «дискурсивно-властных» практик нарушалось равновесие между его двумя составляющими – знанием и властью в пользу последнего.

Хотя советская наука (и культура в целом) развивалась в условиях идеологического прессы, такие отрасли знания, как философия, история, экономика, биология, находились под особым идеологическим «надзором». Физики, чья научная деятельность служила залогом военной мощи страны, могли себе позволить не демонстрировать нарочитую идеологическую лояльность. Обращает на себя внимание тот факт, что среди советских лауреатов Нобелевской премии подавляющее большинство составляют физики (7 человек против одного в области химии и одного в области экономики). Думается, что такая диспропорция не случайна. Она, по крайней мере, отчасти, объясняется тем обстоятельством, что именно физикам удалось дальше представителей других наук продвинуться по пути эмансипации от пут диалектического материализма. Протесты некоторых физиков против монополии одной идеологии раздавались еще до войны. На состоявшейся в 1934 г. VIII Всесоюзной конференции по физическим и химическим наукам крупный советский физик-теоретик Я. Френкель заявил: «Нахожу, что теория диалектического материализма не является венцом человеческой мысли, которая может удовлетворить мыслящее человечество ..., диалектический метод не имеет права на руководящую роль в науке» [152; 242]. После войны свобода мысли стала неотъемлемой частью этоса советских физиков. Один из участников советского атомного проекта (САП) 40-х – 50-х гг. В. Адамский вспоминал: «... тогда у нас существовал своеобразный политический клуб ... идеологические и охранительные органы знали о таком “клубе”, но смотрели на него снисходительно. Никуда эти дискуссии за пределы творческих секторов не выплескивались. И далее: «Привилегия ... на разговоры по политическим вопросам ... предоставлялась сознательно. ... Один министерский чиновник высокого ранга рассказывал, что ему приходилось ... объяснять в ... ЦК, что физики-ядерщики – люди особые ..., им нельзя запрещать говорить то, что они думают, ... иначе они разучатся думать и разбираться в научных вопросах» [151, с.270]. Несмотря на такую «защищенность», физики не избежали ни обвинений в «физическом идеализме», ни репрессий. Еще в 30-е гг. академики А. Иоффе (один из зачинателей советской школы физиков) и С. Вавилов (брат генетика Н. Вавилова и президент АН СССР с 1945 г.) противостояли механицистам (А. Максимов, академик В. Миткевич, А. Тимирязев). Это противостояние стало своего рода продолжением дискуссий между «механистами» и «диалектиками» 20-х гг. Механицисты отталкивались от корпоральной трактовки материи, восходящей к Ф. Энгельсу. Для него природа есть «сово

купная связь тел», под которыми он понимал «материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом». Отсюда враждебное отношение механицистов к теории относительности А. Эйнштейна и квантовой механике, где «те составные части материи, которые ... первоначально считали последней объективной реальностью, вообще нельзя рассматривать “сами по себе”, ... они ускользают, от какой бы то ни было, объективной фиксации в пространстве и во времени» [153, с.300]. Механицисты видели в данных направлениях научного знания лишь «физический идеализм», несовместимый с материалистической наукой. Кроме того, неприятие механицистами квантовой теории объяснялось и тем обстоятельством, что она ставила под вопрос значение категории борьбы противоположностей, считавшейся в советской философии «ядром диалектики». В квантовой механике частицы и волны, указывающие на дуальную корпускулярно-волновую природу света, не «борются» между собой, а образуют единство. Введенный Н. Бором принцип дополнительности рассматривался в качестве альтернативы категории борьбы противоположностей. Место последней в иерархии категорий в советской философии определило ленинское понимание развития как «борьба противоположностей» («Философские тетради»). С. Вавилов называл механицистов «метафизическими материалистами», подчеркивая устарелость их философских представлений. Инвективы против теории относительности после войны усилила кампания борьбы против низкопоклонства перед западной наукой. Хотя идеологическая кампания не обошла стороной советских физиков, она, однако, уступала по своим масштабам погромным «дискуссиям» в советской философии и биологии 40-х гг. (О драматической обстановке, сложившейся в биологической науке того времени, повествуют «Белые одежды» В. Дудинцева). Тем не менее, репрессии среди физиков имели место и до и после войны. Научной деятельностью в так называемых «шарашках» занимались одно время С. Королев, И. Курчатов и др. Один из ведущих физиков XX в. В. Гейзенберг оценивал советские идеологические кампании (в философии, биологии, физике и других науках) как конфликт между консервативной «духовной формой общества» и «динамичной структурой научного опыта» [153, с.338].

Советская наука прошла путь от создания атомного, термоядерного оружия и ракетно-космической техники до исследований по «ядерной зиме», т.е. возможных последствий применения не конвенциональных видов оружия, способных многократно уничтожить все живое на планете. На этом пути одни ученые создавали советский ядерно-космический щит (С. Королев, И. Курчатов, Ю. Харитон, Я. Зельдович, В. Глушко), другие не участвовали в советском атомном проекте (П. Капица, М. Марков), третьи, приняв участие в нем, впоследствии стали убежденными сторонниками идеи «мирного атома» (Л. Арцимович) или даже правозащитниками (А. Сахаров). В советском физическом сообществе выделялись два основных типа этоса – консеквенциализм и деонтология [151, с.271]. Согласно концепции консеквенциалистского этоса, о совершаемых действиях надо судить по их последствиям. Применительно к созданию ядерного оружия это означало, что разработка такого оружия морально оправдана, если она обеспечивает общий паритет сил в мире. Такой способ морально-этической аргументации еще называют «ядерным этосом». Его принципов придерживались, например, академик Ю. Харитон, Ю. Смирнов, Д. Балашов и др. [151, с.272-273]. Альтернативная деонтологическая концепция опирается на положение о том, что «не следует совершить зла как средства к достижению добра» [151, с.271]. Применительно к разработке ядерного оружия это означало, что нельзя прибегать к угрозе его применения в целях предотвращения атомной войны. Такой способ морально-этической

аргументации следует назвать «антиядерным этосом». Его сторонники (В. Адамский, А. Сахаров) уже в 1963 г. участвовали в подготовке Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах [151, с.274]. В 1981 г. с критикой базовых основ ядерного этоса выступил крупнейший советский физик-теоретик М. Марков – участник Пагуошского движения, основанного А. Эйнштейном и Б. Расселом в 50-е гг. прошлого столетия [151, с.275]. Авторитетным участником Пагуошского движения был и выдающийся физик-атомщик, академик Л. Арцимович. Деонтология служила обоснованием необходимости перехода в СССР от военно-мобилизационного типа развития к демилитаризации экономики. Такой переход начался с конверсией производств ВПК в период перестройки.

В советской мобилизационной модели положение науки носило двойственный характер. С одной стороны, она выступала гарантом истинности материалистических устоев советской идеологии, служила незаменимым инструментом технологической и военно-экономической выживаемости советского строя, внося вклад в обеспечение безопасности страны, была «баловнем» государства, на развитие которой не жалели никакие средства, а, с другой, ее свобода действий строго регламентировалась идеологическими и военно-политическими потребностями советского государства. Советская наука достигла мирового признания в сфере фундаментальных исследований: советские ученые были членами иностранных академий, некоторые из них стали обладателями Нобелевских премий. Среди них – И. Франк, П. Черенков, И. Тамм, Л. Ландау, Н. Басов, А. Прохоров, П. Капица по физике, Н. Семенов по химии, Л. Канторович по экономике. А. Сахаров получил Нобелевскую премию мира «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Но наука в СССР гораздо меньше преуспела в области внедрения своих разработок в гражданское производство. Ей не удалось обеспечить его автоматизацию, как на Западе.

Несмотря на масштабы индустриализации, советское общество при Сталине все еще оставалось аграрным. Только позже СССР стал индустриальной и урбанистической цивилизацией. В 1961 г. численность городского населения впервые превысила численность сельского населения, составив 51% против 49% (в 1964 г. это соотношение составляло уже 53% и 47% в пользу городского населения) [137]. Поставленная партией задача превращения науки в непосредственную производительную силу общества отражала достигнутый страной уровень научно-технического развития. На XXV съезде КПСС в 1976 г. подчеркивалось, что только «на основе ускоренного развития науки и техники могут быть решены конечные задачи революции социальной – построено коммунистическое общество» [265, с.47]. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии в 1981 г. отмечалось: «Партия коммунистов исходит из того, что строительство нового общества без науки просто невысказано» [266, с.42]. Однако сама задача так и не была решена. В случае достижения этой цели власть перешла бы к технократии, чего коммунистическая партия не могла допустить. Едва ли не первый набросок плана построения «технократического социализма», где власть находится в руках «капитанов индустрии», принадлежал К. А. Сен-Симону. По его словам, «правители думают, что наилучшее средство для удержания подданных в подчинении состоит в увеличении числа государственных чиновников и в присвоении самым важным из них большой представительности ...» [251, с.341]. Противопоставив «правительственной» власти власть «промышленной администрации» (к которой французский мыслитель относил промышленников, «людей науки и искусства»), доказавшей «своей деятельностью

высшую способность к управлению», Сен-Симон выделил социальные группы, способные управлять обществом [251, с.342]. У Сен-Симона общество делится не только на управляющих и управляемых, но и на эффективных (технократы) и неэффективных (чиновники) управленцев. В опасении КПСС, что руководить в обществе будут технократы, а не партийные функционеры, кроется одна из причин того, почему модернизация в СССР носила незавершенный, фрагментарный характер. В рамках такой модернизации «как только элиты обеспечивают реализацию задач самосохранения или усматривают в продолжении реформ угрозы своим интересам, они останавливают обновление» [138, с.6]. Но были и другие причины отставания страны от западного мира. Модернизация требовала инновационной культуры. Такой культурой советское общество обладало. Однако, как пишет В. Карачаровский, «реальная проблема заключалась в другом: в отсутствии отдельно выделенных производственных мощностей для освоения и тиражирования инноваций гражданского характера» [216, с.47]. Отсутствие культуры освоения и тиражирования инноваций в сфере гражданского производства вытекало из специфики советского модернизационного проекта. Почему Советский Союз смог догнать по основным показателям развитые страны в период индустриальной революции, но не сумел это сделать в эпоху научно-технической революции? Тут стоит вспомнить о природе того модернизационного проекта, который был взят на вооружение большевиками. После первой мировой и Гражданской войн страна лежала в руинах. Многие города опустели. Большинство рабочих вернулось в деревню. В 1920 г. в Советской России производили только 1/10 часть той продукции, которую выпускала промышленность в царской России в довоенный период [144, р.439]. В 1921 г. В. Ленин констатировал, что пролетариат в России «исчез» [144, р.440]. Таким образом, большевики лишились того социального адресата, к которому апеллировала их идеология. Здесь мы сталкиваемся с одним из парадоксов Октябрьской революции. Осуществленная от имени пролетариата и (согласно провозглашенным ею целям) во имя пролетариата, она оказалась революцией без пролетариата. Его фактически заново пересоздала индустриализация. Новый рабочий класс в Советской России резко отличался от рабочего класса на Западе. В СССР не сформировалось свое рабочее движение, так как сказалась историческая зависимость советского рабочего класса от создавшего его государства. Отсутствие необходимых социально-экономических и технологических предпосылок, преобладание доиндустриального менталитета помогают объяснить, почему в СССР победила модернизация мобилизационного или догоняющего типа. Дееспособность такой модернизации во многом зависела от технического сотрудничества Советского Союза со странами Запада. Начав с концессий с участием частного капитала, советская власть затем перешла к широкому сотрудничеству с западными государствами в области технологий. В 30-е гг. для создания своей промышленности СССР брал «на Западе не займы, а уроки современного производства» [139]. В 1927 г. И. Сталин писал С. Орджоникидзе (будущему наркому тяжелой промышленности СССР): «Относительно рационализации ты прав ... Нам непременно потребуется командировка отсюда инженеров и вообще работников в Америку и Германию. Скупиться на это дело грешно и преступно ...» [139]. Начальные шаги в области технического сотрудничества с Западом Советский Союз предпринял еще в первой половине 20-х гг. Первым партнером по сотрудничеству в военно-технической области стала Германия. Выбор партнера не был случайным. Согласно Версальскому договору Германии как проигравшей войну стране запрещалось иметь свою военную промышленность. Согласие СССР разместить у себя немецкие предприятия позволяло Германии развивать

свое военное производство в обход Версальским соглашениям. Выгоды Страны Советов были тоже очевидны. Во-первых, она получала возможность прорвать кольцо изоляции, созданное западным миром, а, во-вторых, получала доступ к передовым для того времени европейским авиационным технологиям. Поэтому работа немецких фирм («Юнкерса», «Круппа» и ряда других) на советской территории устраивала обе страны. Хотя германо-советское сотрудничество было непродолжительным, оно принесло некоторую пользу обеим сторонам. Так, фирма «Юнкерс» произвела в СССР порядка ста самолетов. Куда более глубокий характер техническое сотрудничество между СССР и западными странами приобрело в 30-е гг., когда в Советском Союзе полным ходом шла индустриализация. И. Сталин признал, что при создании советской промышленности «был использован американский опыт» [139]. Труд многих иностранных рабочих и инженеров сделал возможным строительство Сталинградского и Харьковского тракторных заводов, Горьковского и Московского автозаводов, Кузнецстроя, Магнитостроя, Уралмашзавода, Запорожстали. «Получение западных технологий – пишет Б. Шпотов – в годы первой и второй пятилеток многократно усилило экономический, технический и военный потенциал Советского Союза, что повлияло на весь ход истории XX века. Без участия американских и европейских фирм не появились бы в считанные годы Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский автозавод, химическая, авиационная, электротехническая промышленность, военно-промышленный комплекс» [139]. В состоявшейся в 1944 г. беседе с председателем Торговой палаты США Э. Джонстоном И. Сталин сказал: «Мы многим обязаны Генри Форду. Он помогал нам строить автомобильные заводы» [139]. Однако в эпоху научно-технической революции, начало которой совпало с периодом «холодной войны», Запад изменил свою политику в отношении СССР. Вместо оказания технической помощи Соединенные Штаты закрывали доступ советской индустрии к компьютерным технологиям. Это стало одним из серьезных факторов сдерживания роста советского научно-технического потенциала.

Проблематизация модернизационного потенциала, заложенного в советскую идеологию, должна считаться также и с тенденцией последней к ограничению модернизационного «эффекта». За прогрессистской фразеологией скрывались черты «казарменного» устройства с его уравнительностью, принудительным трудом, унификацией общественной жизни. Наследование традиционалистским институтам вытекало из природы участвовавших в большевистской революции социальных сил и способов решения стоявших перед ней задач. Известный деятель большевистского движения, руководитель ленинградских коммунистов конца 20-х и начала 30-х гг., член Политбюро ЦК ВКП (б) С. Киров (чей псевдоним образован от имени древнеперсидского царя Кира) говорил, что нельзя сделать «технически», можно сделать «коммунистически». Большевизм представлял собой пример феномена, который в 20-е гг. XX в. немецкие политические философы А. Меллер ван ден Брук, Э.Юнгер, К. Шмитт концептуализировали в виде понятия «консервативной революции». Ленин полагал, что XX столетие будет веком социалистических революций. На деле прошлое столетие знало два типа социальных революций: консервативный (начиная с Октябрьской революции 1917 г. и до середины XX в.) и либерально-демократический (конец XX в.). Консервативные революции совершались под флагом социализма и фашизма в странах, где с точки зрения марксизма не сложились условия для победы «нового» строя (аграрные страны Европы, за исключением Германии и Чехословакии). Этот тип революции объективно решал задачи догоняющей (мобилизационной) модернизации. Такая модернизация оказалась своего рода платой, причем слишком дорогой, за «вход-

ной билет» в европейский модерн. Либерально-демократические революции в Европе конца XX в. по своей идеологической направленности вообще были антисоциалистическими, в исторически сжатые сроки покончившие с наследием мобилизационного модерна. В тоже время вопреки ожиданиям марксистов социалистические революции так и не победили в развитых странах Запада.

С консервативной (мобилизационной) стороной модернизации связана система лагерного труда. Некоторые исследователи объясняют «регрессивный формационный сдвиг в России после 1917 года, имевшим своим результатом возрождение элементов не только феодального (прикрепление крестьян к земле), но даже рабовладельческого строя (экономика ГУЛАГа)», разрушением производительных сил страны в ходе Первой мировой и Гражданской войн [77, с.113]. Первоначально концлагерь выполнял функцию социального отбора по классовому признаку. Но уже при Ленине в концлагерь попадали не только те, кто согласно марксистскому учению считался «классовым врагом», но и просто недовольные политикой большевиков. Существование ГУЛАГа в 30-е – 50-е гг. имело более глубокие причины. Призывы к трудовым подвигам и свершениям, обращение к массовому энтузиазму должны были восполнить низкую квалификацию работников, в том числе инженерно-технических кадров в основных отраслях экономики, слабую организацию труда, низкое качество планирования и производимой продукции, низкую эффективность научно-технических исследований и неудовлетворительный уровень их внедрения в производство [78, с.69]. Однако одних призывов было недостаточно. Они могли побудить недавно оторвавшихся от земли крестьян к учебе, приобретению специальности, но сами по себе не могли превратить работника традиционного типа в работника, отвечающего требованиям индустриального модерна. Вчерашний крестьянин не обладал необходимыми производственными навыками. Для этого нужно было пройти школу индустриального труда. Раскулачивание и лагерная система помогали в бесчеловечной форме «укрощать» работника традиционного общества. Еще Г. Спенсер полагал, что при социализме неизбежен принудительный труд. Английский социолог жил задолго до возникновения «реального социализма» и мог черпать свои выводы лишь из истории социалистических учений. В них действительно не трудно найти допущение применения принудительного труда в условиях социалистического общества. В «Утопии» Т. Мора или «Городе Солнца» Т. Кампанеллы рабство – неотъемлемая черта общества будущего. Так обстояло дело не только у ранних социалистов. У К. Маркса и Ф. Энгельса, называвших свой социализм «научным», можно найти (в «Принципах коммунизма», «Манифесте Коммунистической партии») следы понимания социализма как общества трудовой мобилизации и принудительного труда (идеи об обязательности труда для всех членов общества, образования «промышленных армий» и др.). И хотя эти меры рассматривались в качестве временных, а не постоянных мер, они отражали некоторые важные стороны социалистической организации производства, где еще не произошел, говоря словами Маркса, «скачок из царства необходимости в царство свободы». Проблема неизбежного сохранения принудительного труда при социализме на деле перерастает в проблему неизбежного применения такого труда в обществах, независимо от уровня их социально-экономического развития. Институт принудительного труда действовал не только при «азиатском способе производства» К. Маркса или «агродеспотиях» К. Виттфогеля, но и в индустриальных обществах, а также в социумах, осуществлявших переход к индустриализму. Показательно, что сам Спенсер признавал наличие в индустриальном обществе элементов, как он говорил, «военного общества», осно-

ванного на принципах принуждения. Рабство было и в эпоху первоначального накопления капитала и во времена Просвещения и при национал-социализме, есть оно и в наши дни, когда положение многих нелегальных иммигрантов на постиндустриальном Западе мало, чем отличается от положения рабов. Но у этой проблемы есть другая сторона. Применение принудительного труда при определенных обстоятельствах может быть экономически обоснованным. И в тех случаях, когда его отменяют, это не обязательно происходит потому, что такой труд превратился, если говорить в терминах марксизма, в «оковы» развития производительных сил. Известный русский экономист, философ и публицист П. Струве в 1898 г. пришел к выводу, что крепостничество накануне своей отмены в 1861 г. достигло «высшей точки экономической эффективности» [207]. Экономическое положение русского крестьянина после отмены крепостного права ухудшилось; в 1900 г. он в целом стал беднее, чем в 1800 г. [140, с.228]. Д. Норт, ссылаясь на работы американских исследователей, сообщает, что рабский труд, использовавшийся плантаторами на юге США, был экономически эффективным. По мысли американского социолога, борьба за отмену рабства началась не потому, что оно сдерживало экономический рост, а потому, что использование подневольного труда стало восприниматься как нарушение принципов гуманного отношения к человеку независимо от его цвета кожи и социального положения. В целом институт принудительного труда может рассматриваться в качестве примера социального института, который способен возрождаться независимо от идеологической самоидентификации общества и стадий социального развития.

Раскулачивание в Советской России в чем-то сопоставимо с огораживанием в Англии. В обоих случаях разрушение социальной структуры традиционного общества начиналось с устранения крестьянства как его основной производительной силы. В обоих случаях отъем земли у крестьян осуществлялся сверху (землевладельцами в Англии и государством в СССР). В обоих случаях применялись радикальные (силовые) способы решения аграрного вопроса. В обществах, стоящих на пороге индустриальной эры или вступивших в нее, крестьянство закономерно становится жертвой промышленных переворотов. Но эта закономерность может воплощаться по-разному. В Советском Союзе при вытеснении крестьянства на социальную периферию использовалась лагерная организация труда, в чью орбиту попали разные слои общества. Огораживание и раскулачивание (и коллективизация сельского хозяйства или создание колхозного строя) задали разный вектор социального развития. Если огораживание в Англии привело к образованию свободной рабочей силы, то раскулачивание в СССР породило новую систему закрепощения крестьян. Поэтому оба сходных общественных процесса вызвали столь разные социально-экономические последствия для своих стран. Огораживание в Англии открыло путь к появлению более производительной экономической системы (капитализма), тогда как в СССР слом крестьянской экономики основательно подорвал силы русской деревни. Приведем показательный отрывок из беседы между И. Сталиным и У. Черчиллем, состоявшейся в Москве в 1942 г. « – Скажите, – поинтересовался Черчилль, – напряжение нынешней войны столь же тяжело для вас лично, как и бремя политики коллективизации? – О нет, – ответил “отец народов”, – политика коллективизации была ужасной борьбой. – Я так и думал. Ведь вам пришлось иметь дело не с горсткой аристократов и помещиков, а миллионами мелких хозяев... – Десять миллионов, – воскликнул Сталин, возведя руки. – Это было страшно. И длилось четыре года. Но это было абсолютно необходимо для России, чтобы избежать голода и обеспечить деревню тракторами» [141, с.318]. Но это не помогло

избежать голода, который разразился в начале 30-х гг. на Украине, Кубани, Казахстане и в некоторых других регионах страны, унеся миллионы человеческих жизней. «Понесся ... огромные потери – писал В. Бережков, – наша страна до сих пор не может выбраться из кризиса сельского хозяйства. Деревня, насыщенная тракторами, но лишенная подлинного хозяина земли, не в состоянии прокормить население» [141, с.319]. В свое время императорская Россия была ведущим экспортером зерна на европейские рынки, а Советскому Союзу современем пришлось постоянно закупать пшеницу у основных стран-производителей зерновых культур. Лишив российское общество его традиционной институциональной опоры, раскрестьянивание наряду с другими разрушительными тенденциями привело к тому, что Россия, по словам А. Солженицына, «проиграла XX век» [142].

Принудительный труд применялся в некоторых важных отраслях, там, где применение «вольнорабочего труда» было затруднено из-за больших расходов на оплату труда (цветная металлургия, лесная промышленность, железнодорожное, гидротехническое строительство и т.д.) [78, с.68]. Помимо собственно экономических задач (в том числе и обеспечения бесплатной рабочей силой) ГУЛАГ решал и задачу поддержания страха в обществе как способа его постоянной мобилизации. В социологическом плане сталинское правление представляло собой всеобъемлющую попытку сдерживать процессы институциональной дифференциации, неизбежные в условиях массового общества.

С. Хантингтон выделил три реакции не западных обществ на «экспансию Запада»: отторжение, как модернизации, так и вестернизации; принятие того и другого; принятие модернизации и отторжение вестернизации [79, с.100]. То обстоятельство, что СССР пошел по третьему пути, объясняется принадлежностью России к отличному от Запада культурно-историческому контексту. Хантингтон, перечисляя основные признаки современного западного социального порядка (разделение духовной и светской власти, господство закона, социальный плюрализм, индивидуализм и др.), пишет, что «европейский плюрализм резко контрастирует с бедностью гражданского общества ... и силой централизованных бюрократизированных империй ... в России ..., а также в других не-западных обществах» [79, с.97]. По словам В. Федотовой, «способности коммунизма к модернизации могли быть охарактеризованы как попытка догнать предшествующий век» [76, с.17]. Слабости догоняющей модернизации сказались на сдерживании научно-технического прогресса, незавершенности модернизационного проекта в СССР. Здесь индустриализм, дойдя до стадии механизированной промышленности, так и не смог перейти к автоматизированному производству. Это предопределило системное отставание советской экономики от западной, сумевшей сделать рывок сначала к автоматизированному, а затем в конце XX в. и роботизированному труду. Еще в 70-е и даже в 80-е гг. на советских предприятиях можно было встретить оборудование 30-х гг., а на текстильных фабриках – станки образца 1905 г. Нельзя сказать, что партийное руководство не видело этих проблем. На XXIV (1971 г.), XXV (1976 г.), XXVI (1981 г.) съездах КПСС ставились задачи автоматизации производства, внедрения результатов научно-технической революции, отхода от экстенсивного пути развития. Принятая на XXVII съезде партии (1986 г.) стратегия ускорения сохраняла надежды на возможности догоняющей модернизации. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Унаследованный от Российской империи принцип экстенсивного развития, сопровождавший индустриализацию на всем протяжении существования советского строя, неэффективные методы управления, отсутствие трудовых мотиваций, боязнь инноваций и другие причины не позволили реализовать решения партийных съездов.

Советский Союз смог освоить достижения индустриальной революции, но не сумел оседлать научно-техническую революцию. В 1970 г. А. Сахаров, В. Турчин и Р. Медведев направили в ЦК КПСС письмо следующего содержания: «Мы опережаем Америку – писали советские ученые – по добыче угля, отстаем по добыче нефти, очень отстаем по добыче газа, безнадежно отстаем по химии и бесконечно отстаем по вычислительной технике» [264]. Но незавершенность советского модернизационного проекта выразилась не только в технико-экономическом отставании, но и в отставании социокультурной модернизации от экономической. Согласно выводам некоторых исследователей, социокультурная модернизация в СССР отстала от экономической модернизации на «целый век. Внимание к ... военно-промышленной стороне модернизации настолько заслонило к 70-м годам прошлого века все остальные ее аспекты, что их значимость для успешной конкуренции России на международной арене оставалась ... вне поля зрения все последние десятилетия. В результате модернизационный рывок России “захлебнулся”, а возможности для ускоренного движения к постмодерну оказались упущены» [80, с.144]. Расходы СССР на военные нужды, достигавшие 30 – 40% ВВП, углубляли «отраслевые диспропорции», «осложняющие переход ... к рынку» [81, с.47].

Мобилизационный характер советской идеологии помогает ответить на вопрос о том, почему именно марксизм – продукт развития западноевропейской мысли – был взят на вооружение социальным режимом, возникшим в иной цивилизационной среде. Марксизм отвечал мобилизационному духу советской идеологии. Подобно ей, сформировавшись в условиях перехода от традиционного к индустриальному обществу, он обосновывал необходимость такого перехода в рамках логики радикальной модернизации аграрного социума. Советский строй отличался от общества традиционного типа (например, азиатского способа производства К. Маркса и Ф. Энгельса [143, с.221] или «агродеспотий» К. Виттфогеля [144]) принятием исторической динамики модерна, а от обществ западного модерна – попыткой предотвратить дифференциацию институтов управления идеями, людьми и вещами. В этом синкретизме состоит все своеобразие советского социального порядка, не являющегося ни отдельной формацией, ни самостоятельной цивилизацией.

Синкретизм. Институт идеологии в рамках советского социального порядка структурировал и легитимировал существовавшую в стране социальную иерархию, регулировал отношения символического производства, потребления и обмена на основе их нерасторжимого единства с другими институтами советского общества. Такое единство позволяет отнести подобную систему к недифференцированному или слабо дифференцированному типу социальной организации. Однако это единство не было застывшим; в таких социальных режимах есть тоже своя динамика. Она выражается с одной стороны, в расширении символического пространства, перегруппировке агентов символического действия, его рационализации или иррационализации, а с другой, – в возникновении горизонтальных идеологических практик, нараставшем кризисе официальных образцов символического производства. Советское символическое пространство было устроено сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В нем можно выделить несколько важных сегментов.

Партийный идеологический дискурс составлял ядро этой структуры. В него входили документы, резолюции, принимавшиеся на съездах партии, пленумах ЦК КПСС, партийных конференциях, труды генеральных секретарей и других партийных руководителей, агитационно-пропагандистская литература (назовем этот пласт идеологическим

официозом, не подлежавшим какой-либо критики снизу). Иерархически более низкую ступень занимали произведения академической науки, художественной литературы, музыкального, театрального, киноискусства, пытавшиеся с позиций классовости (партийности) дискурсивно или посредством эмоционального воздействия на зрителя/читателя обосновать или донести цели коммунистической партии, показать историческую правоту марксизма-ленинизма, продемонстрировать преимущества социалистического гуманизма и советского образа жизни (назовем этот пласт апологетическим). В рассматриваемом идеологическом сегменте следует выделить такой его пласт, как произведения лидеров партии. По устоявшейся партийной традиции первое лицо в партии (и государстве) должно было непременно стать автором программного сочинения, в котором бы содержались ответы на актуальные для переживавшегося момента вопросы социально-экономической, политической, идеологической, культурной, внешнеполитической жизни. Такого рода произведения лидера партии (наряду с его выступлениями на партийных съездах, партконференциях или пленумах ЦК КПСС) служили одним из важнейших способов производства идеологической «нормы». Они печатались многомиллионными тиражами, изучались в школах и институтах, цитировались на разных уровнях партийно-государственной иерархии. Их статус отличался от статуса произведений классиков марксизма-ленинизма в одном отношении. Труды классиков постоянно присутствовали в официальном советском партийно-идеологическом дискурсе, а труды лидеров КПСС находились в официальном идеологическом обращении до тех пор, пока те находились у власти. Так, например, сочинения И. Сталина («Вопросы ленинизма», «Краткий курс истории ВКП (б)» и др.) были настольной книгой советских людей только в период его правления. С приходом к власти Н. Хрущева сочинения вождя оказались ненужными и даже вредными. При Л. Брежневе в ходу были его пятитомник «Ленинским курсом» и «Малая земля», о которых последующие генеральные секретари партии больше не вспоминали. М. Горбачев запечатлел идеологию своего правления в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», которую постигла та же участь, что и произведения его предшественников. Такое положение дел создавало парадоксальную ситуацию: нарушалась преемственность конкретного политико-идеологического курса партии при сохранении общего идеологического фона (идеологии марксизма-ленинизма). Это противоречие вносило сбой в сферу идеологического производства и потребления, развивая ханжеское отношение к системе смыслов советского общества и порождая нигилистические и конъюнктурные оценки советской истории.

Центральный партаппарат следил за идеологическим обеспечением населения, определяя его стандарты. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС вел научно-исследовательскую работу с трудами классиков марксистско-ленинского учения, воплощая в идеологическую практику партийные нормы понимания и интерпретации этого учения. Опутывавшая страну разветвленная система партийной учебы включала в себя Высшую партийную школу (ВППШ), где обучались партийные кадры, университеты и школы марксизма-ленинизма, школы молодого коммуниста, а также деятельность комсомольских и пионерских организаций, которые транслировали готовые идеологические образцы широким массам. Кроме того, в старших классах средних общеобразовательных школ изучали обществоведение, состоявшее из элементов марксистско-ленинской философии, политэкономии и научного коммунизма как трех составных частей марксизма-ленинизма. В вузах независимо от их профиля в качестве отдельных дисциплин преподавались

диалектический и исторический материализм, политэкономия, научный коммунизм, история КПСС. Таким образом, практически все подрастающее поколение, а также взрослое население страны приобщались к основам марксистско-ленинского мировоззрения как формы дискурсивно-властных практик в советском обществе.

Особый статус в сегменте идеологического официоза имели также Программы партии (всего их было три). За советский период были приняты две (вторая и третья) из них (первая программа действовала до прихода к власти большевиков). Вторую программу принял состоявшийся в 1919 г. VIII съезд РКП (б). Третью – XXII съезд КПСС в 1961 г. Последняя Программа ставила своей целью построение коммунизма в СССР к 1980 г. По иронии истории в 1980 г. вместо победы коммунизма состоялись Олимпийские игры в Москве, бойкотированные западными странами из-за ввода советских войск в Афганистан.

Несмотря на закрытый характер официальной идеологии, она, тем не менее, корректировалась в силу своей внутренней неоднородности и под влиянием менявшихся обстоятельств. Еще на первых этапах Октябрьской революции С. Франк провел различие между коммунистическим интернационализмом небольшой группы ленинцев и национально ориентированным «большевизмом» масс. Под «большевизмом» Франк здесь имел в виду «черносотенство». Ленин также не прошел мимо этого специфического для России социального явления, охарактеризовав его в следующих словах: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это – темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий» [82, с.18]. В эту амальгаму идей влился этический идеализм и мистицизм (что показал М. Агурский в своем исследовании по национал-большевизму) части русской интеллигенции [145]. Позиции мистики в русской культуре оказались настолько сильны, что ее влияние сказалось даже на установках некоторых соратников В. Ленина. Ф. Дзержинский интересовался оккультизмом, философией «общего дела» Н. Федорова, Л. Красин разделял идеи этого русского космиста, Г. Чичерин поддержал поиски А. Барченко – исследователя «оккультных сил» в человеке, искателя доисторических культур и поклонника «универсального знания», хранители которого, по его мнению, до сих пор живут в Тибете. Дзержинский оказал помощь Барченко в организации исследований в области экстрасенсорных явлений, которые «железный Феликс» пытался поставить на службу советскому государству. И. Сталин внимал советам последователя суфийского эзотеризма Г. Гурджиева, с которым он вместе учился в тифлисской семинарии [146]. На первый взгляд неожиданный союз коммунистов и поборников паранормального знания на деле не был случайным. Он выдает оккультные интенции обеих сторон, отношение к знанию как инструменту власти, спасительному способу преобразования мира. Другими словами, в основе такого союза лежало желание обладать «магической властью», названной П. Бурдые «одной из простейших форм политической власти» [25, с.67]. Как отмечают исследователи, герметизм (одно из направлений оккультизма) способствовал тому, что уже в Европе XVIII века получили распространение идеи «человеко-божественного титанизма и революционаризма» [184, с.137]. Вопрос о магическом происхождении оккультных дисциплин обстоятельно изучен в научной литературе. Меньше акцентируется внимание на том, что сформулировал в виде риторического вопроса К. Юнг: не является ли «новоевропейское материалистическое просветительство»

(из недр которого вышел марксизм), «производным и дальнейшим ответвлением первобытной магии?» [147, с.112]. Те же корни имеет знаменитое высказывание английского философа XVII в. Ф. Бэкона «знание – сила». Этот девиз воплощен в его утопии «Новая Атлантида». В ее названии использовано название древнего загадочного материка, населявшегося людьми с более высоким уровнем знания, чем у пришедших им на смену поколений. Обещание нововременного рационализма привести человека к власти над миром с помощью конструирования техноприродных реальностей или «новых атлантид» роднит «магическую науку» Бэкона с более поздними идеями оккультистов и планами большевиков.

В некотором отношении советскую интеллигенцию можно рассматривать в качестве культурного преемника старой русской интеллигенции при всех конкретно-исторических различиях между ними. В ее среде также циркулировали этико-идеалистические и оккультно-мистические идеи. Сложное взаимодействие указанных выше «трех источников и трех составных частей» советской идеологии определяло ее специфику. Равновесие между этими социальными и идеологическими компонентами носило подвижный и неустойчивый характер. Оно нарушалось в зависимости от складывавшихся обстоятельств. Когда власть в партии находилась у большевиков-интернационалистов, доминировали ожидания победы мировой революции. Эти ожидания подпитывал мистический романтизм части примкнувшей к революции интеллигенции. Усиление позиций национал-большевизма ознаменовало переход от бесплодных ожиданий социалистических революций в странах западного мира к сталинской концепции построения социализма в одной стране, сделавшей упор на перспективу «патриотического» или «державного социализма». Решающую роль в этом переходе сыграло поражение социалистической революции в Европе (падение Советских республик в Баварии и Венгрии в 1919 г., неудачи польского похода Красной армии в 1920 г.). Эти события вызвали существенное ослабление позиций интернационалистического крыла большевистской партии, мечтавшего разжечь пламя мировой революции. Крах планов большевиков-интернационалистов формально не привел к отказу от интернационализма «ленинской гвардии», но помог мобилизовать ресурсы национальной исторической памяти. Такой поворот не в последнюю очередь соответствовал и менталитету самого Сталина, выразившего уважение к символам русской истории и к русским самодержцам. По свидетельствам некоторых большевиков Сталину была близка царистская психология. По словам Л. Троцкого, Сталин «был неотделим от русской почвы» [236, с.314]. Почвеннические тенденции, заявившие о себе еще до войны, получили развитие во время войны на волне патриотического подъема. После 1945 г. СССР уже не был похож на Советскую Россию первых лет революции. Прежний революционный авантюризм сменился политикой приоритета национальных интересов державы, распространившей свою власть на половину Европы и ставшей мировым игроком, не уступавшим по статусу США. «Европоцентризм» раннего большевизма уступил место борьбе с космополитизмом и противостоянию Западу. При Сталине советский режим все больше наполнялся духом старой России. По словам Г. Батыгина и И. Девятко, «идеи российской имперской “государственности” и “русского характера” как устоев державы ...успешно использовались и для укрепления разболтавшегося в сумятице войны ценностного каркаса “внутренней” идеологической доктрины, и для герметизации общественного сознания от заносимой из ... Европы идеи “духовного и политического союза демократических государств” ...» [136]. Естественной формой возвращения к приметам досоветского прошлого стал патриотизм. С 30-х гг. патриотизм постепенно превращался в необходимый компонент

официальной идеологии, а военно-патриотическое воспитание сделалось неотъемлемой частью коммунистического воспитания советских людей. При этом термин «русский патриотизм» заменили словом «советский патриотизм», у истоков которого стояли большевикогосударственники (В. Ленин, употреблявший термин «социалистическое отечество», Л. Троцкий с его идеей «красного патриотизма»). Возрождение патриотизма в России было вызвано не только соображениями политической целесообразности или особенностями психологии Сталина, но выражало и более глубокие чаяния русских. Они коренились в мистически окрашенном отношении к «матери-земле». Эти настроения точно передает четверостишие Ф. Шиллера, приведенное Вяч. Ивановым в своей работе «Эллинская религия страдающего бога» :

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью-Землею
Он вступил в союз навек
[83, с.152].

Отмечая, что эти слова знал и принимал Ф. Достоевский, Вяч. Иванов писал: «... Не тогда ли впервые будет обитать в нас Дух, когда мы склонимся к Земле ...» [83, с.152]. Эти слова могут быть приложимы к творчеству советских писателей-«деревенщиков» (В. Астафьева, В. Распутина и др.), осмыслявших в художественной форме процессы упадка русской деревни – этого остова традиционалистских отношений и огромного пласта русской культуры – и катастрофические последствия этого упадка для судеб страны.

Патриотизм послужил основой формирования в советском символическом пространстве почвеннического движения («неопочвенничество»), чьи представители продолжили традиции поздних славянофилов. Советское неопочвенничество было важной идейной опорой патриотического сегмента официальной идеологии.

Возврат к досоветскому этосу принимал разные формы. Начиная с 30-х гг. стали праздновать Новый год, отмененный до этого большевиками как «буржуазный» праздник, были восстановлены ученые степени кандидата и доктора наук, начали извлекать из забвения героев русской истории, в том числе некоторых русских царей. Имена Александра Невского, Дмитрия Донского, А.Суворова, М. Кутузова, П. Нахимова, Ф. Ушакова прочно вошли в пантеон советской воинской славы. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. советское правительство учредило ордена Александра Невского, Суворова трех степеней, Кутузова трех степеней, Нахимова двух степеней и медаль, Ушакова двух степеней и медаль. «“Солдат” и “офицер” ... считались “буржуазными” понятиями ... Лишь в годы войны Сталин восстановил вместе с погонами прежнюю воинскую терминологию» [84, с.92]. Вскоре были созданы суворовские и нахимовские училища, продолжавшие традиции русских кадетских и пажеских корпусов, введено раздельное обучение мальчиков и девочек по примеру старой России. В 1943 г. Сталин распустил III Коммунистический Интернационал, созданный большевиками в 1919 г. В 1946 г. были восстановлены министерства, впервые введенные в российскую систему государственного управления при императоре Александре I. В 30-е – 40-е гг. началась реабилитация некоторых русских царей. До войны вышел в свет роман А. Толстого «Петр I», а затем и фильм с одноименным названием. Во время войны режиссер

С. Эйзенштейн поставил фильм «Иван Грозный». Позже в идеологический дискурс вернулись понятия «ветеран» и «вечный огонь» – образ, известный из языческой мифологии. Как свидетельствует известный философ Б. Бирюков, в ранний период советской истории считалось, что «слова “ветеран” и “вечный огонь” на могиле неизвестного солдата придуманы империалистами специально для того, чтобы легче было обманывать солдат и гнать их на убой» [84, с.78]. Однако в 60-е гг. эта сакральная символика появилась у стен Кремля.

Сложнее вписывались сочинения русских классиков в советский идеологический ландшафт. Царившие в первое десятилетие советской власти взгляды исторической школы М. Покровского, исходившей из вульгарно-классового подхода к социальным явлениям, примитивизировали русскую культуру. П. Чайковского называли «хлюпиком», А. Чехова – «нытиком», А. Пушкина – «камер-юнкером» и т.п. Эта волна революционного нигилизма, требовавшего выбросить за борт истории всю предшествовавшую русскую культуру, позднее сменилась избирательным отношением к ее представителям. Тот факт, что школе Покровского не удалось предотвратить процесс индоктринации русской культуры в советскую идеологическую систему, свидетельствует о том, что советский строй не мог обойтись без обращения к национальному культурно-историческому наследию. Это еще раз доказывает зависимость советской цивилизации от цивилизации российской. Однако творчество не всех русских писателей сразу проходило «тест» на идеологическую «совместимость». Показательно отношение к творчеству Ф. Достоевского, которое долго ждало своего признания официальными кругами. В 30-е гг. он был фактически запрещен (его произведения не входили в школьную программу), как и некоторые стихи гражданской лирики А. Пушкина. Проницательная критика Достоевским революционного насилия и материализма, свобода человеческого духа, воспетая Пушкиным, шли вразрез с «коммунистическим фундаментализмом». Вхождение писателя-мыслителя в советскую культуру состоялось позднее. Важным культурным событием в стране стала публикация в начале 80-х гг. многотомного собрания сочинений Достоевского. Знаменательна и публикация произведений И. Бунина, долгое время остававшегося закрытым для советского читателя писателем русского зарубежья. В течении многих лет не издавались и некоторые знаковые произведения М. Булгакова, А. Платонова, Б. Пастернака, А. Солженицына, В. Шаламова и др., чье творчество пришлось на советский период.

С ростом национальных настроений в советской официальной идеологии идеи антагонизма капитализма и социализма все больше облекались в идею противопоставления России и Запада. В рамках этой альтернативы России придавались мессианские черты, призванные обосновать ее роль оплота мира и авангарда борьбы всех угнетенных народов. Миссию освободителя всех славянских народов, которую возложила на себя царская Россия, Советский Союз довел до взятой на себя миссии освобождения всех народов планеты. Таким образом, классовая парадигма, обнаружив пределы своих возможностей, дополнялась парадигмой культурно-цивилизационной. Освободительная миссия пролетариата подменялась миссией одной страны. Маркс подчеркивал, что у рабочих нет своего отечества. Кроме того, ни Маркс, ни Энгельс, ни даже Ленин не считали Россию авангардом мировой революции. Ленин полагал, что после революций в других странах Россия станет заурядной, но уже в социалистическом смысле, страной. Вслед за многими другими европейцами Маркс воспринимал Россию как «представителя монголизма» [85, с.541]. Энгельс назвал Россию «европейским Китаем» [86, с.406]. Эти и подобные им высказыва-

ния классиков марксизма, сближавших Россию с обществами азиатского способа производства и на этом основании противопоставлявших ее странам цивилизованной Европы, предвосхищали современную концепцию «столкновения цивилизаций». К сходным выводам пришли и евразийцы, поддерживавшие в свое время Советский Союз. Но если Маркс и Энгельс относили Россию к Азии, чтобы подчеркнуть ее отсталость, то евразийцы причисляли Россию, в том числе и СССР, к азиатским цивилизациям, чтобы указать на преимущество российского и советского культурных миров перед Западом [238; 239; 240].

Воспользовавшись положением страны, где впервые произошла победоносная революция под социалистическими лозунгами, Советская Россия создала в 1919 г. III Интернационал, объединивший компартии разных стран. К началу 50-х гг. численность населения стран, входивших в советский блок, составляла примерно 700 млн. чел. Однако со временем в международном коммунистическом движении и в странах социалистического содружества гегемония СССР стала ставиться под сомнение. Сначала вызов единству «мировой социалистической системы» бросил лидер югославских коммунистов И. Б. Тито, порвавший с И. Сталиным в 1948 г. и больше не вернувшийся Югославию в орбиту советского влияния. Антисоветское восстание в Восточной Германии (ГДР) в 1953 г., национально-демократические революции в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), Польше (1980 г.) поколебали незыблемость навеянного победой Советского Союза над нацистской Германией в 1945 г. представления о советском типе социальной организации как наиболее привлекательной и универсальной модели общества социальной справедливости. В 50-е – 60-е гг. от Советского Союза отошли и пошли «своим путем» под руководством своих компартий Китай, Северная Корея и Албания. В 70-е гг. кризис затронул отношения между КПСС и некоторыми западноевропейскими компартиями. Сбравшиеся в г. Ливорно в 1975 г. лидеры итальянских, французских и испанских коммунистов выдвинули платформу действий, которую окрестили «еврокоммунизмом». Новое движение высказалось за смешанную экономику, политический и идеологический плюрализм. Оно выражало социал-демократические тенденции в международном коммунистическом движении, в которых руководство советских коммунистов видело угрозу догматически понятому социализму. Советским лидерам не удалось одолеть «ересь» еврокоммунистов, чьи позиции сравнительно быстро обрели черты реальной политики в курсе нового советского руководства во главе с М. Горбачевым в период перестройки.

Столкновение марксистского космополитизма (интернационализма) и русского патриотизма порождало определенное напряжение в советской идеологии, тщательно маскировавшееся классово нагруженной фразеологией. Советская идеология следовала мысли Ленина о том, что существуют только буржуазная и социалистическая идеологии и третьего не дано. На деле это оправдывало политику информационной селекции, помогало контролировать сознание советских людей, накладывало ограничения на доступ к «идеологически не выдержанным» публикациям зарубежных авторов. Их труды либо вообще не публиковались, либо давались в критическом изложении, либо отправлялись в спецхраны, либо издавались минимальным тиражом для узкого круга специалистов, чтобы они не попали в руки массового читателя. В последнем случае так поступили, например, с объемным трудом Б. Рассела «История западной философии», изданного в 1959 г. «для научных библиотек», и работами К. Поппера, изданными в 1983 г. также «для научных библиотек» в книге «Логика и рост научного знания: избранные работы». Некоторые советские авторы под видом критики «идеологически чуждых» теорий про-

пагандировали важные с их точки зрения идеи, сформулированные в лоне западной мысли. Через цензурное «сито» тоже просачивались идеологически «неудобные» работы. В конце 50-х гг., например, вышла книга Г. Уэллса «Россия во мгле», где образ Маркса резко расходился с его каноническим изображением в советской общественно-политической литературе. В те же годы был издан фундаментальный труд в двух томах философа-неоведантиста (т. е. идеалиста в терминах советского идеологического аппарата) и государственного деятеля Индии С. Радхакришнана «Индийская философия». В 60-е и 70-е гг. число изданных идеологически «подозрительных» книг возросло. Среди них – «Экономика. Вводный курс» американского экономиста П. Самуэльсона (1964 г.), «Феномен человека» французского теолога и палеонтолога Т. де Шардена (1965 г.), «Творец и робот» американского математика и создателя кибернетики Н. Винера (1966 г.), «Черты будущего» английского ученого и писателя-фантаста А. Кларка (1966 г.), «Новое индустриальное общество» американского экономиста и социолога Дж. Гэлбрейта (1969 г.), сочинения Д. Юма (вышли в 1965 г., несмотря на ленинскую критику его философии в «Материализме и эмпириокритицизме»), Дж. Беркли (публикацию его сочинений в 1978 г. можно считать событием, учитывая крайне враждебное отношение Ленина к этому философу). Уже в конце 50-х гг. из всех опубликованных литературных произведений первое место занимали книги русских классиков, второе место – сочинения зарубежных классических и крупных современных авторов, тогда как труды современных советских писателей занимали последнее место [17, с.162]. В течение 60-х гг. издавался шеститомник философских трудов И. Канта – глубокого оппонента материалистической философии. С конца 60-х гг. начали выходить сочинения Платона, зачисленного Лениным в родоначальники идеализма. На рубеже 70-х – 80-х гг. увидел свет двухтомник немецкого мистика и религиозного философа эпохи Возрождения Н. Кузанского (его высоко ценили такие философы русского зарубежья, как С. Франк и Б. Вышеславцев, заимствовавшие у немецкого мыслителя идеи коинцидентальной диалектики). В 1982 г. вышли сочинения основателя русского космизма и религиозного философа Н. Федорова. В 1989 г. были опубликованы сочинения другого известного российского философа, представителя феноменологии Г. Шпета. В 1989 г. вышел «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, лишённого в 70-е гг. советского гражданства и высланного на Запад. С 1988 по 1991 гг. публиковались работы русских религиозных философов (Вл. Соловьева, Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Франка, В. Зеньковского, Н. Лосского). Некоторые из этих книг вышли в партийном издательстве «Правда» (труды Бердяева, Франка, Флоренского). Их публикация ознаменовала окончание периода воинствующего атеизма и переход к идеологическому плюрализму.

Под воздействием разных факторов и, прежде всего, XX съезда КПСС (1956 г.), внесшего раскол в советское общество, в идеологическом пространстве последнего стала складываться оппозиционная система взглядов, которая по мере эволюции советского строя кристаллизовалась в неформальные (диссидентские или близкие к ним) мировоззренческие практики. Речь идет о так называемой «вольной идеологии», формирование которой подметил еще в 50-е гг. русский социолог первой эмигрантской волны Н. Тимашев [80, с.385-387]. «Вольная идеология» оспаривала правомерность коллективизации в деревне, защищала частную собственность, требовала оградить граждан страны от произвола властей, призывала к свободе творчества и пр. Вольная идеология стала формой легитимации советского движения инакомыслия, вдохновлявшегося философией универсально понятых прав человека. Существованию вольной идеологии содействовало это обстоятельство,

что в 60-е – 70-е гг. сознание советского человека все больше наполнялось скептицизмом, размывавшим веру в светлое коммунистическое будущее. На воспроизводство вольной идеологии работали и особенности смены идеологических фаз развития российской цивилизации. На эти особенности обратил внимание А.Фурсов. Выделяя в русской истории «три властные централизованные структуры» – Московское самодержавие, Петербургское самодержавие и коммунистический строй, – российский исследователь подчеркивает, что в конце существования каждой из этих структур или в период их ослабления возникали группы, которые начинали «претендовать на долю в моносубъектности» [87, с.49]. В результате в обществе появлялся индивид, превращавшийся либо в силу личных особенностей, либо в силу социальных обстоятельств в «антисистему». И тогда «его личное противостояние Власти приобретало характер противостояния двух моносубъектов». По мысли Фурсова, в конце Московского самодержавия таким человеком был Аввакум, в конце Петербургского – Л. Толстой, а в конце советского строя – А. Солженицын и А. Зиновьев. «Сахаров и Солженицын – продолжает Фурсов – объективно рассуждали с перспективы новых, в советское время ... лишь намечающихся пунктиром господствующих ... групп, ...по сути разрабатывая ... стратегии посткоммунистических элит, для того периода, когда коммунизм рухнет ... в определенном смысле Солженицын, Сахаров и другие выполняли за советскую верхушку ту социосистемную работу, на которую эта верхушка ... не была способна ...» [87, с.50].

Промежуточное место между двумя полюсами советского символического пространства занимала сфера ценностных и когнитивных систем, границы которой нелегко проследить. Одной своей гранью она приближалась к официальной идеологии, но полностью с ней не сливалась, другой она мало отличалась от «вольной идеологии», сохраняя при этом внешнюю лояльность к властям. Некоторые мировоззренческие направления в этом идеологическом спектре переплетались с философией деятельности и творчества, выразившей процесс раскрепощения интеллектуальных сил советского общества [148, с.72-74]. Если идеологический официоз и апологетическая литература образовывали формально-официальный слой советской идеологии, то философия творчества составляла ее неформально-официальный сегмент. Эта философия сыграла незаменимую роль в подготовке смены идеологических парадигм в период перестройки. Она легла в основу идеологии «шестидесятников», певших вместе с Б. Окуджавой о «комиссарах в пыльных шлемах» и одновременно веривших в «социализм с человеческим лицом». В «третичной сфере» выделялись и другие направления мысли. К ним можно отнести: диалектику мифа имяславца А. Лосева (носившего черную шапочку в знак тайного пострига, уже этим бросая вызов атеизму как государственной идеологии) [71]; логику мифа Я. Голосовкера, в которой слышались отголоски теории бессознательного в духе аналитической психологии К. Юнга [252]; платонизм и антидарвинизм ученого-биолога А. Любищева [253]; «картезианские» размышления М. Мамардашвили о природе человеческого сознания [254]; кантианство В. Асмуса [255]; свободную от марксистских наслоений культурологию М. Бахтина [256], Ю. Лотмана [257], Г. Померанца [258], Д. Лихачева [259]; «человеческое понимание» С. Аверинцева, «не сводимое ни к субъективно эстетическому вчувствованию, ни к рационалистическому исчислению» [149, с.28]; культурно-исторический подход Н. Эйдельмана, противопоставивший историческому объективизму идею наполнения исторического про-

цесса нравственным содержанием [149, с.915]; облаченные в форму научной фантастики протестные произведения братьев А. и Б. Стругацких; евразийство Л. Гумилева [260]; философию сциентизма и технократизма, сформировавшуюся на базе кибернетики и русского космизма. Появление этого идейного спектра объясняется не только социокультурными изменениями, технологическим сдвигами, воздействиями внешнего мира на советское общество, но и еще одним фактором, содействовавшим распространению нонконформистских взглядов [151, с.270]. В беседе И. Сталина с М. Митиным – руководителем «философского фронта» того времени – на вопрос вождя о том, все ли указанные Митиным философы являются материалистами, тот ответил, что есть один идеалист, назвав имя Лосева. Тогда Сталин сказал: «Пусть будет один идеалист». По принципу «пусть будет один идеалист» и формировалась данная сфера символического производства, удовлетворявшая культурные потребности пресыщенных идеологическим официозом групп советской интеллигенции [152]. В этой сфере мы встречаем комплекс идей, получивший мощную социальную поддержку в советском обществе со стороны, прежде всего, научно-технической интеллигенции и военно-космического комплекса. Речь идет о кибернетике и «русском космизме». По словам Б. Бирюкова, «те, кто объявляли кибернетику “лженаукой”, инстинктивно чувствовали ее несовместимость с коммунистической идеологией. Главная установка этого комплексного научного направления – оптимизация процессов управления и переработки информации – находилась в противоречии со стилем управления, присущем командно-административной системе. А категории, которые несла с собой кибернетика, – ...понятия об информации, системе управления, обратной связи ... – взрывали шаблоны диамата-истмата» [84, с.85]. Не меньше идеологических неудобств доставляла генетика. Она ставила под сомнение теорию и практику коммунистического воспитания трудящихся, опиравшиеся на представления о решающей роли воспитательной политики и социальной среды в формировании индивида. В основе этих представлений лежит тезис Маркса о человеке как совокупности всех общественных отношений. Идея генетически заданного разнообразия и неравенства людей не позволяла надеяться на то, что удастся унифицировать человеческие типы путем создания социально однородных условий. В свете генетики марксово положение о том, что общественное бытие определяет сознание, уже не выглядело бесспорным. Здесь, как и в случае с «тектологией» А. Богданова, снова можно зафиксировать не только несовпадение, но и противостояние модернизационных и социалистических идей. Этот мировоззренческий конфликт выступал объективным источником расщепления, фрагментации казавшегося монолитным советского идеологического пространства. Дифференциацию системы символических отношений влекла за собой и философия русского космизма. Процесс ее инкорпорации в корпус советской идеологии не был столь драматическим, как в случае с кибернетикой. Идеям основных представителей русского космизма – Н. Федорова, К. Циолковского и В. Вернадского – оказывали, хотя и в разные периоды, знаки внимания и даже почтения. После непродолжительного периода непонимания между Циолковским и Вернадским, с одной стороны, и советской властью, с другой, оба мыслителя вошли в историю советской науки в статусе ее признанных классиков. Сложнее обстояло дело с Федоровым, чьи работы насыщены религиозной символикой. Однако общий дух его «философии общего дела» оказался не чуждым большевистской практике радикального переустройства мира. Некоторые большевистские лидеры (Л. Красин, Л. Троцкий, Ф. Дзержинский) ценили идеи Федорова, находя их созвучными революционному марксизму. В философии

«московского старца» прельщали оценки космического масштаба творческого потенциала человека, способного обеспечить «регуляцию сил природы». «Зримым выражением близости федоровских идей и “научного” пролетарского мировоззрения – пишет Н. Гаврюшин – стал мавзолей вождя революции на Красной площади» [61]. Но близость русского космизма и марксизма выражалась не только в этом. Оба движения мысли имеют гностические корни, представляют собой секуляризированный вариант гностического мифа. Они отвечают трем основным признакам гностицизма как «определенной философской, жизненной и ценностной установки» (согласно П. Козловски). К этим признакам исследователи относят убеждение: в «богоизбранности» (или автономии) человека; в том, что существующий мир не хорош, и с ним нужно бороться или его изменить; в том, что путь спасения – в знании, причем знании особого рода, которое можно отыскать, получить или передать [88, с.138]. Более того, учения русских космистов выглядят как продолжение некоторых идей диалектического материализма. Так, идея космических циклов, использованная Циолковским в его космологии, встречается уже у Энгельса в «Диалектике природы». По мнению последнего, материя «истребит» жизнь и ее «высший цвет» – «мыслящий дух» – и неизбежно породит его где-нибудь в другом месте и в другое время [68, с.363]. Положительно оценивал Ф. Энгельс и буддийскую диалектику. К. Циолковский тоже отдал дань уважения буддийскому эзотеризму, издав (в 1914 г.) книжку с экзотическим для русского читателя того времени названием «Нирвана». И хотя «космоэзотерика» классического марксизма только лишь пунктирно намечена, она открывала возможность перебросить мост между положениями его онтологии и идеями русских космистов. Но абсорбция идей космизма в советской идеологии имела и другие причины. Выход человека в космос, складывание вокруг ядерно-космических проектов мощной корпорации ученых и управленцев, наметившееся после XX съезда партии разочарование в прежнем облике социализма поставили советское руководство перед необходимостью адаптировать старые идеологические образцы, завязанные исключительно на земной опыт, к условиям космического века. Это понял Н. Хрущев, попытавшийся соединить старую идею коммунизма с новым космическим восприятием мира, обещавшим оставить «на пыльных дорожках далеких планет наши следы». Однако такой «синтез» не помог обеспечить устойчивое воспроизводство официальных идеологических норм. Полеты в космос Ю. Гагарина и других космонавтов, развитие фундаментальной науки, использованные идеологической машиной для организации нового наступления воинствующего атеизма, сравнимого по беспрецедентности нападкам на религию с деятельностью издания «Безбожник» в 20-е гг., не столько укрепили позиции марксизма-ленинизма, сколько стимулировали интерес к иным мировоззренческим системам. Как пишет советский ученый Н. Карлов, «руководители почти никогда не понимали, что наука имеет свои собственные законы развития, ... и сама себе ставит задачи. И что делают науку люди ученые, т.е. весьма своеобразные. Прежде всего, ученый не может быть человеком предвзятой идеи, предзаданного образа мыслей, предписанного поведения. Именно это их свойство, имманентное фундаментальной науке, и приводит к трудностям во взаимопонимании и взаимодействии ученых с корпусом общественного мнения, с обобщенной “княгиней Марьей Алексеевной”» [89, с.43]. Поэтому здесь были весьма своевременны идеи о реальности технического освоения космического пространства, полетах на другие планеты, обитаемости вселенной, способные вдохновить многие пытливые умы, особенно научно-технические круги, далекие от религиозных ценностей, но начинавшие уставать от марксизма-ленинизма. Земля

стала восприниматься в виде «космического корабля», затерянного в просторах вселенной [153, с.327]. В этом образе выражалось стремление уйти от представления о человечестве как сообществе враждующих между собой классов и идеологий и взглянуть на него как на единую планетарную цивилизацию. С 60-х гг. наибольшую популярность из космистов приобрели труды К. Циолковского. Специалисты из разных отраслей науки обсуждали как научно-технические, так и философские аспекты творческого наследия русского мыслителя. Периодически издававшиеся труды чтений, посвященных разработке идей Циолковского, стали важной формой междисциплинарного взаимодействия в советской науке и философии [90]. Создание Комиссии АН СССР по разработке научного наследия К. Э. Циолковского и Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского стало признанием заслуг русского мыслителя перед советской наукой и техникой. Однако в творческом наследии Циолковского не все идеи «калужского старца» выглядели безобидными для партийных идеологов, следивших за тем, чтобы советские ученые и философы не «скатились в болото мистицизма». В этом отношении философия Циолковского была удобной идеологической мишенью. Он признавал влияние на свое мировоззрение оккультных учений и «теософского эзотеризма» [91], т.е. доктрин, враждебных диалектическому материализму не меньше, чем другие формы идеализма. Согласно взглядам К. Циолковского, существует глобальная иерархия разумов или, говоря его словами, «разумных сил Вселенной», где человек занимает скромное место. На базе таких представлений гораздо труднее доказывать первичность материи и вторичность сознания. Намного проще ограничиться соотношением не только земной материи и только земной формы разума. Несмотря на общий у марксизма и идей Циолковского пафос преобразования мира, их монистический и атеистический характер, оба мировоззрения по ряду важных позиций существенно отличаются друг от друга. Поэтому распространение наследия Циолковского невольно оказывалось одним из тех каналов, по которому в общественное сознание проникали идеи, подрывавшие устои идеологического официоза. Причины, по которым пропаганда космизма оказалась возможной в претендующем на идеологическую монолитность обществе, станут понятными, если принять во внимание заинтересованность некоторых влиятельных социальных групп в поддержке этого учения. «Миф о “космической философии” К. Э. Циолковского – пишет российский философ Н. Гаврюшин – является составной частью технократической псевдорелигиозности...» [91]. Он связывает эту разновидность «псевдорелигиозности» с военно-промышленным комплексом. С этой точки зрения введение в систему символического обмена идей космизма отражало появление в советском обществе новой группы интересов со своей идеологией, не совпадавшей с идеологическим официозом.

Как отмечает Д. Резинко, «идеология превратилась во всеобщий социальный код, в форму универсальной социальной связи всех групп и слоев советского общества, стала основой формирования нового советского этоса» [59, с.91]. Вместе с тем советское символическое пространство не было монолитным. Нараставшая в ходе развития советского социального режима идеологическая дифференциация отражала усиление элементов плюралистического типа социальной стратификации. Модернизация «вбрасывала» в советское символическое пространство теории и научные направления, противостоявшие официальной идеологии. Независимо от того, отторгала ли она их от себя (как в случае с текнологией А. Богданова) или принимала их (не без сопротивления, как в случае с генетикой, кибернетикой или русским космизмом), это не предотвратило нарастание ее кризи-

са. Уход советской идеологии с исторической авансцены подготовила ее собственная эволюция. Траектория этой эволюции отмечена эмерджентными переходами. Доктрину военного коммунизма сменило понимание общества будущего как «строения цивилизованных кооператоров» в первые годы советской власти. Идеал державности возобладал в сталинскую эпоху. В брежневскую пору господствовала конформистская теория «реального социализма», оспоренная в период правления Ю. Андропова. Во времена перестройки подошли к идеям социал-демократического толка. Инициатором смены идеологических форм выступало высшее партийное руководство. В результате нарушалась связь с предшествовавшим идеологическим курсом, распространялся идеологический конформизм, росло разочарование в декларировавшихся идеалах советского общества. Среди других процессов в этой сфере следует выделить процессы расширения границ идеологического поля, усложнения и верификации идейных практик, подключения к идеологической игре новых акторов. Тем не менее, возрастающая идеологическая гетерогенность как внутри партии, так и особенно за ее пределами не сделала официальную идеологию более гибкой и современной. Ее основное назначение состояло в сдерживании процессов дифференциации, противостоять которым становилось все сложнее. Поэтому она не могла отказаться от монополии на представительство всех идеологических групп общества, что не предотвратило ее уход с исторической сцены. В русское традиционалистское сознание советская идеология привнесла важный момент. В советской версии николаевско-уваровской триады, где «народность» заслуживает внимание только как предмет заботливой государственной опеки, народ превращается из пассивного объекта социального действия в его «героический субъект». Народ в советском понимании – не образец христианского смирения, не «народ-богоносец» Ф. Достоевского, а скорее титан-богоборец, напоминающий «человекобожеский» образ героев эпохи Возрождения. Не случайно советская идеология тяготела к мировоззренческим формам эпохи ранних буржуазных революций, противопоставляя их «упадническим» взглядам «буржуазии» эпохи позднего капитализма. Народ как коллективный социальный субъект не только творит сам себя (идея создания «нового человека»), но и распространяет свою власть на внешний мир. Созидательный труд на Земле и освоение космического пространства должны были продемонстрировать власть советского человека над силами природы. В советской идеологии объединились идеи демиургического характера человеческого мышления (Гегель), самодовлеющей преобразующей, коллективно организованной деятельности человека (Маркс), переустройства не только земной, но и космической среды в интересах превращенного в космическое существо и властелина природы человека (русский космизм), человека («сверхчеловека») как высшей творческой инстанции мира, наделенной волей к власти (Ницше). Возникшие в различных культурно-исторических условиях, эти идеи пронизаны убеждением в творческой мощи человеческого духа. В рамках советского социального порядка сформировался идеологически цельный образ человекобожия, органично сплавленный из социокультурных образцов гностического типа. Однако в отличие от известных форм гностической мифологии прошлого в советской идеологии не метафизически понятый, а конкретно-исторический, и, прежде всего, советский, человек становится движущей силой, по выражению Э.Фромма, «земного града прогресса». В советской идеологии наблюдалось противоречие между классовым императивом и потребностью в проведении более широкой культурной политики, абсорбировавшей элементы иных мировоззренческих ареалов. Принцип партийности, нашедший опору в идеологии, и распространявшийся на все сферы социальной жизни, неизбежно повлек

за собой политизацию культуры, в том числе философии и науки, со всеми негативными для советского общества последствиями. Однако в советском обществе всегда находились силы, противодействовавшие этой разрушительной тенденции. В результате в ряде случаев удавалось найти компромисс или баланс, способный смягчить ее наиболее одиозные стороны. Смешанный характер советской идеологии не позволяет назвать ее ни правой, ни левой. Ее «левизна» и «правизна» проявлялись в зависимости от требований конкретно-исторического момента и потому не мешали с одной стороны оказывать поддержку революционным движениям, а с другой, – сотрудничать с Западом, опираясь на идею «мирного сосуществования двух систем». Еще в начале «холодной войны» Тито назвал СССР препятствием для социалистической революции в связи с его отказом от помощи антизападному восстанию в Греции. Советская идеология находилась, говоря словами С. Франка, «по ту сторону правого и левого». В СССР не удалось создать общество потребления, как на Западе. Вместо этого было создано общество символического потребления (что не без оснований выражалось в представлении о Советском Союзе как о «самой читающей стране» мира). Так, по расчетам П. Сорокина на конец 50-х гг. в СССР приходилось примерно пять книг на человека, что количественно было значительно больше, чем в любой другой стране мира [17, с.162]. Система символической власти служила каркасом советского социального порядка. По словам Л. Гордона и Э. Клопова, «когда Н. Рыжков ... в качестве главы правительства СССР восклицал, что из-за нарушения идеологии рухнет “наша экономика”, он был прав» [81, с.56]. Идеократия может, в известных пределах, позволить «поступить» собственностью, но не может допустить нарушения монополии одной идеи на власть. Кризис официальной идеологии в таких социальных системах ведет к кризису государства, а его крах влечет за собой падение данной идеологии. Пример советского социального режима опровергает расхожее представление о приоритете «базиса» над «надстройкой». Последняя не просто была активной силой, а служила фундаментом советского общества. С распадом системы идеологической власти пал и советский строй.

2. 3. Советское государство

Как и институт идеологии, институт государства объективно решал задачу сдерживания закономерного процесса дифференциации, чтобы не допустить «расползание» всей системы. В этом советский социальный порядок не отличался от других систем институционально недифференцированного или слабо дифференцированного типа. Он сохранил в преобразованном виде традиционные черты российского социального порядка: централизацию власти, коллективизм, патернализм. «Советское коммунистическое царство – писал Н. Бердяев – имеет большое сходство по своей духовной конструкции с Московским православным царством» [54, с.371]. А. Амосов так описывает организацию власти при советском строе: « ... члены правящей элиты определяют свой статус по степени “доступа к телу” первого лица или “доступа” к другим должностным лицам в соответствии с властной иерархией. При этом “доступ к телу” гораздо важнее в распределении ресурсов и жизненных благ, в решении всех других вопросов, чем ... законодательно установленные права собственности, демократические процедуры, ... гражданские права ...» [5, с.181]. Однако специфика советского государства состояла не в наличии такого системообразующего признака, как «доступ к телу» первого лица, что имеет место и в других моноцентрических системах, а в сращивании партии и государства. Максимального значения этот процесс достиг при Сталине. По словам Л. Троцкого И. Сталин подчинил партию ее верхушке

и соединил ее с верхушкой государства [92, с.117]. На XIII партконференции (1924 г.) И. Сталин сформулировал основной принцип взаимодействия между партией и государством в следующих словах: «... наш партийный аппарат выдвигает свои щупальцы во все отрасли государственного управления ...» [134, с.121]. В результате родилось то, что называют «госпартией», не являвшейся партией в обычном смысле слова, и «партгосударством», не являвшимся государством в собственном смысле слова [56, с.9]. «Главная ось всей социальной организации (... главное социальное изобретение советской эпохи) – писал Ю. Левада – всепроникающий механизм партийно-советской номенклатуры, ... жестко построенной “вертикали” власти, влияния и контроля во всех областях жизни общества, опиравшейся на назначенных “сверху” и ответственных только перед ним порученцев» [56, с.9]. Процесс поглощения государства партией привел к появлению так называемой «номенклатурной системы», т.е. занятию любого, в том числе государственного, руководящего поста членами одной правящей партии. Так, в 1928 г. около 90% директоров государственных предприятий были членами ВКП (б). Уже к середине 20-х гг. местные профсоюзные советы состояли на 90% из коммунистов. В 1927 г. 54% командующего состава Красной Армии состояло в ВКП (б) [134, с.121-122]. Французскому королю Людовику XIV приписывают следующее изречение: «Государство – это Я». Эта формула политического абсолютизма применима с поправками на социально-исторический контекст и к роле КПСС в советском обществе, в котором государство – это партия. Ее власть пронизывала все сферы общества от идеологии до частной жизни простых людей. В позднесоветский период КПСС насчитывала в своих рядах порядка 20 млн. чел. из почти 285 млн. чел. (по данным на конец 80-х гг.), составлявших численность населения СССР. Легитимация власти коммунистической партии включала в себя несколько способов. Среди них – сформулированное в марксизме-ленинизме идеологическое обоснование руководящей роли коммунистической партии, героизация ее исторического прошлого, запечатленного в партийной исторической науке (истории КПСС), художественной литературе, музыке, песнях, живописи, кино. Притязания партии на ее руководящую роль в обществе облачались также в лозунги, призывы, здравицы популистского характера, произносившиеся на праздниках, парадах, с экранов телевизоров, по радио, в устной и печатной пропаганде в честь КПСС, трудящихся, призванных объединиться вокруг ее руководителей. Наиболее распространенные из них – «народ и партия едины», «планы партии – планы народа», «Слава КПСС!», «Слава советскому народу!», «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». Они формировали представления о коммунистической партии как единственном выразителе интересов широких слоев населения и подлинном представителе народных масс и были призваны создать ощущение реального участия народа в управлении государством. Будучи по своей природе номинальными, эти лозунги, призывы и здравицы все чаще приходили в противоречие с реальностью, давая эффект, обратный тому, на который они были рассчитаны. Еще один способ легитимации власти КПСС – выдвижение передовиков производства из народа, которые чувствовали себя обязанными ей своему карьерному росту. С трибун съездов и митингов все время раздавалась благодарность в адрес партии за «счастливую жизнь». Важным способом легитимации власти партии также следует считать награждения отличившихся работников, среди которых существовала иерархия от ударников коммунистического труда до героев Социалистического труда и героев Советского Союза, прием их в партию и включение в партийные и государственные органы разных иерархических уровней. Связь партии с народом демонстрировалась

не только с помощью декларации ее принадлежности к народу в виде лозунгов, призывов и здравиц или выдвижения передовиков производства из числа представителей рабочего класса, колхозного крестьянства или служащих, но и с помощью использования таких определений, как «родная партия». Здесь преднамеренно переносилось на партию чувство, которое традиционно относится к родной земле, к тому месту, где человек родился и вырос. Эпитет «родной» распространялся также и на отношение к заводу, т.е. к месту работы многих советских людей, где проходила значительная часть их сознательной жизни. Триединство носителей родственных отношений, состоящее из родной страны (отождествленной к тому же с государством), родной партии и родного завода, формировало образ партии как главы большого родового семейства или семьи-рода, объединявшего вокруг себя разные социальные слои, нации и народности, жившие на территории Советского Союза. Это триединство воспроизводило в изменившихся конкретно-исторических условиях триединую матрицу, состоящую из экзистенциально окрашенных категорий «родной земли», «народной правды» и «веры в идеал» (по терминологии И. Тургенева). Данная матрица образует фундаментальный культурный код русского социума, порождающий институциональные практики моноцентрического типа. Использование такого образа, навеянного влиянием патриархальных отношений, превращалось в долговременный фактор легитимации безоговорочной власти коммунистической партии.

В основе того, что М. Джилас называл «партийным государством» и «идеологической экономикой», лежали два мотива. Один – воля к власти – характерен для всех участников большой «социальной игры» независимо от страны, мировоззрения, интересов, поставленных исторических задач. Другой – наиболее оригинальный – отражал специфическую цель коммунистической партии, вытекавшую из марксизма, – обеспечить максимальную управляемость общественных процессов в бушующем мире природного и социального хаоса. Поэтому КПСС мыслилась не просто как партия, жаждавшая всей полноты власти, а как уникальный центр социального управления, регулятор стихийных социальных сил, стимулирующий рост сознательного планирования общественного развития. Этим советская партийно-государственная система отличалась от абсолютистских режимов прошлого.

Советское государство приводило в действие сложное взаимодействие четырех неравноправных по своему статусу ветвей власти: политической, административной, представительской и контрольной. Приведенная ниже схема это наглядно показывает (см. табл.1).

Таблица 1

Уровень «СССР в целом»

Административная ветвь	Ветвь политического руководства	Представительская ветвь	Контрольная ветвь
	Генеральный секретарь ЦК КПСС		
Председатель Совета Министров		Председатель Верховного Совета	

	Секретари ЦК КПСС		Председатель Комиссии партийного (государственного) контроля
Первые заместители Председателя Совмина СССР, Председатели Бюро Совмина, Министры обороны, Иностранных дел, Председатель КГБ		Первые заместители председателя Верховного Совета СССР	
	Заведующие отделами ЦК КПСС		Руководители правоохранительных органов, генеральный прокурор, председатель Верховного Суда
Заместители председателя Совмина СССР		Заместители председателя Верховного Совета СССР	
	Первые заместители заведующих отделами ЦК КПСС		Первые замы руководителей правоохранительных органов
		Председатели палат Верховного Совета СССР	
	Заместители заведующих отделами ЦК КПСС		Заместители руководителей правоохранительных органов
Министры СССР		Руководители комитетов и комиссий ВС СССР	
	Руководители секторов отделов ЦК КПСС		Руководители республиканских комитетов партийного контроля

[93]. Доминирование ветви политического руководства над остальными ветвями власти подчеркивало лидирующую роль партии. В ней тоже была своя иерархия. Возглавлял политическое руководство Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС. Среди секретарей ЦК выделялось несколько иерархических уровней: к первому принадлежали члены Политбюро, а ко второму – секретари ЦК партий союзных республик и первые секретари обкомов партии. Следующий уровень этой иерархии составляли заведующие отделами ЦК партии, отвечавшие за пропаганду, науку, образование, культурное строительство, работу промышленности, административных органов и других сфер народного хозяйства. Заведующим отделами подчинялись первые заместители и заместители, а тем в свою очередь – инструкторы ЦК КПСС. Высшим координирующим органом было Политбюро ЦК

КПСС. В него входили генсек ЦК, часть его секретарей, председатель Совета министров СССР и его первый заместитель, министры обороны, иностранных дел, председатель Президиума Верховного Совета и его первый заместитель, председатель Комитета партийного контроля, первые секретари Московского горкома и Ленинградского обкома партии, а также первый секретарь ЦК компартии Украины, председатели Верховного Совета и Совета министров РСФСР. Верховным органом КПСС был ее съезд. В промежутках между съездами ее деятельностью руководил ЦК партии. Координирующая роль Политбюро ЦК осуществлялась через проведение Пленумов ЦК и партийных съездов. На съездах выбирали состав ЦК партии, определяли основные направления экономического и политического развития страны на очередные пять лет. Республиканские, краевые, областные, окружные, городские, районные парторганизации и их комитеты руководствовались Программой и Уставом КПСС. Кроме того, в системе партийных организаций разных уровней иерархии, комсомольских, профсоюзных и производственных организациях существовал свой актив. Он состоял из наиболее квалифицированной и опытной части членов этих организаций. На нее опиралось их руководство. На собраниях активов обсуждались важнейшие вопросы работы партийных и соответственно общественных и производственных организаций. У КПСС (как и у ВЛКСМ) были свои школы активов, функционировавшие на постоянной основе. Из среды партактива избирались члены руководящих местных и центральных органов партии, Советов депутатов трудящихся, общественных организаций, назначались руководители ведомственных учреждений и предприятий. Партийность и активы служили важнейшими каналами вертикальной социальной мобильности.

Основополагающим организационным принципом построения партийно-государственной системы и управления экономикой был принцип демократического централизма. Еще до революции демократический централизм был положен Лениным в основу организационной деятельности большевистской партии. С ее приходом к власти демократический централизм перешел из сферы партийной политики в административную и экономическую сферы общества. Этот принцип предполагал сочетание инициативности, выборности руководящих органов и их подотчетности ниже стоящим организациям с централизацией, т.е. руководством из одного центра, подчинением меньшинства большинству, ниже стоящих органов выше стоящим. Принцип демократического централизма впервые нашел свое воплощение в созданном К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1847 г. «Союзе коммунистов». По словам французского социолога и политолога М. Дюверже, созданные в СССР «небольшие, но жестко скрепленные с помощью демократического централизма и в то же время достаточно разобщенные благодаря технике “вертикальных связей” производственные ячейки» представляли собой «замечательную систему овладения массой». Она «имела для успехов коммунизма еще более решающее значение, чем марксистская доктрина или низкий уровень жизни рабочего класса» [134, с.117]. Формально демократический централизм отличался от так называемого «главкизма», возобладавшего в период проведения политики военного коммунизма. Главкизм, концентрировавший власть в главках («Главцемент», «Главодежда», «Главнефть» и т. п.), довел до крайней степени централизацию системы управления, полностью исключавшей даже частичную автономность местных организаций и предприятий. При демократическом централизме главки не исчезли, а лишь были подчинены министерствам. В отличие от главкизма демократический централизм провозглашал самостоятельность ниже стоящих организаций в решении местных вопросов, если эти решения не противоречили политике цен-

тра. Вместе с тем отличия демократического централизма от главкизма часто стирались из-за своей внутренней противоречивости. Демократический централизм нес в себе потенциальный конфликт между требованием осуществления руководства из единого центра и потребностью в предоставлении низовым, местным управленческим структурам большего хозяйственно-политического простора для маневра с целью решения насущных задач общества. Как и главкизм, демократический централизм порождал отраслевую структуру нерыночного типа. Заметим, что под отраслью понимается не только отрасль производства или социальная общность. Как подчеркивают О. Шкаратан и С. Иняевский, «отрасль выступала ... и как социальный институт первостепенного значения» [168, с.116]. По мнению российских социологов, особенность советского этатрагического общества состоит в существовании «специальных государственных органов отраслевого управления, ... ведомств... В экономическом смысле это был метод подмены... рынка прямым регулированием и распределением. В социальном смысле это был один из основных инструментов построения номенклатурной иерархии» [168, с.115]. Шкаратан и Иняевский выделяют в «социальной иерархии отраслей в контексте ценностной системы советского руководства» следующие институты:

- партийно-государственный аппарат;
- спецслужбы;
- вооруженные силы;
- отрасли системы распределения;
- ВПК;
- науку;
- промышленность;
- образование и культуру;
- сельское хозяйство;
- жилищно-коммунальное хозяйство [168, с.116].

С этой социальной иерархией связано другое противоречие в функционировании партийно-государственной вертикали власти, которое прослеживалось в несоответствии между «реальными и формальными полномочиями властных структур» [65]. Так, например, формально прерогатива разработки стратегических направлений во внешней политике принадлежала Министерству иностранных дел, а в действительности этим занималось высшее партийное руководство. В результате это нарушало соответствие между реальным и номинальным рангами в занимаемой иерархии. Формально, скажем, министры иностранных дел, обороны, и председатель Комитета государственной безопасности по месту в иерархии административной власти соотносились с заместителями председателя Совета министров. Однако на деле «их фактическое положение ... выше, чем то, которое задается наименованием их должностей» [93]. В свою очередь бюро Совмина не курировало полностью отрасли народного хозяйства. Госстрой СССР контролировал не более 51% капиталовложений в строительство союзного масштаба [93].

Несоответствие между реальными (фактическими) и формальными (обусловленными номенклатурой должностей) властными полномочиями «расщепляло» монолитизм партийно-государственной системы и позволяло формировать несколько центров принятия государственных решений. Так, в формировании внешнеполитической линии советского государства принимали участие кроме партии КГБ, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Главное разведывательное управление,

министерства, представлявшие интересы военно-промышленного комплекса [65]. «Советская партийно-государственная система – пишет Н. Лапина – производила впечатление монолита, ... а присущая ей сверхцентрализация позволяла думать, что где-то существует один центр принятия государственных решений. Однако это впечатление было обманчивым ...» [65]. Это обстоятельство не устраняло сам принцип иерархии, на котором было возведено здание советской системы. О том, насколько тесно переплетались политические и экономические институты в советском этакратическом режиме, показывает перечень его базовых признаков, выделенных О. Шкартаном:

- обособление собственности как функции власти, доминирование отношений «власть-собственность»;

- преобладание государственной собственности, процесс снятия частной собственности и постоянного углубления огосударствления, не тождественного процессу обобществления, исчезновение практически всякой (кроме теневой) экономической деятельности, не подвластной государственному регламентированию;

- государственная собственность на рабочую силу, государственный найм как преобладающий источник средств существования для большинства населения, превращенного в государственно зависимых работников;

- государственно-монополистический способ производства;

- реализация государством собственности через переуступку ее бюрократическому аппарату – реальному распорядителю государственными ресурсами, использующему их в своих корпоративных целях и групповых интересах;

- корпоративная система как доминирующая форма реализации властных отношений, соответственно, иерархического ранжирования и объема и характера привилегий членов социума;

- подчинение хозяйственных ведомств и их руководителей общеноменклатурным (общетакратическим) интересам через партию как разработчика стратегии социально-экономического развития и координатора-контролера действий ведомств-монополистов в общегосударственном и региональном масштабах;

- доминирование централизованного распределения;

- целевая функция экономической деятельности в этакратической социетальной системе – воспроизведение и усиление власти правящего слоя; экономическая эффективность не является определяющим критерием оценки экономической деятельности;

- наличие теневой экономики как необходимого элемента этакратической системы;

- зависимость развития технологий от внешних стимулов (технологическая стагнация);

- милитаризация экономики;

- сословно-слоевая стратификация иерархического типа, в которой позиции индивидов и социальных групп определяются их местом в структуре власти и закрепляются в формальных рангах и соотношенных с ними привилегиях; определяющие позиции правящих групп, образующих этакратию, распоряжающуюся государственной собственностью;

- система социальных гарантий для низших слоев населения, обеспечивающая стабильность социума;

- социальная мобильность как организуемая сверху селекция наиболее послушных и преданных системе людей;

- отсутствие гражданского общества, правового государства и, соответственно, наличие системы подданства, партократия;

- имперский полиэтнический тип национально-государственного устройства, фиксация этнической принадлежности как статуса [2, с.50-51].

Динамика эволюции советской партийно-государственной системы была задана совокупностью разных факторов. К их числу можно отнести: переименование в 1952 г. ВКП (б), которую «народ расшифровывал как «второе крепостное право большевиков» [94, с.44], в КПСС; существенное ослабление налогового пресса на крестьян в середине 50-х гг.; осуждение культа личности Сталина на XX съезде партии в 1956 г.; начавшийся с конца 50-х гг. демонтаж системы прикрепления крестьян к земле; отмену в 1961 г. на XXII съезде КПСС диктатуры пролетариата – меру, завершившую процесс «дебольшевизации» сверху; превращение компартии по своему социальному составу из партии рабочего класса в социально разнородную организацию (на рубеже 70-х – 80-х гг. свыше 40% представителей партийного корпуса были чиновниками или управленцами разного ранга); наметившееся разграничение частной и государственной сфер жизни через провозглашение семьи основной ячейкой общества и лозунга все для блага человека. Общая логика этой эволюции привела в период перестройки к декларации приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. Принятые в Советском Союзе закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.), решение ЦК КПСС о «комсомольском движении в экономику» (1987 г.) [2], закон «О кооперации в СССР» (1988 г.) открыли путь к легализации института частной собственности. В 1990 г., накануне краха Советского Союза в 1991 г., была отменена статья в советской Конституции о КПСС как руководящей и направляющей силе советского общества. В апреле 1991 г. был принят закон «Об общих началах предпринимательства», официально признавший наличие института наемного труда (или «труда и капитала» в терминах марксизма-ленинизма) в советской экономике. Эти изменения сопровождались несколькими фундаментальными тенденциями в развитии советского общества. Во-первых, в этот период осуществлялся постепенный переход от «закрытого общества» К. Поппера, скрытого от внешнего мира за «железным занавесом», к более открытому обществу. Части населения стали доступны поездки за границу, налаживались контакты с зарубежными организациями и частными лицами. Свой вклад в достижение большей открытости советского общества внешнему миру внесли состоявшийся в 1957 г. в Москве Всемирный фестиваль молодежи и студентов и открытие в 1959 г. в Москве американской выставки, впервые наглядно познакомившей советских граждан с западным миром. Во-вторых, модель накопления общественного богатства или «первоначального накопления капитала» на основе политики экспроприации и системы принудительного труда сменялась институтом социально ориентированного государства. По словам П. Сорокина, «семьдесят процентов концлагерей с рабским трудом были демонтированы» [17, с.187]. В 60-е гг. была введена пятидневная рабочая неделя, у людей появилось больше свободного времени, о котором Маркс писал как о «действительном богатстве» общества. По словам американского политолога С. Коэна, Советский Союз напоминал «государство всеобщего благосостояния» западного образца» [204]. В-третьих, получили толчок «процессы зарождения “квазичастной собственности”», «предприватизации» и «складывания протокласса крупных собственников» [2, с.56]. Вследствие этих изменений в сфере управления происходил поворот от директивного, централизованного планирования к «административному рынку».

Происходившие сдвиги подводили некоторых ученых к выводу о наступлении эпохи конвергенции СССР и США. (Заметим, что первый набросок идеи конвергенции дан в социал-демократической концепции «врастания социализма» в капитализм). Один из первых идею конвергенции двух систем выдвинул П. Сорокин. Он полагал, что обе страны приближаются к смешанному типу экономики, построенной на сосуществовании свободного предпринимательства, корпоративизма и административного управления народным хозяйством. По мнению Сорокина «зона свободного предпринимательства» в Советской России существовала в сфере потребительских товаров, в том числе таких, как накопленные сбережения, собственность на квартиру, автомобиль, дом или небольшой участок земли [17, с.174]. Сорокин смело сопоставлял и корпоративные начала в экономике США и Советского Союза, отдавая себе отчет в существовании отличий между американским и советским корпоративизмом. По его мнению, «полностью национализированная промышленность в России разделена, как и в Соединенных Штатах, на крупные отрасли промышленности – стальную, нефтяную и другие отрасли, каждая из которых управляется советом правительственных директоров, подобно совету директоров большой американской корпорации» [17, с.176]. Большие изменения американский социолог увидел и в сфере социальных отношений. На его взгляд «насильственная политика советского правительства ... распространялась на все меньший круг человеческих взаимоотношений; отношения по типу семейных, и в меньшей степени, договорные отношения увеличивались за счет вытеснения принудительных» [17, с.182]. Другим убежденным поборником теории конвергенции был американский экономист и социолог Дж. Гэлбрэйт. В своем «Новом индустриальном обществе» он доказывал, что тенденции к конвергенции связаны с крупными масштабами индустриального производства, большими вложениями капитала, сложной техникой и организацией труда, а также с потребностью в управлении потребительским спросом с участием государства [225]. В Советском Союзе идеи, идущие в русле теории конвергенции, высказал А. Сахаров в своих «Размышлениях о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Теория конвергенции стала первым систематически разработанным вариантом современной концепции глобализации. При всей точности отдельных наблюдений, сделанных «конвергенционистами» в отношении сходства некоторых сторон общественной жизни в США и СССР, их теоретические выводы, скорее, выражали надежду на сближение обеих социальных систем, чем реально отражали сущностные тенденции их развития. На поставленный теоретиками конвергенции вопрос о том, могут ли и должны ли разные социальные системы, принявшие индустриальный способ существования, перейти к конвергенции, они попытались ответить положительно. Однако реальной конвергенции не произошло. С позиций новой институциональной теории это можно объяснить недооценкой специфики институтов в советском и западных обществах. Согласно американскому экономисту и социологу Д. Норту, институты состоят из неформальных ограничений (традиции, обычаи, привычки, ценности, «коды поведения», «конвенции» и т.п.), формальных правил (конституции, законы, административные акты) и механизмов принуждения (социетальные санкции или система государственного принуждения) [10, р.9]. В сфере формальных правил и механизмов принуждения есть немало общего между СССР и, скажем, США. Многие положения советских конституций 1936 г. и 1977 г. соответствовали стандартам демократической государственности. Гонения на неугодные социальные группы тоже принимали сходные формы (хотя масштабы и продолжитель-

ность репрессивной политики были, конечно, разными). В эпоху Сталина в лагеря отправляли «врагов народа», в США в концлагеря отправляли японцев как представителей страны, находившейся в состоянии войны с американцами. После войны в СССР была развернута кампания борьбы с «космополитизмом», а в США политика маккартизма под предлогом борьбы с коммунизмом подвергла преследованию многих независимо мыслящих людей того времени. Однако все эти сходства не устраняли существенные различия между двумя социальными системами. Теоретики конвергенции не учли силу неформальных ограничений, делающих россиянина россиянином, американца американцем, немца немцем, француза французом, англичанина англичанином, японца японцем и т. д. Так, Гэлбрэйт не придавал большого значения национальным и идеологическим различиям, полагая, что конвергенция справится с ними. Сторонники конвергенции исходили из абстрактной идеи единства индустриального мира, предопределяющего единый путь развития для всех, кто идет по нему. Их методология строилась на принципе однофакторности, образуя класс слабо редуционистских теорий (экономического, технологического или психологического детерминизма). Подход Вебера помогает избежать односторонности конвергенционизма, переориентируя социологическое мышление на многофакторное понимание социальных процессов. «Я хотел бы возразить, – подчеркивал немецкий социолог – против утверждения ..., что только какой-то один фактор, будь то технология или экономика, может быть “последней” или “истиной” причиной» [105, р.LXX].

Несомненно, что по-своему радикальные перемены не могли бы осуществиться без трансформации самой партии. В 60-е и 70-е гг. перед страной встали новые задачи как в области внутренней, так и внешней политики. Экономическая система давно нуждалась в реформировании. Попытки проведения хозяйственных реформ (сначала в 1965 г. с их идеями прибыли, материальной заинтересованности и децентрализации производства, вызвавшими положительный отклик у А. Керенского, а потом в 1979 г.) не возымели успеха. Но они показывали направление, в котором должна развиваться советская экономика, нуждавшаяся в переводе из сферы административного контроля в сферу действия экономических законов. Усилия инициаторов экономической реформы 60-х гг. получили продолжение в период перестройки. Курс М. Горбачева на глубокие изменения социально-экономических отношений расширил диапазон действий экономической реформы 1965 г., предложив кроме повышения самостоятельности государственных предприятий развитие частной инициативы и привлечение иностранных инвестиций на основе создания совместных предприятий.

Неотложной задачей стало и внедрение достижений научно-технического прогресса. С решением проблем обновления общественно-экономической жизни страны были тесно связаны задачи оздоровления отношений с западными государствами, что потребовало перейти от конфронтационной политики к политике разрядки. Принципиальным новшеством в те годы следует считать изменения, внесенные в способ рекрутирования партийных кадров. Так, формирование кадрового состава центрального партийного аппарата шло в двух направлениях. Один канал отбора кадров составлял подбор номенклатурных работников из числа так называемых «партийных бонз» [65]. Они были выходцами из обкомов и горкомов, обладали нужными связями и большим опытом партийной работы. При подборе этой группы партийных работников учитывались, прежде всего, по-

литические качества. Из них формировались такие структуры центрального комитета партии, как Отдел партийно-организационной работы и Общий отдел. Другим каналом набора партийных кадров в центральный аппарат стал отбор номенклатурных сотрудников, условно названных Н. Лапиной «профессионалами». При их отборе принимались во внимание главным образом профессиональные качества. На эту категорию партийных работников были возложены сложные управленческие функции. Они, как правило, работали в отраслевых и экономических отделах центрального аппарата. В Международном отделе ЦК КПСС лишь 15% сотрудников раньше состояли на партийной работе. Тот же МО черпал кадры либо из числа сотрудников издававшегося в Праге журнала «Проблемы мира и социализма», либо из числа работников Комитета молодежных организаций (КМО) при ЦК ВЛКСМ, Комитета защиты мира, Международного красного креста. В результате «изменение правил рекрутирования партийных кадров и, в частности, внесение в систему отбора меритократических принципов, привело к возрастанию неоднородности партийной элиты» [65]. Следствием возросшей неоднородности центрального аппарата стала борьба между «профессионалами» и «партийными бонзами». В годы перестройки продолжался процесс размывания номенклатурного принципа отбора кадров. «Все чаще – констатирует Н. Лапина – кандидатов на ответственные должности стали приглашать напрямую, без предварительной политико-идеологической “проверки” в промежуточных инстанциях. Изменение принципов комплектования партийных кадров способствовало разрушению номенклатурной системы еще до того, как она прекратила свое существование» [65]. Кроме того, в 1988 г. прошло радикальное сокращение числа отделов ЦК КПСС: их сократили в два раза, в результате чего число отделов ЦК партии уменьшилось с 20 до 10. По мнению В.Култыгина, центробежные процессы внутри партии начались еще задолго до перестройки. «Новая элита – писал российский социолог – уже перестала удовлетворяться тем местом и теми рамками, которые оставлял ей социализм в структуре власти и социальных отношений. С середины 70-х годов власть захватывают выросшие в недрах партийной верхушки антисоциалистические силы, главная цель которых ... заменить социальный строй в стране» [12, с.452]. Таким образом, произошедший в КПСС политико-идеологический поворот приводил в действие сформулированный В. Парето закон «циркуляции элит» [274, с.177], делающий возможным осуществление социального транзита. Если при переходе от самодержавия к советскому строю циркуляция элит носила насильственный характер, то при переходе от советского социального порядка к постсоветской системе она приняла мирные формы. Насильственная смена элит во время революции 1917 г. была вызвана, с одной стороны, неспособностью старых правящих кругов провести глубокие реформы, а, с другой, захватом власти, говоря словами Парето, «не правящей элитой» или контрэлитой, действовавшей снизу. В начале 90-х гг. мирная смена власти стала возможна благодаря формированию в корпусе правящей партии элитных групп, обеспечивших транзит сверху. Тем не менее, действия этих групп не были последовательны. Выделяются два этапа перестройки – один с 1985 по 1988 гг. и другой – с 1988 по 1991 гг. Первый этап начался с приходом М. Горбачева к власти и закончился проведением реформы политической системы. На этом этапе еще сохранялся консенсус в партийном руководстве. Однако на втором этапе он был нарушен реформированием советской политической системы. В соответствии с принятыми на состоявшейся в 1988 г. XIX партконференции решениями КПСС освобождалась от функций государственного управления. Властные полномочия передавались Советам, министерствам и ведомствам. Если отвлечь-

ся от патетических формулировок британской прессы того времени, назвавшей решения партконференции «политическим землетрясением», то здесь можно констатировать попытку партийного руководства добиться соответствия между реальными и формальными полномочиями властных институтов. Другой толчок к утрате партией своих властных позиций дали свободные выборы на состоявшемся в 1989 г. съезде народных депутатов и отказ партии от принципа номенклатурных назначений в 1990 г. [65]. Вытеснение партии из политико-идеологического пространства, разрушение номенклатурного принципа рекрутирования ее кадров закончилось полным отстранением КПСС от власти и распадом СССР в 1991 г. Существуют разные объяснения причин провала перестройки, закончившейся не только сменой социального режима, но и исчезновением огромной страны. Н. Лапина, например, указывает на такие причины неудачи перестройки, как разрыв М. Горбачева со своими потенциальными союзниками в партаппарате, отказ от формирования кадров по принципу родственно-дружеских кланов в пользу комплектования кадров по идейному признаку [65]. По мнению Ю. Левады «главная иллюзия инициаторов ... перестройки – представление о возможности коренным образом изменить общественно-политическую систему страны “сверху”, то есть с помощью госпартийного механизма» [56, с.13]. И. Клямкин и Л. Тимофеев полагают, что М. Горбачев не сумел найти замену формуле «державность – бедность – коррупция». «Он и не мог преуспеть, – продолжают российские социологи – потому что для этого ему нужно было найти эквивалент коммунистической идее, придававшей державности сакральный смысл и позволявшей интерпретировать бедность как нечто преходящее, а коррупцию – как нечто нелегитимное и потому преходящее тоже» [95, с.285]. По словам Р. Рывкиной М. Горбачев не смог «поднять руку на советскую систему управления экономикой», т.е. не пошел на ее разгосударствление [96, с.109]. С точки зрения английского политолога А. Брауна основная проблема перестройки состояла в отсутствии партийно-политической конкуренции [70, с.75]. Дополнительный свет на понимание причин неудачи перестройки проливает проведенное в 1990 г. в рамках программы Отделения философии и права АН СССР «Социальные процессы в условиях перестройки» совместное советско-американское исследование [247]. С советской стороны исследование проводили сотрудники Института социологии АН СССР. Было опрошено 1510 чел. в 20 регионах европейской части СССР. Опросы проводились по таким темам, как «Народное хозяйство и экономические реформы», «Политические реформы в СССР», «Суверенитет республик и наций», «Правительство», «Правительство и личность», «Доверие к социальным институтам», «Выборы», «Свободы», «Терпимость», «Оценка значимости групповых интересов» и некоторые другие темы.

На вопрос «Как бы Вы в целом оценили состояние народного хозяйства нашей страны сегодня: как хорошее, среднее или плохое?» 71,0% респондентов оценил как «плохое», 23,6% – как «среднее» и только 1,1% опрошенных – как «хорошее» [247, с.17]. Эти данные свидетельствуют о неудачах проводившихся экономических преобразований. Тем не менее, рыночную экономику поддержали 47,2% респондентов, плановую – 29,7% воздержались от ответа 23,1% [247, с.18]. Отвечая на вопрос о том, надо провести радикальную экономическую реформу или не надо, за необходимость ее проведения высказались 43,5%, отказались поддержать та-

кую реформу 24,8%, воздержались от ответа 21,7% [247, с.17]. Ответы на вопрос «В какой мере Вы поддерживаете экономические реформы перестройки?» распределились следующим образом:

Полностью поддерживаю	9,2%
Поддерживаю	29,5%
Колеблюсь	31,3%
Не поддерживаю	13,4%
Совершенно не поддерживаю	4,3%
Не могу сказать точно	12,3%

Таким образом, в поддержку экономической реформы выступили 38,7% опрошенных, против – 17,7%, колеблющиеся (31,3%) и воздержавшиеся от ответа (12,3%) вместе составили 43,6% респондентов [247, с.19]. С утверждением, что «сейчас в Советском Союзе слишком много демократии», согласились 43,9%, а не согласились 39,4%. Для 56,8% опрошенных «лучше жить в обществе со строгим порядком, чем дать людям так много свободы, что они смогут стать разрушителями общества». Только 23,9% респондентов выразили свое несогласие с этим утверждением. В то же время 15,7% согласились с тем, что «однопартийная система помогает развитию демократии», а 61,8% не согласились с этим утверждением [247, с.20]. 54,0% опрошенных выбрали бы демократическую форму правления, 26,5% – строгий правительственный контроль, воздержались от ответа 19,5% [247, с.20]. А вот как распределились ответы респондентов на вопрос «Вы удовлетворены или не удовлетворены уровнем гласности в стране сегодня?»:

Полностью удовлетворен	5,1%
Удовлетворен	20,1%
Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен	22,1%
Неудовлетворен	40,0%
Совсем неудовлетворен	5,6%
Не могу сказать точно	7,1%

[247, с.21].

Таким образом, численность удовлетворенных и неудовлетворенных состоянием гласности была примерно одинакова на 1990 г. и составляла с обеих сторон менее 50% респондентов. 75,1% согласились с тем, что «советское правительство не дает полной политической информации своим гражданам», а 89,9% респондентов поддержали утверждение, что «пресса должна быть защищена законом от преследований властей» [247, с.22]. Эти данные, как и данные опроса о состоянии гласности, указывают на низкую эффективность проводившейся тогда политической реформы. 85,8% респондентов согласились с тем, что «правительство должно обеспечить каждого гарантированным доходом» и 94,2% опрошенных были согласны с тем, что «правительство должно обеспечить работой каждого, кто в ней нуждается» [247, с.23]. Суду не доверяли 62,3%, профсоюзам – 55%, прокуратуре – 58,2%, милиции – 70,3%, КПСС – 54,5%, телевидению – 53,1%, комсомолу – 64,3%, прессе – 54,3%. Из основных формальных социальных институтов доверяем опрошенных пользовались только вооруженные силы (60,3%), Верховный Совет (52,9%) и (в меньшей степени) правительство (49,3%) [247, с.35].

65% опрошенных согласились с тем, что «конкуренция в стране между коммунистической партией и другими партиями позволит улучшить работу органов власти» [247, с.44]. Однако, отвечая на вопрос «Если Вам представится возможность участвовать в многопартийных выборах, за представителя какой партии Вы будете голосовать?», ответы показали слабую заинтересованность советских граждан в многопартийной системе. Ответы распределились таким образом. За Православную конституционно-монархическую партию России проголосовал бы 1,1%, за КПСС – 28,2%, за Либерально-демократическую партию – 1,5%, за Демократический союз – 7,5%, за Социал-демократическую партию – 6,5%. При этом за беспартийного кандидата проголосовали бы 32,6% респондентов [247, с.43].

Итак, данные опросов позволяют выделить ряд факторов, негативно сказавшихся на судьбе перестройки:

- отсутствие устойчивой поддержки экономических и политических реформ в сочетании с неэффективностью их проведения. Сторонники реформ составляли менее 50%, а в некоторых случаях и меньше 40%. При этом общая численность сознательных противников политики перестройки и тех, кто так и не сделал свой выбор, либо незначительно уступала численности поборников курса реформ, либо даже превосходила последнюю категорию респондентов;

- преобладание патерналистских настроений. Глубокая приверженность советских людей к патернализму подрывала курс реформ, препятствуя легитимации рыночной экономики и частной собственности;

- низкий уровень доверия к формальным социальным институтам. То обстоятельство, что население выказало недоверие большинству социальных институтов, также обрекало перестройку на поражение;

- неразвитость многопартийной системы. Уровень недоверия советских граждан к разным политическим партиям, а не только к КПСС, был настолько высок, что это делало невозможным нормальное функционирование партийно-политической системы на многопартийной основе. Поэтому, несмотря на то, что примерно 2/3 опрошенных высказывались за партийно-политическую конкуренцию, а в 1990 г. КПСС прекратила свое существование, многопартийная система так и не заработала.

Нельзя сказать, что проблема многопартийности была абсолютно новой для советских реформаторов. Советская политическая система начиналась как двухпартийная, в которой большевики делили власть с левыми эсерами. Хотя двухпартийность просуществовала не долго, сама идея двухпартийности не была полностью забыта. В 60-е гг. к ней вернулся Н. Хрущев, задумав создать две партии – одну, выражающую интересы рабочих, и другую, защищающую интересы крестьян. Хрущев попытался «лишить партию ее структурообразующей роли разделением партаппарата на промышленные и сельскохозяйственные парткомитеты» [93]. В 1985 г. А. Яковлев предложил разделить КПСС на две партийно-политические структуры, чтобы запустить в действие механизм конкурентной политической борьбы. В 1989 г. уже М. Горбачев пришел к признанию принципа многопартийности [70, с.75]. Не создав многопартийную систему, реформаторское руководство потеряло и ту партию, которую сами представляли. Неудача перестройки наглядно выявила не разрешимую антиномию советской партийно-государственной системы: с одной стороны невозможность ее реформировать, не изменяя природу партии

как ключевого института власти, а с другой, неспособность советского строя к существованию без той же самой партии.

Другое поле институциональной дифференциации – национально-территориальное деление страны и сфера межнациональных отношений – представляло собой еще одну фундаментальную область центробежных тенденций развития советского общества. Существование Советского Союза имело несколько особенностей. Он возник не на «пустом месте», а на территории бывшей Российской империи, чьим «ядром» была большая Россия. Это освоенное геополитическое пространство, будучи «имперским пространством», диктовало новому государству (СССР) необходимость оставаться империей. Большевики довольно быстро поняли односторонность ими же провозглашенного лозунга «право наций на самоопределение» и с созданием в 1922 г. СССР реинтегрировали большую часть «имперского пространства», отпустив лишь Финляндию, балтийские страны и Польшу. С присоединением к СССР перед Великой Отечественной войной Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и части Буковины геополитическое пространство бывшей Российской империи было восстановлено почти в прежних границах. После Второй мировой войны в советский блок вошли страны Восточной Европы, а позже Куба и ряд азиатских государств. Влияние Советского Союза распространилось и на африканский континент. К феномену СССР применимы следующие слова Г. Федотова, написанные им в 1947 г.: «Выход государства ... из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда ... рождается не новая провинция, но империя, с ее особым универсальным самосознанием» [154, с.138]. Ленин, которого Бердяев назвал «империалистом», продемонстрировал возможность сочетания интернационализма и имперской государственности. В этой форме нашел свое продолжение имманентный российской цивилизации принцип экстенсивного развития. В исторической перспективе он оказался нежизнеспособным, поскольку не мог существовать без постоянного территориального расширения. Его прекращение положило конец и существованию страны. Положительный ответ на вопрос, является ли та или иная страна империей, обычно увязывают с наличием у нее колониальных владений. В этом отношении СССР не был империей, так как не обладал колониями. Однако этот признак недостаточен для определения имперского статуса. Колониализм – продукт модерна – отсутствовал в доиндустриальную эпоху, когда уже существовали империи. Более важным признаком имперскости является проведение глобальной культурной политики. Она характерна для империи Александра Македонского и Римской империи. Не только захват новых территорий и покорение других народов, но и политика эллинизации превратила Древнюю Грецию и Древний Рим в империи. Советский Союз здесь стоит ближе к имперским образованиям античного типа, чем к колониальным державам Западной Европы Нового времени. Воссоздание старого геополитического пространства, унаследованного от Российской империи, и проведение глобальной культурной политики на просторах Евразии позволяют говорить о Советском Союзе как об империи, но империи не колониального типа. Как резюмирует С. Каспэ, «претензия ... на роль потенциально безграничного самодостаточного ... космоса; параллельное бытование общесоюзного языка социальной (в первую очередь властной) коммуникации и многообразных локальных коммуникативных контекстов; тенденции выравнивания центра и периферии ... – все эти неотъемлемые элементы советской политической культуры ... служат ... весомыми аргументами в пользу включения СССР в класс империй, причем ... как продолжателя и наследника российской имперской традиции ...» [269, с.183]. По словам А. Лукиной,

«советская система продолжала проект национального строительства и формирования национальной идентичности как русских, так и других народов новой империи» [212, с.251]. А. Лукина заключает, что в СССР (40-х – 50-х гг.) «был реализован проект Александра III – “национализация империи”, превращение ее из пролетарской ... в великорусскую. Все медиа-технологии советской власти в итоге дали продукт “национальный по содержанию/советский по форме” вопреки известной формуле соцреализма» [212, с.251]. В отличие от интеграционного процесса стран ЕС интеграция в СССР проходила вокруг мощного национального центра (исторической России), который одновременно был центром Российской империи [97, с.211]. Советская империя держалась не только на военной силе, но и на трех видах общности: языка (русский язык как язык межнационального общения), культуры (русская культура – своего рода «русский эллинизм» – как интегративная функция «имперского ядра») и исторических судеб входивших в состав СССР народов. Советская национальная политика строилась на выравнивании уровней развития и жизненных стандартов национальных окраин путем ускоренной модернизации отсталых республик СССР [155]. Она способствовала «упрочению» системы управления в союзных республиках, получивших свои ЦК, Совмины, Академии наук и пр. (всего этого не было у России как союзной республики); «выращиванию» кадров национальной интеллигенции, управленцев и рабочего класса; «культивированию» «национализмов народов союзных и автономных республик»; «созданию» литературных языков и письменности народов, ее не имевших и т. д. [97, с.217]. Так, до Октябрьской революции в Средней Азии и Казахстане грамотные составляли всего 2-8% от общей численности населения, а в конце 50-х гг. прошлого века – уже 95-98%. В 1983 г. в среднем в СССР на каждые 10.000 занятых приходилось 858 чел. с высшим или специальным средним образованием. В Казахстане на такое же количество занятых приходилось 859 чел., в Туркмении – 879 чел., в Грузии – 895 чел., в Узбекистане – 899 чел. [155]. Таким образом, в национальных республиках число квалифицированных специалистов превышало общесоюзные показатели.

Вместе с тем огромное культурное и этническое разнообразие (в СССР проживало свыше 100 народов и национальностей) порождало еще один специфический институт «новой общности – советского народа» – совмещение мало совместимых национальных традиций, образов жизни и менталитетов. Так, «ламаистская Бурятия – пишет российский исследователь Д. Фридман – не может входить в одну общность с расположенными далеко от нее протестантской Эстонией и шиитским Азербайджаном» [97, с.210]. Огромная культурная работа, предпринятая центральными властями, привела к превращению народов «окраин империи» в современные нации и, стало быть, к «изменению соотношения сил между “ядром” и “окраинами” и дезинтеграции нашего пространства» [97, с.217]. Фридман делает вывод о том, что СССР был «переходным, компромиссным образованием». «Просто империя» была уже невозможна, а «просто независимость» еще невозможна. Однако все предпосылки для обретения такой независимости были налицо. Республики бывшего СССР имели более высокий статус, чем губернии в императорской России: они представляли собой национально-государственные организмы со своей культурой, со своими элитами и со своими интересами. При Л. Брежневем республиканские власти фактически обрели «полунезависимость». Первые секретари компартий таких республик, как Узбекистан (Ш. Рашидов), Азербайджан (Г. Алиев) и Казахстан (Д. Кунаев) были

уже не московскими «наместниками» или «генерал-губернаторами», а «царьками» набравших силу «вассальных государств» [97, с.218].

Опасения относительно трудности сохранения будущего единства СССР высказывались большевиками еще в период зарождения союзного государства. Так, управляющий делами Совнаркома УССР П. Солодуб во избежание распада Советского Союза предлагал облечь союз республик в форму конфедерации. Член Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), член ЦК ВКП (б) Д. Мануильский считал необходимым вообще ликвидировать «самостоятельность» союзных республик, за каждой из которых по Конституции 1924 г. сохранялось право свободного выхода из состава Советского Союза [134, с.125]. Как это ни парадоксально, но именно классовый подход к решению национального вопроса, делая упор на укреплении, по словам В. Ленина, «фронта трудящихся всех наций против буржуазии всех наций», породил структурные противоречия советского федерализма. Это противоречия между провозглашением независимого, самостоятельного характера союзных республик и политикой централизации с ее тенденцией к унитаризму, противоречие между территориальным и национально-этническим принципом государственного устройства. Этими противоречиями отмечены и все советские конституции. Мы уже упомянули первую советскую Конституцию 1924 г., закрепившую право союзных республик на их самостоятельность с признанием за ними права на свободный выход из состава СССР. Эти права никогда не ставились под сомнение последующими конституциями. В последней советской Конституции 1977 г. союзная республика определялась как «суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик». Согласно статье 76 «союзная республика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории», имеет свою Конституцию, которая должна была соответствовать Конституции СССР [134, с.136]. При этом не указывались конкретные полномочия союзных республик, видимо для того, чтобы сделать их реальный выход из состава Советского Союза невозможным. Однако конституционально-юридические двусмысленности оставляли широкую лазейку для развития центробежных тенденций, порождавшихся противоречивой природой советского федерализма. На эти тенденции налагалось, ускоряя их бег, и другое противоречие – противоречие между Центром и периферией, которое не фиксировала никакая конституция.

Хотя у Советского Союза не было заморских владений, его огромные территории сами «становились сырьевыми придатками Центра, отчуждавшего и распределявшего им ресурсы» [93]. Поэтому «унифицированные отчуждающе-распределительные отношения между Центром и периферией определили ... территориально-административную организацию государства, где структура власти на любом нижерасположенном уровне административного управления воспроизводила ... структуру управления вышележащего уровня» [93]. В такой конструкции, выстроенной по принципу отбирающего и перераспределяющего ресурсы Центра и лишаящейся своих ресурсов периферии, исключалась социально-экономическая модернизация. В ней был заложен неизбежный конфликт между Центром и «окраинами», не разрешимый в рамках существовавших между ними отношений «отчуждения – распределения». В рамках «отчуждающе-распределительных отношений» происходило разделение страны на богатые, отдающие ресурсы, и дотационные, поглощающие ресурсы, регионы. В результате, с одной стороны, сдерживалось экономическое процветание одних регионов, и консервировалась социально-экономическая отсталость других,

а с другой, сохранялся неравномерный характер развития страны. Подобная система отношений стала одним из источников центробежных тенденций в рамках советского геополитического пространства. Некоторые исследователи описывают напряжение между центром и периферией как конфликт между централизмом и демократией. Белорусский историк, академик БАНМ. Костюкотмечает, что «во времена Российской империи и в советский период от центральных властей преимущественно исходили инициативы централизаторского характера. Местные же тенденции... были преимущественно либеральной и демократической направленности» [268, с.21].

Важным фактором этноэкономической стратификации в СССР было создание сообщества крупных предприятий союзного подчинения. Некоторые авторы, не без оснований, называют такой класс промышленных предприятий «русским каркасом» советской экономики [155]. Он стал возможен в результате специфического характера модернизации советских национальных республик, содержание которой составляло строительство гигантских предприятий, подчинявшихся напрямую Центру, а не местным властям. Возможность формирования такого института вытекала из реализации принципа «приоритетности общесоюзных интересов над интересами республик» [155]. Система предприятий союзного подчинения характеризовалась следующими основными чертами:

непосредственным подчинением центру. Местные органы власти не могли вмешиваться в их работу. Такие предприятия работали не столько на удовлетворение потребностей тех республик, где они базировались, сколько на решение общесоюзных задач;

гигантизмом. Эти предприятия были своего рода «государствами в государстве»;

тесными связями между собой. Предприятия союзного подчинения поставляли продукцию не предприятиям своей республики, а другим предприятиям союзного подчинения, и получали полуфабрикаты не от предприятий своей республики, а от предприятий союзного подчинения, размещенных в других республиках. Таким образом, предприятия союзного подчинения были интегрированы не в местную, а в общесоюзную экономику. Кроме того, изоляции этих предприятий от промышленности той республики, где они находились, способствовала специфика системы их налогообложения. До 1980 г. они вообще не платили налоги в бюджет своей республики, а начиная с 1980 г. они отчисляли туда небольшую часть своей прибыли;

русским или русскоязычным составом работников. Несмотря на усилия советской власти привлечь местное население на работу на этих предприятиях, число занятых на них среди местного населения было невелико. В Узбекистане, например, в 1929-1940 гг. на 110.000 рабочих мест узбеков и других коренных национальностей приходилось 14% от всех работавших на крупном производстве. В 70-е гг. прошлого века доля узбеков составила менее 20% от общего числа занятых на семи самых крупных машиностроительных заводах Узбекистана. В период перестройки этнические группы некоренного населения составляли в промышленности Эстонии и Латвии 80%, а в Казахстане – 79%. Низкий процент представителей местного населения, желавших работать на предприятиях союзного подчинения, обусловил массовый ввоз рабочей силы из России, Украины и Белоруссии. Перемещение работников из славянских республик в неславянские влекло за собой демографические изменения в составе населения последних. С 1950 по 1971 гг. в Таджикистан приехало 235. 700 чел. из европейской части СССР. За этот период все население республики не превышало 1 млн. чел. Доля русских в Латвии вы-

росла в период с 1935 по 1989 гг. с 8,8% до 34%. Примерно за то же период численность русских в Эстонии возросла с 4,7% до 30,5%. Так шел процесс превращения моноэтнических республик в полиэтнические [155].

В позднесоветский период на предприятиях союзного подчинения приходилась наибольшая часть занятых в производстве в союзных республиках. В 1989 г. на них работал 51% всех занятых в промышленности Казахстана и Азербайджана, в Белоруссии – 54%, на Украине – 63%, в России – 71% [155]. Сообщество предприятий союзного подчинения сыграло двойственную роль в отношениях между центром и периферией. «История знала империи – пишет А. Юданов –, единство которых обеспечивали стоявшие по всей территории гарнизоны солдат нации-доминанта. Советская многонациональная супердержава породила ... промышленную версию ... этого принципа. Сообщество предприятий союзного подчинения было “рукой Москвы”, дотягивавшейся до самых отдаленных районов государства. ... Русский рабочий-переселенец в отличие от римского легионера не был орудием национального принуждения и не пользовался ... привилегиями ...» [155]. Вместе с тем по приведенным выше причинам слой гигантских предприятий союзного подчинения, образуя мощный и независимый от экономики национальных республик индустриальный сектор со своими группами интересов, объективно не столько объединял центр и «национальные окраины», сколько ослаблял связи с их местным населением, поощряя в них процессы «анклавизации» или «автономизации».

Нараставшие в течение многих лет напряжения, в конечном счете, отозвались открытыми столкновениями на рубеже 80-х – 90-х гг. в разных уголках империи (в Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Литве, Узбекистане, Молдавии, Таджикистане). Они также вскрыли неустойчивый и во многом искусственный характер провозглашенной Л. Брежневым в 1972 г., т. е. в год пятидесятилетия образования СССР, «новой исторической общности – советского народа». Межэтнические отношения всегда представляли собой одну из острейших социальных проблем. Мир до сих пор не может найти взаимоприемлемые формы сосуществования разных этнических групп. Не были они найдены и в XX в., несмотря на этнические чистки и депортации народов (в том числе и в СССР). Американский «плавильный котел» долго считался надеждой на решение межэтнических противоречий в многоконфессиональном и многонациональном государстве. От модели американского «плавильного котла» конструкция «советский народ как новая историческая общность» отличалась резко выраженной идеологизированностью. В рамках советской национальной политики культура народов СССР рассматривалась как социалистическая по содержанию и национальная по форме. Такая формула содействовала раскрепощению национального самосознания народов «национальных окраин» и вместе с тем подминала его под унифицированные нормы идеологического ригоризма. В условиях не реформировавшегося общества «социалистическое содержание» все больше вступало в конфликт с «национальной формой», обостряя межнациональные отношения [194]. Как отмечает Р. Симонян, неспособность советского руководства осуществить глубокие экономические и политические преобразования подтолкнула балтийские республики к выходу из состава СССР [156, с.52-94].

Отчуждению в системе межнациональных отношений содействовали и такие факторы, как преобладание у неславянских, особенно восточных, народов советских республик «доиндустриального менталитета» с его традициями труда не в промышленности, а в сельском хозяйстве, в сфере торговли и государственном аппарате, а также стремление к получению высоких неофициальных доходов [155]. Так, например, в Узбекистане

в начале 80-х гг. прошлого века неофициальные доходы продавца превосходили его официальную зарплату в 50 раз [155]. Еще одним фактором развития негативных тенденций в сфере межнациональных отношений следует назвать «политическую дискриминацию» жителей прибалтийских республик при приеме на работу на предприятия союзного подчинения, объекты стратегического назначения – оборонные заводы, железные дороги, морские порты [155]. Все это порождало бытовой национализм, за которым стояли расхождения в социально-экономическом поведении и психологические особенности разных этнических групп в Советском Союзе.

Раздвоенность сознания советских людей в сфере национальных отношений усугубляло и то обстоятельство, что в атмосфере пропаганды идей интернационализма в паспортах сохранялась графа «национальность» – пресловутый «пятый пункт». В поздний советский период появилось выражение «лица кавказской национальности» с оттенком пренебрежительного отношения к выходцам с Кавказа. На уровне массового сознания также закрепилось слово «совок», имеющее уничижительный смысл. Таким образом, наметившиеся в позднесоветский период признаки кризиса советской идентичности следует отнести к числу факторов, которые подготовили распад Советского Союза.

Перестройка не только не переломила центробежные тенденции, но и усилила «поляризацию общества», которая «все больше принимала националистически-сепаратистский характер» [70, с.79]. «Разогнавшиеся» в ходе перестройки националистические движения, отражавшие интересы части местного населения и республиканских элит, в той же мере содействовали развалу советской империи, как и невнятная политика федерального центра. В уже упоминавшемся советско-американском исследовании 1990 г. ответы на вопрос «Вы согласны или не согласны с тем, что союзным республикам нужно разрешить выход из Советского Союза?» распределились следующим образом:

	% от числа опрошенных
Да, согласен	47,9
Нет, не согласен	36,6
Не могу сказать точно	14,4
Отказ от ответа	1,1

[247, с.36]. Таким образом, у сторонников выхода из состава СССР была относительно широкая социальная база. Большинство, хотя и не абсолютное, не возражало против отделения союзных республик от Советского Союза. Можно сказать, что распад страны был во многом делом рук центральной и периферийной элит. По словам А. Филиппова, «тонкий слой номенклатурной элиты – это все что удерживает ... СССР Но интересы центральной и периферийной элит уже далеко не тождественны» [269, с.194].

Еще одним фундаментальным источником институциональных дифференциаций выступали административный рынок и производная от него теневая экономика. Их складывание стало реакцией на присутствие в советском обществе «псевдоэкономических институтов» или институтов, говоря словами М. Джиласа, «идеологической экономики» – огосударственной собственности, планирования, фондирования, уравнительной оплаты труда, социалистического соревнования и шефства города над деревней [96, с.63-66]. Кроме этих институтов в формальный сектор советской экономики входили институты рыночного типа. Но они носили подчиненный идеологическому сегменту экономики и потому

имитационный характер. Дж. Стиглиц отмечает, что такие институты в СССР не осуществляли те же самые функции, что и на Западе [211, с.170]. Банки хранили сбережения, но не принимали решений, кому давать кредиты. Вместо этого они предоставляли «фонды» в соответствии с распоряжениями Госплана. Предприятия выпускали товары, но производили то, что требовали от них плановые органы, снабжавшие их ресурсами. В советской системе существовали цены, но они устанавливались государством, а не регулировались рынком [211, с.170-171]. Действие реальных экономических механизмов подменялось вмешательством в народное хозяйство партийных инстанций и государственных органов, т.е. политических институтов. Формальная («идеологическая») система хозяйства стала воплощением известного тезиса Ленина о том, что политика есть концентрированное выражение экономики. Особое значение для формирования административного рынка и теневой экономики имел ряд факторов. Это неэффективность огосударствленной экономики и директивного планирования, не отвечавшая новым запросам развития производства производительность принудительного труда, отмена системы закрепления крестьян к земле, т. е. крепостничества в деревне, и образование свободной рабочей силы, специфика института фондирования, сниженная ценность денежных доходов и особая роль натуральной формы доступа к благам и услугам, а также дефицит и сопутствовавший ему «блат» как способы воспроизводства дистрибутивной экономики.

Ленин не раз выражал недовольство тем, как проводилась национализация большевиками. Он отмечал, что они больше «набили», «наломали», чем реально социализировали экономику. Ленин связывал победу социализма не с «кавалерийской атакой на капитал», а с достижением более высокой по сравнению с капитализмом производительности труда. На практике социалистические устремления обернулись утверждением административно-командной системы (АКС). Исторически она лучше всего подходила к возможностям России как стране запоздалой индустриализации. Элементы АКС появились еще до большевистской революции. Экономисты выделяют следующие этапы развития АКС в России:

1913 г. – 1928 г.	– переход от рыночной экономики к планово-централизованной модели;
1928 г. – 1940 г.	– период становления основ АКС;
1950 г. – 1970 г.	– расцвет АКС;
1970 г. – 1989 г.	– период упадка АКС;
1990 г. – 1993 г.	– период ликвидации АКС [261].

Развитие административно-командной системы базировалось не только на принудительных методах хозяйствования, но и на таком типе работника, для которого характерен «дотоварный индивидуализм» [261]. Такому работнику не нужна была рыночная система хозяйства. Поэтому с такой легкостью произошел отказ от НЭПа. В отличие от индивидуализма работника товарного и капиталистического производства дотоварный индивидуализм предполагает, что работник стремится не переработать больше других [261]. В отличие от рынка, выполняющего функцию экономического «селектора» в системах рыночного типа, огосударствление экономики в советском обществе играло роль «интегратора», решая задачи индустриальной модернизации в условиях отсутствия необходимых технологических и социально-экономических предпосылок. Если рынок, который выполняет также и интегративную функцию, интегрирует экономическую систему снизу, то государство в СССР интегрировало экономику сверху. Инструментами такой интеграции служили

политика дирижизма, создание предприятий союзного подчинения, строительство моногородов, где какое-то одно производство обеспечивало занятость проживавшего в них населения. Благодаря своему интеграционно-мобилизационному потенциалу Советский Союз мог решать в исторически сжатые сроки жизненно важные для него задачи. В СССР сформировалась вторая после США промышленность и второй в мире научный комплекс [81, с.28]. В начале 80-х гг. на долю СССР приходилось до 2/3 всех открытий и изобретений, сделанных в мире [216, с.47].

Тем не менее, перестройка экономики на основе достижений научно-технической революции носила «анклавный характер». Эти достижения в основном внедрялись в военно-промышленный комплекс и освоение космоса. На рубеже 50-х – 60-х гг. советская экономическая система стала терять «свой модернизационный потенциал» [81, с.29]. Проводившаяся в середине 60-х гг. экономическая реформа завершилась неудачей, хотя и «способствовала улучшению дел в промышленности» [157]. С 1966 г. по 1970 г. промышленное производство в СССР возросло на 50%. В 1971 – 1975 гг. – на 43%, в 1976 – 1980 гг. – на 24%, в 1981 – 1985 гг. – на 20%, а в 1986 – 1990 гг. – на 13% [157]. Само по себе снижение темпов роста производства еще не говорит о неэффективности советской экономической системы. Такое явление наблюдается и в западных рыночных экономиках, когда наступает период рецессии. Более важным является понимание причин неуклонного падения роста промышленного производства в СССР. Отличие советской экономической системы от западной состоит не просто в подавляющих экономическую целесообразность масштабах огосударствления народного хозяйства, а в том, что решающим фактором роста производства в Советском Союзе был рост числа занятых в промышленности. Постепенно число занятых сокращалось. Если в 60-е – 70-е гг. их численность увеличивалась каждую пятилетку на 20%, то в 1981 – 1985 гг. она возросла только на 3,3%, а в 1986 – 1990 гг. вообще сократилась на 1% [157]. В свою очередь сокращение числа занятых работников было вызвано падением рождаемости в Советском Союзе. Тем самым экономика страны лишалась главного ресурса промышленного роста, без которого она обрекала себя на поражение в соревновании с капитализмом.

Неэффективность советской плановой системы нерыночного типа создала благоприятные условия для формирования административного рынка. Свою лепту в его появление внесла и неэффективность принудительного труда. Восстания заключенных в некоторых лагерях показали уязвимость жестко централизованного планирования. С отказом, например, добывать руду рушилась вся производственная цепочка и страна, таким образом, могла лишиться металла, высокими темпами производства которого в СССР очень гордились, выдавая это за преимущество советского строя. Поэтому необходимо было искать другие механизмы, не столь одиозные и более современные. Отмена системы закрепления крестьян к земле (к своим колхозам) была обусловлена не только более реалистичными подходами бывших соратников Сталина к решению аграрного вопроса. Дело в том, что, несмотря на запрет крестьянам выдавать паспорта и переселяться в города, колхозникам все равно удавалось его нарушать. Отмена крепостничества в деревне создала новую ситуацию. Крестьяне начали получать паспорта, которых они были лишены с 1932 г. Процесс паспортизации занял около 20 лет – с 1958 по 1974 гг. За этот период миграция сельского населения постоянно увеличивалась. Так, только с 1960 по 1964 гг. в города переехало 7 млн. селян [137]. Таким образом, был запущен процесс социальной горизонтальной мобильности. В 60-е гг. на контрактной основе стала формироваться «свободная

рабочая сила», необходимая для функционирования любого рынка, в том числе административного, и связанной с ним теневой экономики [93]. Процессу образования административного рынка содействовал и институт фондирования. Ведомства, монопольно распределявшие фонды, практиковали так называемые «приставки» в виде надбавок к фондам за сверхплановую продукцию или в виде льготной продажи дефицитных ресурсов (транспорта, техники, стройматериалов) [96, с.64]. Конститутивный, по Я. Корнаи, характер дефицита для советского строя закономерно порождал административно-теневую экономику [210]. По мнению Ю. Левады и А. Левинсона, дефицит является инструментом, с помощью которого государство как распорядитель ограниченного ресурса осуществляет оперативное и стратегическое управление обществом [98, с.247]. Такая роль дефицита в свою очередь связана с «извращением нормальных денежно-рыночных отношений», которое «понижало ценность увеличения денежных доходов в качестве источника благосостояния. Столь же (если не более) существенной была возможность получить доступ к благам и услугам в натуре» [81, с.123]. Стиглиц объясняет появление административного рынка реакцией хозяйственников на нехватку у предприятий ресурсов, необходимых для выполнения «плановых заданий». Он пишет: «Предприимчивые хозяйственники вступали в торги, чтобы обеспечить себе возможность выполнить задания, при этом позволяя себе блага в несколько большем объеме, чем они могли бы иметь на свою официальную заработанную плату. Эта деятельность была необходимой для того, чтобы ... приводить в движение советскую систему, но она вела к коррупции, которая только ... возросла, когда Россия начала переход к рыночной экономике» [211, с.171].

Административный рынок представлял собой «многомерно иерархизированную синкретическую систему», где экономические и политические институты совпадали [93]. В этом плане он повторял способ организации всей советской системы, базировавшейся на вертикальных связях. «Пространство социальной жизни – пишет С. Кордонский – и административно-территориальное деление (районирование) в СССР идентичны» [93]. Поэтому производственно-отраслевая иерархия совпадала с административно-территориальной. Каждое предприятие принадлежало тому или иному министерству и было приписано к конкретной территории. Над низшей единицей отраслевого деления – предприятиями – надстраивались тресты, главки, министерства республиканского и союзного значения, а над низшей единицей территориального деления – районами – находились города, области, автономные и союзные республики. Кроме того, были предприятия, находившиеся под юрисдикцией исполкомов местных Советов, и предприятия, не подпадавшие под юрисдикцию местных органов советской власти и потому находившиеся в ведении партийных организаций, расположенных на данной территории – райкомов, горкомов, обкомов, центральных комитетов КПСС союзных республик. Административный рынок не был рынком в обычном смысле этого слова. Наличие развитых в рыночной экономике горизонтальных связей заставляет даже такие иерархические институты, как биржи и банки, работать на потребителя. В рамках административного рынка центральной фигурой является не потребитель, а тот, кто распределяет товары и услуги. Другими словами, базовыми отношениями в такой системе оказываются «отчуждающе-распределительные» отношения. Поскольку вышестоящие инстанции изымали часть промышленных, продовольственных товаров или сырьевых ресурсов у нижестоящих уровней данной иерархии, чтобы их перераспределить в пользу тех, кто в этом больше

нуждался, то отрасли и регионы стремились отдать меньше, а получить больше. «Торг между смежными уровнями административно-территориальной иерархии, сопряженный с административным торгом между отраслями народного хозяйства, и составлял административный рынок» [93]. В такой системе главными акторами становились непродавец и покупатель, а носители структурированных иерархическую систему политических статусов. Критерий эффективности деятельности на административном рынке определялся не экономическими показателями, а повышением статуса во властной иерархии. Поэтому на административном рынке шла постоянная борьба за обладание политической рентой. Под политической рентой понимается «часть валового внутреннего продукта, которая присваивается лицами, организациями, группами не в результате их хозяйственной деятельности, успехов в конкуренции ... или в техническом прогрессе, не в соответствии с объемом и эффективностью используемых капиталов, но в итоге прямого или косвенного перераспределения ВВП с помощью государства, через создание государством привилегий, льгот для некоторых субъектов и секторов экономической деятельности» [81, с.75-76]. Административный рынок – это экономика статусных рент. В ней вместо новаций требовалось повышение статуса предприятия, треста, министерства в производственно-отраслевой иерархии или республики, области, города, района в административно-территориальной иерархии. Такой характер экономической системы наложил отпечаток на модернизацию советского общества. Модернизация в таком обществе «сводится, прежде всего, к перераспределению материальных и социальных ресурсов» [24, с.324].

Логическим завершением принципов административного рынка стала теневая экономика. На административном рынке выше стоящие отраслевые и административно-территориальные организации забирали у ниже стоящих инстанций произведенный ими продукт, чтобы затем перераспределить его в соответствии с приоритетными направлениями развития народного хозяйства страны. В его «теневом» секторе действовавшие в нем акторы, – а они были те же (партийные и государственные органы разных уровней иерархии) – сами определяли приоритетные цели развития, стремясь обеспечить подведомственную территорию жильем, инфраструктурой, объектами бытового и культурного назначения [93]. В результате на местах между партийными комитетами и отраслевым руководством развивались торгово-обменные отношения, при которых, например, за право строительства на данной территории (района, области, республики) какого-либо предприятия отраслевые руководители давали дополнительные фонды, дефицитные товары, увеличивали нормативы снабжения местного населения продовольственными продуктами, повышали закупочные цены [93].

Другим аспектом развития теневой экономики стало появление подпольного промышленного и торгового капитала. В 60-е гг. возникали подпольные цеха по производству мануфактуры. Впоследствии промышленный капитал был оттеснен торговым и банковским капиталом. В 70-е гг. в Москве открылся частный банк, в стране появились люди с большими деньгами, ссужавшие их подпольным предпринимателям [99, с.65]. В 1973 г. на долю теневого сектора СССР приходилось примерно 3% ВВП, а в 1990–1991 гг. – уже 10-11% ВВП [158]. По мнению М. Черныша «рынок труда в СССР соединял в себе черты примордиального и развитого рынка» [100, с.102]. «Капитализация» общественных отношений в СССР 60-х – 80-х гг. не была похожа ни на зарождение капитализма на Западе, ни даже на нэповский капитализм 20-х гг. в Советской России. В первом случае «совет-

ский капитализм» отличало то обстоятельство, что его развитие началось с «разрешения» и при прямом участии государства, а во втором – его нелегальный (до второй половины 80-х гг.) характер. По словам М. Кастельса, теневая экономика оказалась «глубоко связанной с коммунистической номенклатурой», превратив страну в «гигантский спекулятивный механизм» [101, с.479]. Как подчеркивают И. Клямкин и Л. Тимофеев, «российская система теневых отношений есть ... приватизированное государство», чьи «функции, которые должны быть исключены из рыночного оборота (... функции суда или армии), утрачивают характер общественного блага и становятся объектом купли-продажи» [95, с.12]. Такое «приватизированное государство» российские социологи называли «теньвым парагосударством». Некоторые исследователи приняли такого рода процессы за капитализм. Так, например, М. Воейков пишет, что «советский тип социально-экономической системы» «правильно связывать ... с ... буржуазными производственными отношениями» [1, с.447]. На деле административный рынок и теневая экономика – это не капитализм современного типа в смысле Вебера. Они не стимулировали рост производительности труда, развитие рациональной организации производства и научно-технический прогресс. Они строились на обменно-торговых отношениях распределительного типа, где доступ к товарам обеспечивал статус, ранг, а не деньги. Поскольку обмен ресурсами в рамках института административного рынка осуществляется не посредством денег, а на основе властных полномочий выше стоящих статусных групп и полезных социальных связей, обменные процессы здесь носят персонифицированный, а не обезличенный характер, как на капиталистическом рынке. Административно-рыночные отношения не содействовали становлению инновационной экономике, а лишь демонстрировали нежизнеспособность централизованного планирования. Административный рынок базируется не на господстве экономического капитала, а на доминировании политического капитала. Основной целью последнего является сохранение или расширение властного ресурса. Чем его больше, тем больше доступ к жизненно важным благам общества. Другими словами, на административном рынке доминируют владельцы политического, а также социального капитала. Показатели культурного капитала (профессиональный рост работника и повышение его уровня образования) играли подчиненную роль. Экономика административного рынка отражала процесс перегруппировки агентов социально-экономических действий в рамках существовавшей системы и в лучшем случае представляла собой реакцию на кризис «идеологической экономики» и неудачи проводившихся хозяйственных реформ. Кроме того, административно-рыночная система обуславливала дифференциацию потребления и потребностей советских людей. Она не приближала, а отдаляла советское общество от провозглашенных партией целей достижения социального равенства, социальной однородности и построения бесклассового общества.

Вместе с тем административно-рыночный тип экономики имел некоторые преимущества перед формальными институтами. В ней консолидировались группы частных интересов или субъекты целерациональных действий (по классификации типов социальных действий Вебера) и сети горизонтальных отношений. По словам Клямкина и Тимофеева, «брежневский “развитой социализм”» пытался «примирить свою доктрину с реабилитированными частными интересами» [95, с.284]. Другое отличие административно-теневого рынка состояло в том, что «помимо формальной плановой экономики ... хозяйствующие субъекты и бюрократы были связаны ... сложной сетью неформальных обменных отношений. В определенной степени можно говорить о существовании ... “защитных

реакций” против неэффективности плановой системы ...» [102, с.107]. Административно-рыночная система содействовала вызреванию в недрах советской этакратии неформальных практик, построенных на горизонтальных связях. Социальные сети помогали обходить некоторые иерархические ступени и, соответственно, нарушать формализованные правила игры, важные для функционирования данной иерархии. Административный рынок способствовал демонтажу «идеологической экономики», превращая партию и государство в субъекты торгово-обменных отношений, а сети коррупционных услуг в реально действующий механизм управления. Тем самым прямые функции партии и государства размывались. Эволюция советской системы сопровождалась переходом от директивного планирования к развитию административно-рыночных отношений. Такой вектор развития был инициирован отказом после Сталина от принудительных методов управления народным хозяйством. То обстоятельство, что использование принудительных властных ресурсов перестало занимать определяющее место в структуре основных властных ресурсов (состоящей из утилитарных, нормативных и принудительных властных ресурсов по классификации властных ресурсов А. Этциони [269, с.58]), нарушало логику воспроизводства советской системы, чье существование во многом зависело от функционирования института принуждения. Объективный смысл «либеральной революции» 90-х гг. XX века в России состоял в легитимации административного рынка, ставшего стержневым институтом постсоветского социального порядка.

В этой связи уместно поставить вопрос о том, могло ли в условиях кризиса «идеологической экономики» сформироваться гражданское общество? В советском обществе существовала масса различных общественных организаций. Среди них творческие союзы (писателей, кинематографистов, архитекторов, композиторов, художников, журналистов и пр.), дома (журналистов, архитекторов, актеров и др.), общества (охраны природы, культурных и исторических памятников, по связям с зарубежной общественностью, стройотряды, добровольные дружины, кружки для детей, подростков, ДОСААФ), ВЛКСМ, Комитет защиты мира и др. Подавляющее большинство из них не могло бы существовать без санкции государства. Они выполняли важную для государства функцию экстраполяции его активности в гражданское социальное пространство, в котором государство по тем или иным причинам не решалось присутствовать открыто. Эти организации служили своего рода посредниками – так называемыми «приводными ремнями», связывавшими народ с властью, некими инструментами «обратной связи», призванными обеспечить доверие населения к власти. Такой сегмент социального пространства можно было бы назвать гражданским сектором общества имитационного или зависимого типа. Это еще не гражданское общество в западном понимании этого слова, но уже совокупность организаций или корпораций со своей логикой развития. Их участники могли приобретать элементарные навыки управления, накапливать организационный опыт и социальный капитал. В некоторых из этих структур возникали неконформистские, оппозиционные настроения. Это было свойственно, прежде всего, творческим союзам, несмотря на то, что формально они меньше всего напоминали свободные объединения современного типа. Так, организации писателей, художников становились ареной столкновения официальных идеологических установок и диссидентских взглядов. В начале 50-х гг. группа интеллектуалов – А. Зиновьев, Б. Грушин, Г. Щедровицкий и М. Мамардашвили – создала «Московский методологический кружок» (ММК) (вначале называвшийся «логическим») – некий прообраз будущих неформальных объединений в СССР. Впоследствии каждый

из этих четырех мыслителей внесет «значительный вклад в науку, в философскую культуру и в нравственный климат советского общества» [103]. Хотя ММК не представлял собой политическую оппозицию, он, по словам Мамардашвили, не нес «никаких обязанностей перед марксизмом, как ... социально-политической теорией и течением социализма» [103]. Цель кружка состояла в построении содержательно-генетической логики, противостоящей как классической формальной логике, так и диалектической логике, принятой марксистами. В 1968 г. Г. Щедровицкий подписал коллективное письмо руководителям партии и правительства в поддержку правозащитников. «Результат оказался ... неожиданным: доклады и лекции Щедровицкого – пишет Б. Докторов – стали расходиться по стране во множестве магнитофонных записей – “как песни Владимира Высоцкого и монологи Михаила Жванецкого”» [103]. В 1968 г. небольшая группа инакомыслящих (среди них был П. Литвинов – внук наркома иностранных дел СССР в 30-е гг. М. Литвинова) вышла на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. В 60-е – 70-е гг. появились литературные объединения и религиозно-философские семинары. Построенные на горизонтальных связях, сетевых отношениях, они представляли собой добровольные ассоциации, своего рода клубы по интересам. В них духовно ищущие люди искали ответы на вопросы, поставленные развитием литературы и религиозной философии. Литературные объединения и религиозно-философские семинары составляли сегмент неформальных, неофициальных институтов советского общества. В 70-е гг. Академия наук СССР отказалась исключить А. Сахарова из своих рядов за критику им советского строя. В 70-е и особенно 80-е гг. шла бескомпромиссная полемика между журналами «Молодая гвардия» и «Наш современник», с одной стороны, и журналами «Новый мир» и «Дружба народов», с другой. За этой полемикой, продолжавшей традиционный для русской культуры спор между «славянофилами» и «западниками», стоял идеологический раскол советского интеллектуального сообщества на почвеннические, державные и либеральные, прозападные группы. Поляризация сил отражала противостояние национал-патриотов и западников в верхних эшелонах власти. В конце 80-х – начале 90-х гг. появились общественные неформальные движения и организации, получившие название «неправительственные, некоммерческие» (НПО) [159, с.287-289]. Среди них были организации экологической и политической направленности. На том этапе они ориентировались на изменение общественных отношений и ценностных установок. В тот же период появилось рабочее движение, возглавлявшееся шахтерами. Их забастовки ускорили падение коммунистического правительства в начале 90-х гг.

Эти и подобные тенденции в советском символическом пространстве указывали на идейные практики, которые противостояли официальной идеологии. В терминах феноменологической социологии П. Бергера и Т. Лукмана они представляли собой ценностно-когнитивную и нормативную легитимацию неформальных сегментов советского институционального порядка. Они существовали не только на уровне повседневных хабитуализированных (опривыченных) или, в терминах В. Парето, «остаточных», еще теоретически не отрефлектированных, «нелогических» действий [241], но и на самом высоком уровне их легитимации, т. е. на уровне «символических универсумов». Символическими универсумами называются системы «теоретической традиции, впитавшей различные области значений и включающей институциональный порядок во всей его символической целостности» [9, с.157]. Но доказывает ли все это существование гражданского общества в СССР? Если исходить из идущего от классического либерализма положения, согласно

которому гражданское общество есть деятельность экономически независимых субъектов, то гражданское общество в Советском Союзе отсутствовало. Более того, в стране не сложилась и политико-институциональная среда, независимая от государства, если не считать краткий период конца 80-х – начала 90-х гг., предшествовавший распаду СССР, когда начали действовать всевозможные «народные фронты» и прочие организации неформалов, больше не нуждавшиеся в поддержке со стороны партии. Но возможен и другой подход, допускающий существование гражданского общества. Оно может рассматриваться как поле острых, напряженных взаимодействий различных «символических универсумов», сообщавших символическую природу советскому гражданскому обществу. И. Клямкин и Л. Тимофеев предпочитают говорить о «квазигражданском обществе». Его особенность они видят «не только в том, что оно замещает государство ... оно ...одновременно и проникает в него, ... образуя густые сети горизонтально-вертикальных неформальных связей – родственных, приятельских, а то и просто криминальных» [95, с.281].

В СССР сформировалась новая для российского социального порядка социальная культура. В ее рамках государство в обмен на лояльность своих граждан гарантировало их основные социальные права, включая право на бесплатное образование и полную занятость населения [187, с.58]. Советский, по выражению К. Виттфогеля, «менеджерский этатизм» [144, р.446] представлял собой индустриальную форму моноцентрической организации общества. Следует заметить, что моноцентрический тип социальной организации не равнозначен тоталитаризму. Например, ни «гидравлические общества» К. Виттфогеля, ни императорская Россия (до и после отмены крепостного права), будучи моноцентрическими, не были тоталитарными обществами. К. Виттфогель отмечал, что при «агродеспотиях» свое (хотя и периферийное) место занимала «демократия», под которой немецкий историк понимал собственность крестьян и ремесленников. П. Сорокин писал, что в России «под железной крышей самодержавной монархии жило сто тысяч крестьянских республик» [45, с.93]. В постсталинский период советский строй тоже уже не был тоталитарным. Его экономика если и не управлялась демократически, то, во всяком случае, допускала наличие соперничавших между собой центров сил со своими группами интересов. Отраслевая структура, освободившись от железной хватки вождя, благоприветствовала складыванию корпораций, в которые превращались в условиях административного рынка ведомства. Это были, конечно, государственные, а не частные корпоративные структуры, но другими они быть и не могли при монополии государственной собственности. В материалах партийных съездов можно найти критику министерств за «ведомственный подход», случаи преобладания ведомственных интересов над интересами общегосударственными. За этой критикой стояло признание факта существования ведомственного «партикуляризма», конфликта ведомственных интересов и общегосударственных. Как отмечают исследователи, в 1960-е – 1970-е гг. «ведомственные структуры», первоначально представлявшие собой неотъемлемую часть «единого государственного организма», «автономизировались и стали преследовать собственные цели» [262]. Такое столкновение групп интересов опровергает расхожее представление о «монолитности» советской общественно-экономической системы и иллюстрирует ее монистически-плюралистический характер.

Таким образом, государство в СССР при всем своем централизме имело не один центр

принятия решений. Даже в советской оборонной науке действовали конкурентные начала (например, такие отношения сложились между КБ С. Королева и КБ В. Глушко). Положение дел в ней отражало соотношение сил между ведомствами (боровшимися за приоритеты в области освоения космоса и создания ракетно-космической техники), и силу их связей с высшей номенклатурой. Тяга к монизму сочеталась с возраставшей «дуализацией («плюрализацией»)» институциональных практик. По своей природе советская система была дуалистична. В политической сфере дуализм выражался в параллельном сосуществовании демократической конституциональной реальности, исходившей из идеи прав человека, и консервативных политических практик, не предусматривавших действие механизма реализации конституционных гарантий советских граждан. В сфере экономики дуальность проявлялась не только в наличии формального («идеологическая экономика») и неформального (административный рынок) секторов. В формальном секторе также сочетались нерыночные (централизованное планирование, социалистическое соревнование, уравнительная оплата труда) и рыночные институты (банки, предприятия, производящие товары, цены). Хотя рыночные институты были полностью подчинены нерыночным институтам и потому не могли выполнять свои функции, они все же служили необходимой предпосылкой для экономической либерализации. Однако реальность такой перспективы целиком зависела от воли высшего партийного руководства. С его разрешения начиналась игра рыночных сил, как, например, в период перестройки, которая заметно усилила элементы плюралистического типа социальной стратификации. Легитимация частного капитала, подспудно развивавшегося до этого в недрах теневой экономики, превратила его в формальный институт советского общества, но при этом не устранила саму сферу неформальных отношений. Подчеркнем, что проявления плюралистического типа стратификации в советском обществе не являются синонимами либерализма и капитализма.

На основе сравнительного анализа многие исследователи находят ряд общих признаков в социальной организации таких стран, как СССР, Германия, Италия, Испания 30 – 40-х гг. XX в. Среди этих признаков: сращивание партии и государства; монополия одной партии на власть; культ вождя; господство одной общеобязательной идеологии; присутствие государства во всех сферах развития общества; видимость единства народа и государства, создающая иллюзию участия масс в делах общества; активность органов политического сыска [172, с.228]. Американский политолог Дж. Линц отличает тоталитарную диктатуру от авторитарной по трем параметрам: по степени развития политического плюрализма; по уровню направленности политической мобилизации; по степени идеологического воздействия. По его мнению, тоталитарная система характеризуется наличием монистического центра власти, а авторитарный порядок допускает в определенных рамках плюрализм. Тоталитарная система мобилизует массы в интересах «самообеспечения», а авторитарный порядок отказывается от направляемого политического соучастия [188, с.118]. Другие исследователи находят общность признаков тоталитарных режимов («грядущее рабство» Спенсера) формальной и больше подчеркивают момент различий, которые они предлагают искать в цивилизационных основаниях и исторических предпосылках развития стран с тоталитарным правлением [172, с.228]. Объяснение такого сходства отсылает к поиску его причин в попытках адаптации моноцентрической организации общества к потребностям в модернизации, традиционалистской реакции на вызовы индустриального модерна, авторитарных тенденциях, порождаемых самим индустриальным обществом. Хотя Г. Спенсер писал о социализме как «самой резкой форме деспотизма», он одновре-

менно предупреждал о том, что индустриализм (при капитализме) несет с собой угрозу принудительной организации общества (подчинение индивида государству, централизованный контроль над обществом) [124, с.75]. В. Ленин отмечал, что «машинное производство» порождает диктаторские методы управления. Б. Вышеславцев видел «имманентное зло индустриализма» в тоталитарной технократии, лишении творчества и свободы личности независимо от классовой природы общества [60, с.348-349]. По словам современного немецкого философа П. Козловски, «левый» и «правый» «тоталитаризм» есть «различные воплощения одного и то же модернистского импульса, одной тотальной мобилизации» [189, с.16]. Однако общества такого типа функционировали в разных цивилизационных контекстах. Отличия их институтов неформальных ограничений (обычай, традиции, ценности и т. п.) делали данные социальные системы разными, определяли особенности соединения в них институтов традиционного общества и индустриальной культуры эпохи модерна. Советский строй отличается как от фашистских режимов, так и от индустриальных демократий Запада, несмотря на наличие ряда общих признаков с обеими формами социальной организации. Содержание советской идеологии и фашистских идеологических программ существенно различается. Существуют различия в конкретно-исторических обстоятельствах, при которых пришли к власти, с одной стороны, большевики в России, а с другой, фашисты в Европе. Наблюдается разное отношение к частной собственности. В СССР она была элиминирована из общественной жизни (за исключением кратковременного периода НЭПа и перестройки), а в фашистских государствах она допускалась, хотя и в лимитированной форме. Национальная политика в СССР, несмотря на все свои эксцессы (депортации народов, появление статуса «репрессированных народов»), несопоставима с фашистской национальной политикой. В отличие от фашистских государств Европы с их расизмом, политикой преследования людей по национально-этническому признаку, в СССР, где провозглашались идеи интернационализма, и большие и малые народы получили свою государственность и возможность развивать национальную культуру. Как пишет Н. Бугай, «существенной особенностью советской государственности явилось создание национально-территориальных образований ... с соответствующим аппаратом власти, претендующих на статус государственности» [268, 202]. Следует также учесть большую социальную выносливость советской системы. В отличие от нее фашистские режимы оказались слабо устойчивыми к резким перепадам социального давления в исторических процессах, рухнув в результате войны. Исключением здесь стал франкизм, который в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. начал проводить политику «экономической либерализации». Советский Союз выказал способность к серьезной эволюции, в ходе которой постепенно расширялось пространство частной жизни и частных интересов.

В советском типе социальной организации присутствовали два институциональных ряда – императивный, идущий от должного (т. е. от того, как должна строиться политическая, социальная, экономическая активность), и реальный, исходящий из сущего (т. е. из того, как она строилась на деле). Разрыв между императивным и реальным рядами, формальными и неформальными сегментами общества порождал специфическую динамику советской социальной системы. Она принимала форму противоречивого взаимодействия между категорией «порядка», чье функциональное назначение заключалось в сдерживании процессов социальной дифференциации, и категорией «прогресса», нацеленного на их высвобождение из хватки порядка. Такая динамика предполагала направление развития, отличное от того, которое имеет место в западных обществах. Она носила нисходящий

характер, заставляя систему клониться к упадку. Этот парадокс объясняется отчасти самой природой социалистического идеала, фиксирующего пункт «остановки» исторического развития, отчасти действием принципа циклизма в русской истории, отчасти специфическим характером трансформации предшествовавшего социального порядка, которая привела к радикальному разрыву с прошлым. В результате возникает «локковская» ситуация *tabula rasa*, когда историческая память приносится в жертву попыткам начать все с «чистого листа», для заполнения которого приходится вновь обращаться к «старым письменам».

2. 4. Социальная структура советского общества

Как и экономика, социальная структура советского социального порядка сложилась в результате взаимодействия партийно-идеологических практик и объективных процессов и потому несла на себе черты внутренней раздвоенности. Ее можно представить в виде двух мало пересекающихся между собой рядов – императивного, выстроенного в соответствии с официальной идеологией, и реального, сложившегося в ходе стихийных (несмотря на руководящую роль КПСС) процессов. Первый уровень носил символический характер и отражал стратегические цели партии в области социальной политики. В этот ряд входили представления о социальной структуре советского общества, состоящей из двух дружественных классов – рабочих и колхозного крестьянства, а также «прослойки», под которой понималась советская интеллигенция, о рабочем классе как гегемоне или ведущей силе советского общества, социальном равенстве и достижении социальной однородности. Второй – реальный – ряд социальных отношений по мере усложнения общественной жизни в СССР все больше расходился с этими идеологически заданными образцами. Эти расхождения выражались в следующем. Во-первых, отношения между самими «дружественными классами» наделены силовым, конфронтационным характером. «Корень конфронтации – пишет Р. Рывкина – всеобщее недовольство всех классов теми условиями, в которых они жили и работали. Отсюда – недоверие к другим социальным группам, ...подозрения, ... непонимание ... проблем других слоев общества» [96, с.103]. Во-вторых, возникли трудности в применении ленинского понятия класса, и выяснилось несоответствие между трехчленной структурой и советской социальной реальностью. Уже в 60-е гг. некоторые советские социологи писали о неприменимости ленинского определения классов к современному им советскому обществу и о людях, профессионально выполняющих управленческие функции, как о самостоятельной социальной группе [92, с.140]. В-третьих, все меньше оставалось оснований считать рабочий класс гегемоном. В начале 60-х гг. была отменена диктатура пролетариата, в 70-е гг. был провозглашен общенародный характер советского государства, шел рост интеллигенции, увеличивалось представительство в партии «нерабочих» социальных слоев, возрастала численность страты управленцев (на 140 млн. занятых в народном хозяйстве приходилось 18 млн. управленцев [96, с.59], т. е. почти 1/7 или около 15 % всех занятых). В-четвертых, марксистское понимание равенства как равенства начальных условий сменилось трактовкой, согласно которой оно заключалось в «обеспечении необходимыми материальными благами» [96, с.104]. В-пятых, от идеи о достижении социальной однородности еще в 70-е гг. отказались, по словам американского социолога Д. Белла, «почти все серьезные советские социологи» [92, с.140].

Все это поднимает вопрос о том, что представляла собой социальная структура со-

ветского общества, была ли она классовой или какой-то иной? Известное ленинское определение классов как «больших групп людей» исходило из трех основных признаков. К ним отнесены отношение к средствам производства, «закрепленное и оформленное в законах», роль в общественной организации труда, «способы получения и размер» «общественного богатства». Два последних признака могут быть отнесены к любой социальной группе, а не только к классам. Поэтому из этого определения остается только первый признак – отношение к средствам производства, – пригодный для определения категории класса. Именно это определение легло в основу марксова понимания классов, которые, по меткому замечанию П. Штомпки, есть «наиболее важные для Маркса типы социальных групп» [13, с.219]. У К. Маркса встречаются дихотомическая и полимодальная модели классовой структуры. Первую, где есть место только буржуазии и пролетариату, Маркс считал законченным, идеальным типом классовой организации при капитализме. Вторая описывала эмпирически наличное состояние классовой структуры. В ней основоположник научного социализма констатировал даже «постоянное увеличение средних классов, стоящих посередине между рабочими, одной стороны, капиталистами и земельными собственниками, с другой» [220, с.636]. Отношения между этими классами Маркс рассматривал не статически, а динамически. Это позволило ему наметить идею социальной мобильности, хотя сам термин он не употреблял. Так, он писал о переходе части рабочего класса в ряды среднего класса [221, с.217]. Кроме классов К. Маркс и Ф. Энгельс выделили и другие типы социальных групп. Анализируя процессы внутриклассовой дифференциации, они наметили подходы к стратификационному анализу социальных отношений. К «низшим слоям» среднего класса были отнесены мелкие промышленники, мелкие торговцы, ремесленники, крестьяне [20, с.431]. Маркс не прошел и мимо «раздробленности интересов и положений, создаваемой разделением общественного труда среди рабочих, как и среди капиталистов и земельных собственников» [222, с.458]. Энгельс писал о «двух привилегированных» категориях британского рабочего класса: фабричных рабочих и крупных тред-юнионах [226, с.281]. Маркс и Энгельс зафиксировали это явление скорее ситуационно, не согласовав его со своей идеей диктатуры пролетариата. Они не предполагали, что «рабочая аристократия» станет одной из причин смены классовой стратегии рабочего движения. Введенная Марксом оппозиция «класс в себе» – «класс для себя» предвосхищала предпринимаемые в современной западной социологии попытки синтеза структуралистского и конструктивистского подходов (П. Бурдьё). Отсутствие способности к самоидентификации, политически осознанного классового интереса, собственного представительства обещает оставить «класс в себе» виртуальным фрагментом социального пространства. Оценка Марксом буржуазного государства не только как «органа по управлению делами буржуазии», но и как «частной собственности» бюрократии [224, с.272], корректировала его представление о частной собственности как главного классовообразующего принципа, дополняя его взглядами на политическую власть как важный фактор социальной дифференциации. Хотя в целом концептуальный аппарат марксизма не пригоден для анализа советского общества, неомарксисты используют представления Маркса об эксплуатации и бюрократии для понимания природы советской социальной системы. О том, правомерен ли такой подход, речь пойдет дальше. Маркса заложил прочные основы для субстанциалистски-экономической концепции классов. Ее придерживаются даже тогда, когда устраняют институт собственности в качестве критерия классовообразования. «Если между ... социальными

теоретиками и существует согласие по поводу модели класса, – пишет Ф. Паркин – то оно касается ... разделения между физическим и умственным трудом» [104, с.231].

Последующий социологический анализ попытался снять односторонности структуралистского направления. Уже у М. Вебера мы встречаем узкую и расширительную трактовки понятия «класс». Согласно первой трактовке существование классов связывалось не просто с наличием частной собственности, а с капиталистической рыночной экономикой или, как сказал бы Вебер, «рыночной ситуацией». Отсюда вытекал вывод о том, что в обществах, где такого капиталистического рынка нет, классы отсутствуют. Вебер считал классы не «сообществами», а «возможной основой совместных действий» [218, с.148]. Он выделил три аспекта классов: объединение людей «специфическим причинным компонентом, касающимся жизненных шансов» социальных групп; понимание такого компонента в виде экономического интереса в приобретении товаров и получении доходов; обусловленность такого компонента ситуацией, складывающейся на рынке товаров или рынке труда. Однако в рамках второй трактовки Вебер сохранил за классами право на существование. Это удалось ему сделать за счет увеличения объема понятия класса. Он дополнил экономический критерий (форма собственности) внеэкономическими критериями (образование, навыки, уровень квалификации) классовообразования. В основе такого типа социальной группы, как класс, у Вебера лежит классовый статус. Кроме «класса собственников» Вебер выделил «коммерческий класс» или «стяжательный класс», составляющий вместе с первым типом класса «привилегированный класс собственников», и «социальный класс», в который были включены «рабочий класс как целое», «нижние средние классы», «лишенные собственности интеллигенция и специалисты», а также «стяжательные классы», «находящиеся в негативно привилегированной ситуации» (квалифицированные, полуквалифицированные и неквалифицированные рабочие) и «негативно привилегированные классы собственников» («зависимые», «деклассированные», т.е. «античный пролетариат», «должники», «пауперь») [105, р.302-303, 305; 218, с.153, 154, 155]. Средние классы у Вебера занимали то же срединное положение, как и у Маркса, но той разницей, что они помещались не между буржуазией и пролетариатом, а между «позитивно привилегированными» и «негативно привилегированными классами собственников» и «позитивно привилегированными» и «негативно привилегированными коммерческими классами». Вебер, расширив границы категории класса, освободил ее от жесткой привязки к категории собственности. В такой трактовке социальные группы, чтобы стать классами, могли отличаться друг от друга не только отношением к частной собственности на средства производства, но и квалификационно-образовательным потенциалом. Вебер внес идею многомерности в понимание социально-классовой структуры. Он не аннулировал марксистскую теорию классов, а сделал ее частным случаем теории социальной стратификации. Наряду с категорией класса Вебер развивал понятие «статусные группы» и «социальные страты». Статусные группы определяются им как «нормальные сообщества», а под «статусной ситуацией» в отличие от экономически детерминированной «классовой ситуации» понимается «любой типичный компонент жизненной судьбы людей, который детерминирован ... позитивным или негативным ... социальным оцениванием почести» [218, с.151]. Термином «социальный статус» Вебер обозначал «реальные притязания на позитивные или негативные привилегии в отношении социального престижа»: образ жизни; формальное образование; престиж рождения или профессии [218, с.155]. Социальная страта у Вебера – это «множество людей внутри большой группы», обладающих определенным видом и уровнем престижа

и возможностью достичь особого рода монополии [218, с.156]. Для страт характерны: стиль жизни, включающий тип занятия, профессии; наследуемая харизма, источником которой служит успех в достижении престижного положения благодаря рождению; присвоение политической или иерократической власти, «такой как монополии, социально различающимися группами» [218, с.156]. Методология Вебера ценна для понимания природы советского общества. Она помогает представить его как поле пересечения классовых и статусных групп, классовых и стратификационных статусов, пространство наложенных друг на друга классов и страт. Так, для анализа социальной структуры советского типа продуктивно понятие «социального класса», ближе всего стоящее к категории страты. Этим понятием можно обозначить такие группы советского общества, как рабочие, средние слои, интеллигенция, специалисты. Анализу социальных отношений в советском обществе релевантны такие аспекты категории страты, как стиль жизни, тип профессии, присвоение политической власти или монополии. Особое значение имеет идея Вебера о тесной взаимосвязи (конвертации) политической власти и экономических привилегий в условиях обществ с доминированием страт, к которым относится и советское общество. Вебер подчеркнул, что «развитие страт ведет к монополистическому присвоению управленческой власти и соответствующих экономических преимуществ» [218, с.156]. Принципиальное значение имеет мысль Вебера об условном характере правил поведения в обществах с сильными позициями страт. В советском обществе, где сила закона лимитировалась идеологическими нормами, получили развитие конвенциональные правила поведения. В таком обществе особую роль играет, говоря словами Норта, институт неформальных ограничений, а конституционализм носит номинальный характер. «Любое общество, – писал Вебер – где страты занимают важное место, в огромной степени контролируется условными (конвенциональными) правилами поведения. Они создаются экономически иррациональными условиями потребления и препятствуют развитию свободного рынка благодаря монополистическому присвоению и ограничению свободного перемещения экономических способностей индивидов» [218, с.156].

Новую возможность для осмысления социальных отношений в советском обществе дает концепция множественности форм капитала П. Бурдьё. Он исходил из взгляда на социологию как на социальную топологию. Поэтому основная категория в ней – это многомерное социальное пространство, построенное «по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, т.е. свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме» [25, с.55-56]. Эти «действующие свойства» французский социолог называл различными видами власти или капиталов, имеющих хождение в различных социальных полях. Наряду с известным из марксизма экономическим капиталом Бурдьё выделял культурный капитал, социальный капитал, символический капитал, формой которого, по его мнению, является политический капитал. Позиции агентов в социальных полях распределяются как по общему объему капитала, так и по сочетаниям своих капиталов, т.е. по весу разных видов капитала в социальных полях [25, с.58;93-94]. Так документ, подтверждающий право владения, указывает на экономическую собственность или владение экономическим капиталом, диплом или ученое звание – на владение культурным капиталом, а, скажем, дворянский титул – на владение социальным капиталом. Однако в теоретическом анализе Бурдьё возникает дилемма между объективистским и субъективистским пониманием природы класса. Эта дилемма досталась в наследство от марксист-

ской идеи различения «класса в себе» и «класса для себя», напоминающей различие между «вещью в себе» и феноменальным миром (миром явлений), установленное И. Кантом. Решение данной дилеммы французский социолог строил на синтезе реализма и номинализма в попытке устранить недостатки каждой из этих теоретико-методологических платформ. Недостаток реализма или «объективизма» французский социолог видел в понимании классов как «реальных групп», а погрешности «номиналистического релятивизма» – в отказе от признания объективно существующего социального пространства. В отличие, например, от кантовской «вещи в себе», существующей вне пространства и времени, невыразимой в человеческих понятиях иначе, чем апофатически, общество – посюсторонняя реальность, воспроизводится в ходе деятельности людей, выражается в имманентных категориях человеческого мышления. Социальное пространство здесь не исключение. Оно как порождение межсубъектных отношений есть их объективация, а не объективная реальность. В терминах философии Канта пространство – априорная категория, задающая (вместе с другими априорными категориями) предметы опыта (но не мира). Соединение реализма и номинализма помогает лишь концептуализировать идею социального пространства, а не доказать его объективное существование. Смещение эпистемологии и онтологии – основной недостаток методологии Бурдьё, который она разделяет с «идеал-реализмом». Не случайно у него возникает противоречие между признанием реальности социальных различий, не сводимых им к «теоретическим артефактам», и отказом признать классы «реальными группами» [25, с.59-60]. Классы оказываются «классами на бумаге» или «возможными классами». Необходимы еще «политическая работа» и «хорошо обоснованная теория», чтобы «бумажные классы» путем мобилизации агентов начали действовать как реальные классы. «С помощью эффекта теории – пишет Бурдьё – мы выходим из чистого физикализма, но не бросаем достижения фазы объективизма: ... социальные классы ... нужно еще “создавать”. Они не даны в “социальной реальности”» [104, с.231]. В целом это противоречие не умаляет значимость символического подхода, но его сочетание с элементами «объективизма» (реализма) делает выводы Бурдьё компромиссными. Поэтому это направление можно охарактеризовать как конструктивистски-структуралистское. Провозглашенная Бурдьё «серия разрывов с марксистской теорией» оборачивается соединением марксистской идеи «класса в себе» с символической трактовкой социальных явлений. Такой синтез объясним, если принять во внимание присутствие в марксизме понятия «класса для себя» как способа символизации социальных отношений и своеобразии социального реализма Маркса, предпочитавшего «концептуалиста» Аристотеля «реалисту» Платону.

Собственно символическое направление старается освободиться от элементов структурализма, более настойчиво подчеркивая трансобъективный аспект в интерпретации класса. Так, Г. Кан относит к «символическому классу» тех, кто зарабатывает «деньги, имея дело лишь с символами, – это продюсеры, издатели, большинство работников средств массовой информации ... Они ... не используют свои руки или орудия труда для ... производства различных товаров» [19, с.184]. В рамках этого подхода понятие класса также связывается с капитализмом, как в этом можно убедиться на примере позиции И. Валлерстайна, готового применить понятие класса в качестве «исторически специфического» концепта только к «капиталистической мироэкономике». Такая трактовка сближает американского социолога с узким толкованием категории класса Вебером, который ограничивал время появления классов эпохой капитализма. С одной стороны, Валлерстайн принимает марксистскую оппозицию «класс в себе» – «класс для себя», называя первый тип классов «становящимися

классами», а второй – «ставшими классами». Но, с другой, он в отличие от многих марксистов и функционалистов не проводит различие между объективным положением класса и осознанием принадлежности к нему. «Объективное положение класса – пишет он – является реальностью лишь постольку, поскольку оно становится субъективной реальностью для группы ...» [106, с.86].

В логику конструктивистски-структуралистского подхода вписывается понимание классов у В. Ильина. «Классовая структура – пишет российский социолог – это явление, характерное лишь для общества, где производство носит товарный характер, регулируется рынком, в том числе и рынком труда и капиталов» [104, с.225]. Ильин исходит из характеристики советского строя как государственного социализма, при котором классы уступают место сословно дифференцированной массе государственных служащих. Эта концепция изоморфна представлению Ленина о социализме в предреволюционный период. Тогда социализм рисовался воображению вождя как единая государственная фабрика, где есть управленцы и остальные работники. Сторонники структурно-функционального анализа социальной структуры советского типа обычно приходят к двухслойной модели. Она отталкивается прямо или косвенно от наличия или отсутствия экономического капитала. «Социальная стратификация ... – пишет Л. Беляева – предельно проста: она состоит только из ... номенклатуры и остального общества. Наличие переходных слоев не меняет эту схему принципиально» [107, с.16]. По мнению Л. Беляевой, в советском обществе не могло быть классов из-за отсутствия реального собственника и свободного наемного работника. Кроме того, она относит такое общество к этакратии с его сословной организацией, делая при этом оговорку, что оно является смягченным вариантом этакратического типа стратификации, где занимаемое место в социальной иерархии не закреплено юридически. Н. Тихонова тоже делит советское общество на две основные социальные группы: «управляемых» и «управляющих» [108, с.21-22]. При этом она уточняет специфику социальной структуры советского типа, определяя ее как не просто сословную, а корпоративно-сословную. В ней выделена также небольшая группа среднего класса. В него включены руководство предприятий, творческая интеллигенция, работники ВПК, системы распределения. «Низший» класс состоит из рабочих, колхозников, массовой интеллигенции и люмпенов [108, с.22-23]. Социальная стратификация по принципу принадлежности к управленческому звену трактуется как один из видов неравенства в условиях советского общества. Этот тип неравенства А. Бутенко даже возвел в ранг основного противоречия «советского социализма». Согласно М. Джиласу, «к новому классу можно отнести тех, кто исключительно благодаря монополии на управление получает особые привилегии и материальные преимущества» [120, с.200]. Деление на эти страты воспроизводит классификацию Г. Моски и В. Парето, построенную на дуальной оппозиции управляющих и управляемых. Утверждение о том, что в любом обществе есть управляющие и управляемые, не выражает всего своеобразия советской социальной структуры, где переплелись классовый и неклассовый типы социальной стратификации. С помощью двухслойной модели можно описать любое общество, независимо от качественных различий конкретно-исторических типов социальных систем. Так, К. Виттфогель выделял в агродеспотических государствах древнего мира тоже два класса – «класс управляющих», к которому он отнес «людей, работающих в государственном аппарате», и «класс управляемых», т. е. «остальную часть населения» [144, р.303]. Двухслойная схема, описывая социальную структуру советского общества как дихотомно-неклассовую стратификацию, явно или неявно исходит из опре-

деляющей роли экономического капитала, порождающего классы частных собственников и наемных работников. Дихотомно-неклассовая модель строится на принципе социального закрытия и тем самым предполагает низкую социальную мобильность. В рамках такой модели трудно объяснить эволюцию советского социального порядка от «азиатского способа производства» к «капитализации» общественных отношений. В ней нет места даже для квазигражданского общества, а средний класс либо зачисляется в ряды «рядовых работников», «исполнителей», либо характеризуется как «средняя масса», которой только предстоит стать средним классом. Дихотомно-неклассовая модель стратификации по-своему логична; раз нет экономического капитала как основополагающего критерия классового деления, то нет и классов. К рассматриваемой модели примыкает модель «одномерной» социальной стратификации Г. Соколовой [214, с.132]. Она выделяет в качестве определяющего стратификационного фактора не финансово-имущественное положение индивида (группы), а «наделение»/«ненаделение» индивида «формальным (административным) и неформальным (политическим) правом распоряжаться средствами производства». Поэтому в таком обществе доминировал политический критерий расслоения общества. Отсюда Соколова делает вывод о том, что экономическая стратификация в советском обществе сводилась к нулю, а профессиональная (в силу уравнивательных тенденций в оплате труда) была незначительной [214, с.132]. Однако доминирование поля политической стратификации не исключало возможность конвертации капиталов. Владелец политического статуса, который в советской иерархии статусов занимал более высокое место по сравнению с экономическим и социально-профессиональным статусами, был способен конвертировать политический капитал в экономический или культурный. Более высокий политический статус обеспечивал и более высокий экономический и социально-профессиональный статус. Так, экономический и социально-профессиональный статусы высокопоставленных партийных и государственных чиновников заметно отличались от соответствующих статусов рядового рабочего, колхозника или служащего. Специфика структурных позиций индивида в советском обществе состоит в том, что высота его статуса задавалась не столько принадлежностью к определенной социальной страте (или классу), сколько принадлежностью к определенному ведомству. Величина персонального ранга зависела не столько от величины ранга той социальной группы, в которую входил индивид, сколько от величины корпоративного ранга той организации, к которой индивид принадлежал. Именно из прав работников наиболее привилегированных ведомств (например, ЦК КПСС) на более широкий круг максимально дешевых и качественных товаров и услуг, который не был доступен остальным гражданам даже за большие деньги, вытекало обладание гораздо большей покупательной способностью, иным объемом и качеством потребления. Куда более скромными возможностями обладал рядовой советский труженик. Так, люди из привилегированных ведомств при небольшой официальной зарплате имели право на отдых на Западе, на покупку дефицитных товаров, на приобретение билетов в театр, на концерт или спектакль с участием отечественных или зарубежных знаменитостей и т. д. [168, с.115]. Кроме того, в распоряжении ведомств с высоким корпоративным рангом находилась «своя» система распределения благ и услуг: «своя» система реабилитации и отдыха, «свое» жилищное строительство, «своя» система подготовки и переподготовки кадров и прочие формы доступа к услугам и благам, закрытого для других [168, с.115-116]. С перестройкой разница в доходах между различными группами населения, в том числе между верхними и нижними стратами, только возросла. Как следует из опросов уже упоми-

навшегося нами совместного советско-американского исследования 1990 г., с утверждением, что «разница в доходах между людьми в нашей стране слишком велика», согласились 84,5% респондентов [247, с.52].

Другая модель стратификационных процессов берет за основу социальной дифференциации внеэкономические формы капитала (политический, социальный, культурный). Такой подход не всегда приводит к признанию наличия классов в советском обществе, но дает развернутую, объемную типологию социальных слоев. По словам М. Черныша, «наиболее успешным применением стратификационной модели в целях анализа советского общества можно считать иерархию А. Инкелеса. Ее преимущество и, одновременно, недостаток заключались в том, что она была предложена в тот период, когда Советский Союз все еще обладал статусом сверхдержавы и выступал в качестве образца для общественных преобразований в развивающихся странах, освободившихся от колониализма» [160, с.15]. У американского социолога советское общество представляет собой «лестницу из восьми страт». На ее вершине находится высшее партийно-государственное руководство, на нижней ступени – рядовые крестьяне и заключенные, отбывающие срок в исправительно-трудовых лагерях. Между верхними и нижними стратами Инкелес расположил представителей интеллигенции, различавшихся уровнем влияния в сфере принятия решений, и рабочих, поделенных «на элитные квалифицированные, средние и рядовые слои» [160, с.15]. По мнению М. Черныша, положенная в основу этой классификации категория социального статуса является недостаточной для понимания социальной структуры советского общества. Основное возражение российского социолога против понимания советского общества как статусного сводится к тому, что «в советском обществе, взятом на острие его исторической эволюции, не было жесткой привязки индивида к социальным нишам» [160, с.16]. По пути, проложенному Инкелесом, пошли многие западные и российские исследователи социальной структуры советского общества. Британский социолог Д. Лэйн предложил стратификационную схему, выдержанную в духе «неовеберовской модели» анализа «государственного социализма». Эта модель строится на использовании четырех основных критериев: политического контроля, дохода, профессии и статуса или формы потребления [169, с.47]. В социальной структуре советского общества периода перестройки Лэйн выделяет следующие основные страты. Высшая страта состоит из (1) правящей элиты (правительственной, хозяйственной, военной, элиты общественных организаций), (2) высшего слоя интеллигенции (включая управляющих крупными предприятиями). Средняя страта образована из (3) интеллигенции среднего и более низкого уровня, среднего руководящего персонала, ИТР, административного управленческого персонала малых предприятий, бригадиров, руководящих работников физического и нефизического труда, (4) частных предпринимателей (кооператоров, торговцев, фермеров), (5) квалифицированных рабочих, мастеров и бригадиров. Низшая страта включает (6) рядовых клерков и работников сферы обслуживания, (7) полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих, (8) сельскохозяйственных рабочих. К прочим профессиональным группам отнесены (9) офицеры и сержанты Вооруженных сил, (10) заключенные, (11) пенсионеры/безработные и (12) студенты [169, с.49-51]. Выдвинутая В. Радаевым и О. Шкаратаном концепция социальной структуры сочетает признаки стратификации по месту во властной и профессиональной иерархии. Для них советская система – это ранговая система, где положение индивида в социальной иерархии задается прежде всего формальными рангами, как унаследованными, так и приобретенными (персональными и корпоративными) [109, с.270-271]. Вместо клас-

сов они выделили в советском обществе страты. К ним отнесены правящие слои (политическое руководство, высшие функционеры и управленцы – партфункционеры, госчиновники, руководители силовых ведомств, директора крупных госпредприятий); передаточные слои (руководители и функционеры среднего и низшего звена); исполнительские слои (специалисты без руководящих должностей, низшие служащие, рабочие разного уровня квалификации); «иждивенцы» (учащиеся, пенсионеры); «парии» (деклассированные элементы, люмпены, безработные, заключенные, рядовые срочной армейской службы) [109, с.272]. Соглашаясь с этой схемой, Л. Беляева внесла в нее лишь две поправки. Она предложила отнести к исполнительским слоям солдат-срочников и рядовых колхозников, которых в стратификационной схеме О. Шкаратана и В. Радаева нет. В предложенной Т. Заславской стратификационной модели на первое место поставлен профессионально-должностной статус. Она выделила четыре наиболее крупные социальные группы советского общества: правящий класс («номенклатура»); средний класс, состоящий из директорского корпуса и части интеллигенции; низший класс «наемных работников» (рабочие, колхозники, интеллигенция средней и низшей квалификации); «социальное дно» [108, с.15-16]. В отличие от Радаева и Шкаратана Заславская предпочитает использовать категорию класса. В русле понимания социальной структуры советского общества как поля взаимодействий неэкономических форм капитала находится и концепция социально-учетной группы С. Кордонского. Согласно российскому исследователю социальный статус советского человека определялся занимавшимся им местом в территориально-отраслевой иерархии. Статус слагался из набора социальных характеристик – пола, возраста, социального и этнического происхождения, места работы, профессии, семейного положения, прописки, – определявших положение индивида на социальной лестнице. Концепция социально-учетной группы также основана на идее наложенных друг на друга различных стратификационных систем (физико-генетической, этнократической) и рангов (персональных и корпоративных). Нижний предел в их иерархии образовывали социальные группы с минимумом гарантированного потребления (например, жители неперспективных сельских поселений), а верхний предел – группы с максимумом гарантированного потребления (столичные чиновники высших рангов). Построение такой социальной структуры «означало конструирование общества с заданной априори степенью социальной неоднородности, такой, как различия между рабочими, крестьянами и служащими. Внутри групп было проведено ранжирование в зависимости от важности страты ... в функционировании всей структуры» [93]. По словам С. Кордонского, «огосударствленная» социальная структура строилась на отношениях распределения и потребления, объем и качество которого обеспечивал размер политического, социального и культурного капитала.

Социальная структура советского общества представляла собой сложное взаимодействие процессов стратификации символического и реалистического, классового и сословного типа, практик предписанного статуса и меритократических стратегий. Сконструированная, выражаясь словами Кордонского, под «высокую цель достижения социальной справедливости», социальная структура заведомо приобретала символическое значение. В ней искусственно выделялись в соответствии с выдвинутым идеологическим требованием «нужные» данному обществу классы, которых должно быть ни больше и ни меньше, чем два [93]. Символичность классовых отношений в советском обществе выражалась и в иерархии символических статусов. Наиболее высоким символическим статусом обладал рабочий класс как «класс-гегемон». Этот статус утверждался в партийных документах, при-

нимавшихся на съездах КПСС, научных трудах, средствах аудиальной и визуальной пропаганды. Так, на советских плакатах образ рабочего постоянно помещался на передний план, а, скажем, образ представителя интеллигенции – на второй. С этой точки зрения интересна воздвигнутая в 30-е гг. В. Мухиной 24-метровая монументальная композиция из нержавеющей стали «Рабочий и колхозница». Она символизирует нерушимый союз двух трудовых классов как залог социального мира в советском обществе, но образ интеллигенции в ней отсутствует. Отведенное интеллигенции в символической иерархии последнее место закреплялось отказом называть ее классом. По тем же идеологическим причинам запрещалось упоминать понятие «средний класс». Все это не означает, что на деле не было рабочего класса или крестьянства как реальных классов или интеллигенции как реальной социальной группы. Между ними существовали реальные различия, несмотря на провозглашенную партийно-государственным руководством страны программу ликвидации различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом. Но символический статус этих групп резко расходился с их реальным статусом, прежде всего это относится к рабочим и интеллигенции. На классовую структуру накладывалась сословная, а на меритократический принцип стратификации – предписанный. В. Радаев и О. Шкаратан отмечают, что понять природу социальной стратификации в СССР можно лишь на основе анализа такого общества как комбинации разных стратификационных систем. В ней переплетаются элементы этакратической, сословной, физико-генетической (например, геронтократия как принцип доступа к высшим властным позициям), культурно-символической (стремление к крайней идеологизации и вместе с тем к научной рационализации принимаемых решений), культурно-нормативной (формальные и неформальные стандарты поведения), в меньшей степени кастовой и рабовладельческой (заключенные ГУЛАГа) стратификации [109, с.58-61]. По мнению В. Радаева и О. Шкаратана, основополагающей стратификационной системой в СССР был этакратизм. «Применительно к данному обществу – продолжают российские исследователи – правомерно в принципе обсуждать вопрос и об элементах сословной стратификации (они соседствуют с каждой этакратической системой). В данном случае сословные элементы проявляются в принадлежности к определенным политическим и экономическим корпорациям. Например, существенную роль для социального продвижения здесь играет деление на членов партии и беспартийных, которое напоминает членение сословного характера, увязанное с объемом прав и обязанностей перед партokratическим государством. Правда, это скорее аналогия, чем строгое определение. Потому что формально-юридически роль членства в партии в занятии престижных постов нигде не фиксируется. И партийность как статус по наследству не передается. В несколько большей степени походят на сословные деления установленные различия между работниками государственных предприятий и колхозниками. Ибо приниженное положение последних, обложение их дополнительными государственными повинностями официально увязывались с “недоразвитой” колхозно-кооперативной собственностью. ... до выдачи паспортов это “сословное” положение колхозника было ... наследственным» [109, с.59-60]. Сословное деление советского общества закреплялось в сложной иерархии социальных (уже не только символических, а вполне реальных) статусов. В ней наблюдалось несоответствие символического, формального и реального статусов. Его усиливал принцип «умножения статусов». Оно имело место на вертикальном и на горизонтальном уровнях. Так, например, в соответствии со статусом руководителя предприятия формально только он один мог распоряжаться ресурсами предприятия. Однако реально этими ресурсами могли рас-

поряжаться выше стоящие инстанции – работники парткомитетов, исполкомов местных Советов, трестов, главков, министерств, т.е. обладатели большего политического капитала или более высокого статуса [93]. Несоответствие статусов наблюдалось и там, где функционеры занимали должности одного уровня иерархии. «Функционер, член координационного органа управления, – пишет С. Кордонский – имел более высокий статус в системе управления, чем другой функционер равного ранга ... в иерархии, но не входящий в ту или иную коллегию» [93]. Совмещение или «умножение» разных статусов, в том числе формального и неформального, было характерно и для нижних страт. Рабочий завода или сотрудник НИИ, могли, например, в период отпусков стать «шабашниками», работавшими на контрактной основе и за оплату, превышавшую их месячный заработок на официальной работе. Они строили коровники (для колхозов), асфальтировали дороги, занимались ремонтными работами. «Статусный разрыв», которым мы называем не формально закреплённые различия между рангами в иерархии управления, а нелегитимные несоответствия между формальными и реальными рангами, увеличивал статус «посредников» или «блатных». Роль этой категории акторов подмечена в ряде художественных фильмов. В фильме «Гараж», вышедшего на экраны страны в конце 70-х гг., показана фигура «блатного», точнее «блатных» (директора рынка и сына академика Милосердова). Директор рынка пробивала строительство кооперативного гаража. Зная, как сложно было добиться его разрешения в советское время, понимаешь, что без согласования с партийными и хозяйственными органами получить такое разрешение было невозможно. Приняв в свои ряды сына академика, члены кооператива могли использовать имя последнего в качестве своего рода «идеологического» прикрытия своей деятельности. Одна из героинь фильма признается в том, что члены правления кооператива «даже закон нарушали». Полнее и ярче образ «блатного» раскрыт в фильме «Прохиндиада» (1984 г.). Главный герой фильма Сан Саныч (его роль сыграл А. Калягин) – рядовой сотрудник НИИ и одновременно неформальный посредник, «блатной» с большими связями, вхожий в министерские кабинеты. Свои «блатные» находились на разных этажах советской системы управления. «Общая координация деятельности в рамках предприятия или организации ... – отмечает С. Кордонский – осуществлялась за счет того, что в каждой организации ... образовалось внеструктурное (т.е. не фиксированное в штатных расписаниях) место, которое занимал работник предприятия, включенный во все конфликтные отношения, не обладавший формальной властью для их разрешения. ... Функционеры этого типа ... называются посредниками (или «блатными»), так как через них реализовались специфические торгово-обменные отношения» [93]. Блат в дистрибутивной экономике выступал в качестве показателя величины социального капитала, а иерархия неформальных посредников представляла собой иерархию владельцев социального капитала. Иерархия неформальных статусов сужала, как, вообще говоря, логика административного рынка, границы пространства релевантной ранговой системы. Устойчивость и экспансию теневых статусов обеспечивала «подпольная экономика», породившая «теневое парагосударство», основывающееся на «коммерциализации» общественных благ, и существующее лишь в недрах экономики «формальной» [95, с.11-12].

В рамках административного рынка и производной от него теневой экономики развивались патронажно-клиентарные формы социального обмена – отношения, обеспечивающие участвующих в них акторов необходимыми ресурсами при неравенстве в обладании политическим и социальным капиталом и, следовательно, социальных статусов [275]. Основанный на личных, неформальных отношениях, скрепленных неписанными дого-

воренностями или обязательствами, клиентелизм был важной формой «деконструкции» советской формальной системы общественных отношений. Надо сказать, что патронажно-клиентарная система существует при самых разных социально-экономических порядках. Ее можно найти и при частнособственническом строе и жестко этатистском. Не мешает клиентелизму и разнообразие политических режимов, будь то парламентская демократия или гражданские и военные диктатуры. Почвой ее возникновения является неповоротливость и низкая эффективность работы бюрократической машины, а также кризис старых форм управления. Клиентелизм наглядно показывает несоответствие идеального типа бюрократии, выведенного М. Вебером, реальным условиям, в которых функционирует тот или иной социальный порядок. Однако клиентелизм не разрешает противоречия бюрократического управления, а находит там питательную среду для своего существования. Наличие патронажно-клиентарной системы в тех или иных обществах не делает их одинаковыми. Необходимо учитывать конкретно-историческую институциональную среду, накладывающую свой отпечаток на клиентелизм. В Советском Союзе было несколько причин, вызвавших его появление. Назовем некоторые из них: однопартийная система; огосударствленная экономика; высокий уровень концентрации власти в руках небольшого круга владельцев символического, т. е., согласно П. Бурдьё, информационного и политического капитала, или производителей идеологических и политических «норм»; «беличий труд большевистских ведомств» (по выражению Г. Федотова) с их ориентацией на свое самосохранение и воспроизводство своей деятельности по принципу «бега по кругу»; слабая обратная связь между обществом и властью; развитие административного рынка и теневой экономики; номенклатурный способ рекрутирования кадров, включающий принцип формирования элиты по признаку «родственно-дружеских кланов» [65]; преобладание в системе формальных «правил игры» традиционных действий над действиями целерациональными и ценностно-рациональными (по терминологии М. Вебера). Клиентелизм размывал формальные «правила игры» в социальной иерархии вообще и в партийно-государственной в частности. Патронажно-клиентарные отношения усиливали автономность локальных социальных сетей. В то же время клиентелизм не разрушал иерархию как таковую, а, скорее, укреплял ее с помощью сетевых отношений. В рамках клиентелизма выстраивалась новая социальная иерархия с другими правилами поведения и ценностными предпочтениями, но с тем же четким разделением на хозяина и подчиненного. Теневая экономика стала естественным и необходимым продолжением развития патронажно-клиентарных отношений. Исследователи выделяют несколько наиболее распространенных форм теневой экономической деятельности и стоящих за ними социальных групп:

- оказание профессиональных и технических услуг вне официально установленного рабочего времени;
- производство на заводах и сбыт в магазинах товаров по ценам, не предусмотренным системой государственного ценообразования («частная продажа»);
- параллельное производство продукции на государственных предприятиях во вне рабочее время с использованием излишков сырья;
- частные строительные бригады (шабашники);
- маклеры, занимающиеся налаживанием контактов, обеспечивающие доставку дефицитных товаров;
- различные формы взяточничества [161].

Кроме того, существовали социальные группы производственно-потребительского, управленческого назначения, создававшиеся «сверху», и чей статус фиксировался в различных постановлениях, инструкциях, циркулярах и прочих официальных документах. Среди них можно выделить ветеранов труда, «ударников с почетными грамотами» и «ударников без почетных грамот»; «ударников производственных цехов» и «ударников непромышленных цехов»; «служащих-ударников» и «служащих-неударников», а также «прогульчиков» и «летунов» [59, с.145].

Особенности статусной иерархии накладывали свой отпечаток и на социальную мобильность. Она принимала как горизонтальные, так и вертикальные формы. Горизонтальная мобильность выражалась в переезде селян в города, горожан из города областного подчинения в областной центр, переходе из одного социального слоя в другой (из крестьян в рабочие, из рабочих в служащие), смене места работы, должности, профессии. Наиболее активно шел процесс миграции сельского населения. Именно в советский период Россия стала урбанистической державой. Если в начале XX в., т.е. в период существования Российской империи, городское население составляло примерно 13% от общего населения страны, то к концу XX в. оно составило более 70% [110, с.17]. Массовый характер носил переход и из крестьян в рабочие, а также из рабочих в ряды интеллигенции. Если в 1924 г. было 10,4% рабочих и 4,4% служащих от общей численности населения, в 1928 г., – соответственно, 12,4% и 5,2%, то в 1939 г. – 33,5% и 16,7%. С 1951 по 1980 гг. ежегодный «отток» из деревни приближался к количеству 1,7 млн. чел. [24, с.353]. Если в 1940 г. доля рабочих в занятом населении составляла 40%, то в 1989 г. – 65,4% [24, с.354]. На рубеже 80-х – 90-х гг. в промышленности России удельный вес высококвалифицированных рабочих составлял 4,9%, среднеквалифицированных – 78,3% и рабочих низкой квалификации – 16,8% [24, с.355]. Для сравнения отметим, что к концу 80-х гг. в США на долю рабочих высокой квалификации приходилось 43,6%, средней квалификации – 40,9% и неквалифицированной рабочей силы – 15,5% [24, с.356]. В советском обществе шел постоянный процесс сокращения аграрного населения и его абсорбции городским населением, происходил рост численности некоторых групп рабочего класса. Это касалось прежде всего рабочих средней квалификации. При этом очевидно численное превосходство рабочих низкой квалификации над рабочими высокой квалификации. По словам В. Толстикова, «в Российской Федерации, как в целом в СССР, вплоть до середины 80-х годов, происходил рост абсолютной численности рабочих доиндустриального и индустриального типа ...» [24, с.356]. В 20-е – 30-е гг. важным каналом социальной мобильности был процесс формирования народной интеллигенции. К 1939 г. 950 тыс. человек, вступивших в партию как рабочие и крестьяне, вошли в ряды интеллигенции, составив 11% этой страны [24, с.317-318]. К середине 60-х гг. интеллигенция составляла 25 млн. чел., т.е. около пятой части советской рабочей силы [92, с.138]. Согласно проведенным тогда социологическим исследованиям немногие дети из рабочих семей хотели стать рабочими, еще меньше – колхозниками, зато большинство стремилось получить высшее образование и войти в ряды интеллигенции [92, с.139]. В вопросе о соотношении понятий интеллигенции и среднего класса у российских исследователей нет единого мнения. УТ.Заславской, как было отмечено выше, только часть интеллигенции входит в средний класс. По мнению В. Ильина, «использование категории ... класса не очень удачно, так же, как и понятия “средние классы”. Точнее говорить о средних классоподобных слоях» [111, с.89]. Не без колебаний допускает существование среднего класса в СССР Р. Рыв-

кина, называя его «псевдосредним классом». К нему она отнесла секретарей ЦК КПСС, других уровней партийной иерархии, министров, а критерием принадлежности к нему считает участие в качестве «субъекта рынка» [111, с.91]. Не соглашаясь с этой точкой зрения, М. Воейков полагает, что «ученые, профессора вузов, министры, политические деятели ... субъектами рынка не являются ... даже в самой цивилизованной стране» [111, с.91]. Однако выдвинутый Рывкиной критерий не так далек от советской реальности, если принять во внимание господство административного рынка, на котором, как показал Кордонский, партийные и государственные органы выступали в роли институтов административно-рыночного управления. Недостаток позиции Рывкиной в другом. В ней не ясна разница между правящим слоем и средним классом. Позиция Рывкиной близка и точка зрения Заславской, относящей к среднему классу директорский корпус. Известно, что директора считались номенклатурными работниками. Недаром их называли «промышленными баронами», чтобы подчеркнуть их принадлежность к элитным группам. Компромиссную позицию заняли В. Пантин и В. Лапкин. Они предлагают употреблять словосочетание «средний класс» в кавычках, поскольку, по их мнению, процесс формирования «полноценного и самостоятельного среднего класса так и не завершился» в советское время [112, с.100]. Они признают, что в результате изменения политического режима, быстрого роста урбанизации, образовательного уровня, некоторого повышения уровня жизни в 60-е – 70-е гг. средние слои стали перерастать рамки «интеллигенции как прослойки» и представлять собой аналог «нового среднего класса» в странах Запада. Они приходят к выводу о том, что важное отличие советских средних слоев от западного среднего класса состоит в отсутствии «экономической и политической самостоятельности, ... независимой основы в виде интеллектуальной и овеществленной собственности. Советский “средний класс”, как, впрочем, и почти все остальные слои общества, был полностью огосударствен, жестко зависим в своей деятельности от господствующего режима» [112, 100]. По мнению А. Автономова, в СССР в 70-е – 80-е гг. средний класс существовал и даже был самым многочисленным [113, с.110]. А. Фурсов различает в категории «интеллигенция» два разных социальных типа. К первому он относит «профессионалов интеллектуального труда», в чьей деятельности профессионально-специализированная функция ... доминирует над прочими» [87, с.46]. Ко второму типу российский исследователь относит «собственно интеллигенцию», т.е. «такой сегмент работников интеллектуального труда, в деятельности которого статусный и потребленческо-символический аспекты доминируют над интеллектуально-профессиональными» [87, с.46]. Под статусными и потребленческо-символическими аспектами Фурсов подразумевает два момента. Во-первых, статусное потребление западных идей, образов, книг, кинофильмов и пр. Во-вторых, притязания на «исключительную монополию на такое потребление», а также на «интерпретацию “потребляемых” объектов». Некоторые исследователи предпочитают идентифицировать понятия интеллигенции и среднего класса. Для этого они используют в качестве основных критериев образование, доход и определенную ценностно-поведенческую ориентацию. Вычленение этих критериев приводит Воейкова к выводу о том, что советский средний класс составлял от 70% до 75%, а по заниженным подсчетам больше половины всего населения страны [111, с.93]. По словам российского исследователя, части среднего класса была свойственна «буржуазность» в смысле Вебера, т.е. стремление следовать правилам рационального социального поведения. Поэтому «средний класс все больше вовлекался в сферу буржуазных отношений и ценностей. Особенно ярко это стало проявляться в брежневские

времена» [111, с.94]. Е. Стариков использовал в качестве критериев выделения среднего класса уровень доходов, наличие благоустроенного жилья, автомобиля, домашней бытовой техники. Исходя из этих критериев, он оценивал численность среднего класса в 13 % населения [213, с.63]. По мнению Ф. Наумовой, средний класс насчитывал 20 – 30 % [213, с.63]. А. Кустырев, как и М. Воейков, полагал, что средний класс составлял большинство населения Советского Союза [213, с.63]. Как отмечает Г. Соколова, средний класс бывшего СССР выполнял функции социального стабилизатора общества, ведущего агента научно-технического прогресса и носителя социокультурных ценностей. «Другое дело – продолжает белорусский социолог, – что он не был достаточно мотивирован к выполнению данных функций ...» [214, с.131-132].

Подытоживая дискуссии вокруг существования среднего класса в Советском Союзе, следует отметить частичную правоту высказанных выше взглядов. Те, кто отрицает наличие среднего класса, правы в том, что в «огосударственной» социальной структуре он не мог конституироваться в самостоятельную группу интересов. Но следует согласиться и с теми, кто указывает на специфическую ценностно-поведенческую ориентацию советского среднего класса, включающую целерациональные социальные действия, свойственные, по Веберу, классам западных обществ. С учетом сказанного можно предположить, что в СССР существовал средний класс в символическом смысле этого слова. Не обладая легитимированными институциональными рамками, в которых он мог бы формироваться как независимая социальная группа, советский средний класс развивался в плоскости рационализации неформальных ценностно-поведенческих практик, сообщавших ему символическую природу.

Вертикальная социальная мобильность носила гораздо более ограниченный характер. Несмотря на то, что практика выдвижения через систему общественных, комсомольских и партийных организаций расширяла возможности вертикальных перемещений при подготовке управленческих кадров, а «на руководящие позиции отбирали не только по принципу личной преданности (хотя он и был приоритетным), но и по наличию “управленческого капитала”, способности осуществлять руководство» [100, с.103], интенсивная вертикальная мобильность прежде всего локализована теми периодами советской истории, когда происходила кардинальная смена элит. Интенсивная вертикальная (и, конечно, нисходящая, а также горизонтальная) мобильность имела место в первое послеоктябрьское десятилетие (с 1917 по 1927 гг.). В этот период были смещены элиты старого режима и к власти пришли представители «контрэлиты». Октябрьская революция подтвердила, что революция есть, прежде всего, крайняя форма вертикальной (и нисходящей) социальной мобильности. В период правления Сталина «постоянное уничтожение верхушки пирамиды обеспечивало приток ... новых ... кадров», «высокий уровень социальной мобильности обеспечивался благодаря ... процессу... десталинизации ... Хрущев заменял людей на ключевых постах, старался реформировать управленческие структуры. ... Перестановки в верхах ... после прихода к власти Л. И. Брежнева были последними шагами системы, регулирующими социальную мобильность» [24, с.318]. «Типичная управленческая карьера советского времени – отмечает М. Черныш – выглядела следующим образом: институт – стройотряды, комсомол – работа на большом предприятии, партийное или профсоюзное выдвижение и постепенное восхождение по управленческой лестнице. ... В этом восхождении неформальному моменту не фиксируемого опыта и еще более неформальному моменту полезных связей принадлежала роль более важная, чем любым формам про-

фессионального образования» [100, с.103]. Другой фактор, лимитировавший вертикальную мобильность, – гарантии, полученные верхними статусными группами в прочности своего положения. Эти гарантии оформились в рамках института номенклатуры. «Номенклатурность ... – пишет С. Кордонский – означала, что человек, однажды определенный на соответствующую должность, может быть освобожден от нее только переводом на другую должность. В принципе номенклатурности воплощена “выборность сверху”: власть вбирает человека в свои иерархии, и дальнейшая его жизнь может протекать только в иерархиях, причем на вполне определенном уровне» [93]. К факторам, сдерживавшим вертикальную социальную мобильность, следует отнести и принцип отбора в разные эшелоны власти по признаку социальной принадлежности. Так, за период с 1965 по 1984 гг. 70% членов Политбюро ЦК КПСС были выходцами из семей бедного крестьянства и неквалифицированных рабочих, 8,5% – из семей квалифицированных рабочих, и 8% – из семей работников квалифицированного умственного труда [2, с.52]. Советская система сломала жесткие сословные перегородки, свойственные социальной иерархии в царской России. Однако устранив старые стратификационные различия, эта система породила новые. В роли ущемленных групп оказалась интеллигенция. Если ее представителям и удавалось подниматься по ступеням социальной лестницы, то это, скорее, происходило вопреки принятым принципам социального отбора. Политика ограниченного «социального представительства» интеллигенции вступала в противоречие с поощряемым советским государством курсом на вовлечение широких слоев населения в сферу образования. Парадокс состоял в том, что власть с одной стороны создавала сильный и влиятельный социальный институт – интеллигенцию, без которой невозможно развитие индустриального общества, а с другой, держала ее в тисках строгой социальной селекции, построенной по признаку классовой принадлежности. Все это негативно сказывалось на перспективах внедрения новых технологий, на динамике развития производительных сил страны.

Кроме партийности, полезных связей, участия в партийных, государственных, общественных или хозяйственных активах переход «с низко статусных позиций к более престижным обеспечивали» профессиональный рост и повышение уровня образования [114]. Представление о реальной социальной мобильности в позднесоветский период дает опрос, посвященный теме «Ваша трудовая биография» [114]. Анкетирование проводилось сотрудниками Института социологии РАН (тогда АН СССР) в 1983 г. в Тюмени, Татарии, Таджикистане, Киргизии, на Дальнем Востоке, в Воронеже и Абхазии. Из опроса следует, что среди нижних страт наиболее мобильными были рабочие высокой квалификации. Лишь 41% этой категории трудящихся никогда не занимали руководящих постов. 19% руководили бригадой или звеном, 43% – участком, цехом, отделом, 5% – предприятием, учреждением, колхозом и 11% работали в государственных, партийных, профсоюзных и комсомольских органах [114]. Более низкая вертикальная мобильность прослеживается в группе служащих с высшим образованием. 56% респондентов никогда не числились в руководящих работниках. Только 14% руководили бригадой, звеном, 29% – участком, цехом, отделом и всего 2% – предприятием, учреждением, колхозом, а 4% работали в партийно-государственных, профсоюзных и комсомольских органах [114]. Еще скромнее показатели вертикальной мобильности среди служащих без высшего образования, рабочих низкой и средней квалификации. 64% служащих без высшего образования, 71% рабочих низкой квалификации и 69% рабочих средней квалификации никогда не были на руководящих должностях. 12% служащих без высшего образования, 16% рабочих низ-

кой квалификации и 15% рабочих средней квалификации руководили бригадой, звеном. 20% служащих без высшего образования, 13% рабочих низкой квалификации и 16% рабочих средней квалификации – участком, цехом, отделом. Никто из респондентов, представлявших служащих без высшего образования, не побывал на посту руководителя предприятием, учреждением или колхозом, тогда как из числа респондентов, представлявших рабочих низкой квалификации, лишь 0,7% опрошенных руководили предприятием, учреждением или колхозом и 0,3% рабочих средней квалификации – предприятием, учреждением или колхозом [114]. Кроме рабочих высокой квалификации у всех этих групп наблюдается низкий процент работавших в государственных, партийных, профсоюзных и комсомольских органах (соответственно, 4%, 2% и 3%). Наконец, наименее включенной в вертикальную мобильность группой были жители села. Около 80% респондентов данной группы никогда не занимали руководящих позиций. Причем это касается колхозников разных категорий (занятых физическим трудом, механизаторов и других категорий). Наиболее низкий уровень вертикальной мобильности демонстрировали колхозники-механизаторы. Среди этой группы респондентов никто не руководил участком, цехом, отделом, предприятием, учреждением, колхозом и не работал в государственных, партийных, профсоюзных и комсомольских органах [114].

По данным опросов можно заключить, что в сферу вертикальной мобильности рядовые советские труженики вовлекались крайне неравномерно. Некоторые группы колхозного крестьянства (механизаторы) фактически находились в состоянии социального исключения. Слабая вертикальная мобильность существовала среди служащих без высшего образования, низко квалифицированных и средне квалифицированных рабочих. Если принять во внимание, что рабочие средней квалификации составляли в позднесоветский период большинство рабочего класса, а рабочие высокой квалификации – его значительное меньшинство, то придется сделать вывод о том, что в целом вертикальная мобильность рабочих была низкой. Для всех нижних страт существовали ощутимые пороги социального роста. Уже начиная с уровня руководителя предприятием, учреждением и колхозом показатели вертикальной мобильности среди них резко падали, включая рабочих высокой квалификации. Даже образование как канал социальной мобильности не позволял высоко подняться по ступеням социальной лестницы. Лишь 6% респондентов с высшим образованием занимали позиции выше, чем руководство цехом или отделом [114]. На состоянии социальной мобильности сказывалось и то обстоятельство, что, по словам М. Кивинена, «профессии функционировали внутри основных бюрократических организаций» [168, с.116]. Поэтому возможности вертикальной мобильности зависели также и от места этих организаций в социальной иерархии, их корпоративного ранга. Вместе с тем относительно высокий (хотя и неформальный) статус «блатного» был маркером теневой вертикальной мобильности в условиях административного рынка. Таким образом, параллельно легитимной вертикальной мобильности существовала и теневая мобильность.

Все сказанное выше позволяет заключить, что социальная стратификация представляла собой комбинацию меритократического принципа и принципа предписаний. При этом в советском обществе имели место оба аспекта принципа предписаний – передача статуса в обществе по наследству и с помощью связей [92, с.546]. Специфика социально-стратификационных отношений в СССР состояла в том, что принцип наследования действовал только в нижних ярусах социальной иерархии и не работал на ее верхних уровнях.

Дети многих колхозников, не переехавшие по тем или иным причинам в города, наследовали социальные позиции своих родителей из-за крайне низкой мобильности в этой среде. Другой пример наследственного статуса – рабочие династии. В советском кинематографе об этом феномене рассказывает, например, художественная кинолента 50-х гг. «Большая семья», где показана социально-профессиональная преемственность в рамках одной семьи, состоявшей из представителей трех поколений рабочих-кораблестроителей. Еще в 60-е гг. социологи говорили о наследовании социальных позиций и среди интеллигенции [92, с.138]. Принцип передачи социального статуса с помощью связей носил универсальный характер в советском обществе. Им пользовались и на нижних и на верхних ступенях социальной лестницы.

Вместе с тем социологи в СССР (Л. Гордон [195], О. Шкаратан [196], В. Шубкин [197] и др.) обращали внимание на «внутриклассовые» различия, «которые предполагали стратификацию согласно доходу, партийной принадлежности, профессии, образованию» [169, с.43-44]. Как отмечали Л. Гордон и Э. Клопов, «в рабочей среде наличие различных страт наблюдается больше, чем когда-либо ... различие определяется разным уровнем культуры в широком социологическом смысле этого понятия, как совокупности условий жизни, норм, традиций и знаний, непосредственно влияющих на поведение человека» [169, с.44]. Свои внутрисклассовые различия наблюдались и в интеллигенции. В ней выделялись группы научно-технической, гуманитарной, городской, сельской интеллигенции. Между ними существовали профессиональные, должностные, квалификационные, отраслевые, досуговые различия. Прослеживались различия и в отношении обладания свободным временем. У тех, кто, скажем, занимался теоретическими исследованиями или литературным творчеством, было больше свободного времени, чем у тех, кто работал на производстве. Советские социологи анализировали не только характер труда, но и отношение советских людей к труду, их трудовые мотивации, опираясь на социально-психологический подход к исследованию социальных явлений. В рамках этого подхода А. Здравомыслов рассматривал цепочку социальных детерминаций, состоящую из категорий ценностей, интересов и потребностей [246]. В советскую социологию вводился аксиологический компонент. Параллельно развитию этой тенденции осуществлялся переход от концепта социальных классов к анализу межклассовых и внутриклассовых слоев. Такой переход неизбежно толкал к теории социальной стратификации. Проведенные Г. Осиповым в начале 60-х гг. исследования в Московской, Ленинградской, Свердловской и ряде других областей страны выявили существенные различия в области характера и содержания труда (в сфере занятости, квалификации), а также различия, связанные с типом поселения (город, деревня), образом жизни [186]. Состоявшаяся в Минске в 1966 г. конференция по теме «Изменения социальной структуры советского общества» «легитимировала» отход от трехчленной схемы рассмотрения социальной структуры [186]. В 80-е гг. сдвиг в сторону принятия концепта социальной стратификации, который долгое время считался враждебным марксистской теории классов, стал необратимым [198]. Ведущую роль в этом повороте советской социологии сыграли Л. Коган [199], В. Семенов [200], М. Руткевич [201], Ф. Филиппов [202], О. Шкаратан, Г. Осипов [203] и другие исследователи. Новосибирская школа советской социологии (Т. Заславская, Р. Рывкина) уже в период перестройки могла без оглядки на идеологические табу открыто заявить о преимуществах стратификационной теории. Но еще в 60-е гг. советские исследователи начали поиск внутригрупповых различий в советском обществе. В рабочем классе выде-

лялись малоквалифицированные работники и работники, занятые физическим трудом, с одной стороны, и рабочие-интеллигенты, с другой [186]. В сельском хозяйстве выделялись не только работники государственных совхозов и колхозные крестьяне, но и малоквалифицированные работники (полеводы, животноводы) и работники высококвалифицированного труда (механизаторы). Среди интеллигенции также различали группы средней, высокой квалификации и т. п. В конце 60-х гг. в рамках Советской социологической ассоциации развернулась дискуссия относительно определения понятия «социальной структуры». Она определялась как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, т. е. классов, а социальная группа – как относительно стабильная совокупность, объединенная общностью функций, интересов и целей деятельности [186]. В советском социологическом сообществе сложились разные представления о классовых границах тех или иных социальных слоев советского общества. По мнению О. Шкаратана, в советском обществе шел процесс «стирания классовых граней», образования «смешанных в классовом отношении групп населения» [186]. Поэтому исследователь в состав рабочего класса включил и представителей нефизического труда, в том числе техническую интеллигенцию. Та часть интеллигенции, которая связана с колхозным производством, была зачислена исследователем в колхозное крестьянство. Кроме того, в колхозном секторе выделялись группы, отличавшиеся содержанием и уровнем квалификации труда – инженерно-технический, административно-управленческий персонал, механизаторы, колхозники, занятые ручным трудом. М. Руткевич был противником расширительного толкования границ рабочего класса и считал интеллигенцию особым социальным слоем. Под интеллигенцией стали понимать слой, «состоящий из лиц, профессионально занимающихся высококвалифицированным умственным трудом, требующим специального, среднего или высшего образования» [186]. При этом ее место в общественном разделении труда и распределении материальных благ не рассматривалось как классовобразующий признак. На страницах журналов «Вопросы философии», «Социологические исследования», «Коммунист» и др. обсуждались понятия социальной структуры («социальное единство», «социальное различие», «класс», «социальный слой»). Сторонникам идеи социальной гомогенности было важно подчеркнуть момент сближения разных социальных групп и классов советского общества, чтобы подтвердить провозглашавшийся партией курс на построение бесклассового общества. В 70-е гг. при рассмотрении категорий «социальное равенство» и «социальная однородность» предпочтение отдавалось категории социальной однородности. Сторонники идеологического подхода в анализе социальной структуры всячески делали упор на категории социальной однородности, убеждая в том, что именно она является магистральным путем развития советского общества. Признание же внутриклассовых и внутригрупповых дифференциаций было равносильно несогласию с партийным курсом на построение социально однородного общества. Однако конкретные социологические исследования подчеркивали роль различий как межгрупповых, так и внутригрупповых. В 80-е гг. Л. Гордон и А. Назимова показали, что изменения внутри рабочего класса возникают, прежде всего, вследствие научно-технического прогресса, а также изменений в социальной структуре советского общества в целом [186]. В те же годы было проведено Всесоюзное исследование ИСИ АН СССР под руководством Г. Осипова совместно с другими социологическими центрами страны на тему «Показатели социального развития советского общества». Оно включало рабочих и инженерно-производственную интеллигенцию, занятых в основных отраслях народного хозяйства девяти регионов. Исследование зафик-

сировало утрату динамики развития социальных отношений, преобладание воспроизводственных процессов. Само воспроизводство выражалось в росте бюрократии и «нетрудовых элементов». В то же время высококвалифицированные рабочие и специалисты выполняли работу ниже уровня своего образования и квалификации. Эти «ножницы» в среднем по стране составляли от 10% до 50% по различным социальным слоям [186]. Несовпадение между уровнем образования, квалификации работника, с одной стороны, и содержанием выполняемой им работы, с другой, сдерживало рост производительности труда, распыляло потенциал квалифицированного труда (внутренняя «утечка умов»), негативно сказывалось на динамике социальной мобильности. «Таким образом, – пишет В. Ядов – если идеологические установки утверждали формирование социально однородного общества, социологические исследования ... их опровергали» [186].

Идеологические установки опровергались и реальными показателями социальной мобильности в советском обществе. Исследователи выделяют два типа иерархий с вертикальной мобильностью: иерархии с высокой вертикальной мобильностью и иерархии с низкой вертикальной мобильностью [115, с.10]. Советский тип социальной мобильности занимает промежуточное место, однако больше тяготея к иерархиям с низкой вертикальной мобильностью. «Субъекты таких иерархий ... – пишут В. Сергеев и К. Сергеев – включаются в создание ... неформальных сетевых связей, и эта деятельность, требующая времени и сил, отвлекает их от выполнения возложенных на них обязанностей. В некоторых случаях структуры неформальных социальных отношений начинают полностью детерминировать всю динамику вертикальной мобильности, и иерархия оказывается заполнена ... некомпетентными людьми, которые ... озабочены ... обеспечением “сетевого капитала”» [115, с.10]. В силу такой динамики иерархий с низкой и ограниченной вертикальной мобильностью в управленческих структурах накапливаются некомпетентные элементы, образующие устойчивую группу интересов. В результате происходит перверсия значений неэкономических видов капитала; компетентность, профессионализм заменяются некомпетентностью, непрофессионализмом. По словам председателя Госплана СССР Н. Байбакова, «к концу 1970-х гг. ... малокомпетентных карьеристов оказалось немало и в ЦК, и в Политбюро, и в некоторых министерствах» [216, с.54]. Непрофессионализм становится сильным социальным ресурсом, своего рода негативным социальным капиталом, обеспечивающим доступ к социальному лифту. Здесь перед нами случай, когда сетевые отношения препятствуют высокой вертикальной мобильности. В условиях советского общества причина этого парадокса состоит в том, что «чиновничество не беспокоилось более за свою судьбу, и исчезла реальная причина, заставляющая его проявлять инициативу. ... Начали накапливаться элементы кастовости, вершина пирамиды стала ... недоступной для “низов”, замкнутость пришла на смену открытости» [24, с.319].

Специфической формой социальной мобильности были всесоюзные ударные стройки, участие в общесоюзных политических акциях, получивших название кампаний [155]. В рамках этих кампаний осваивались целинные земли Северного Казахстана, строились крупные гидроэлектростанции, горно-обогатительные комбинаты, металлургические и машиностроительные заводы. В рамках данной формы социальной мобильности различаются принудительно-добровольный и поощрительный виды мобильности. В первом случае людей заставляли переезжать на ударные стройки, во втором случае они это делали не просто добровольно, а в поисках «длинного рубля». Первую категорию работников составляли обычно члены партии и комсомола, для которых «командировка в националь-

ную республику являлась партийным заданием», и выпускники вузов, получавшие распределение на работу туда, где они были больше всего востребованы [155]. Вторую категорию работников составляли специалисты, вербовавшиеся не по принуждению, а исходя из материальных стимулов. При Сталине превалировала принудительная мобильность, в послесталинское время значение принуждения в вербовке переселенцев ослабло, и возросла роль «денежных стимулов» [155].

Неоднозначное воздействие на рост вертикальной социальной мобильности оказывал клиентелизм. С одной стороны, как подчеркивает Дж. Уиллертон, патронажно-клиентарные отношения представляли собой «существенный фактор политической мобильности в Советском Союзе». «Похоже – отмечает американский социолог, – что клиенты более чувствительны к быстровосходящей и нисходящей мобильности, связанной с мобильностью патрона» [161]. Но с другой, природа такой мобильности, во-первых, не давала прочных результатов для закрепления своих социальных позиций тем, кто в нее вовлекался, а, во-вторых, она предусматривала участие в этом процессе групп с определенным объемом политического и социального капитала. За рамками патронажно-клиентарного типа вертикальной мобильности оставались слои, которые по разным причинам были исключены из избранного круга социально продвинутых групп. Для социально более слабых страт наиболее надежными каналами мобильности оставались профессиональный рост и повышение уровня образования. Клиентелизм проводил водораздел между слабо и сильно ресурсными группами и обесценивал значение меритократической формы социальной мобильности. Вместо уровня образования и квалификации более важными факторами вертикальной мобильности становились удачно выстроенные отношения между клиентом и патроном. Мера стабильности патронажно-клиентарной формы вертикальной мобильности упиралась в проблеме у доступа клиента к патрону. Такой доступ определялся несколькими параметрами: объемом социального капитала, устойчивостью позиций патрона в социальной иерархии, степенью взаимной заинтересованности участвующих в заключении сделок сторон, предметом и масштабом заключаемой сделки. От этих параметров зависела продолжительность патронажно-клиентарных отношений и, стало быть, интенсивность восходящей или нисходящей социальной мобильности.

Политика перестройки несколько оживила ситуацию с вертикальной мобильностью, сместив ряд фигур периода «застоя». В сфере трансформации социально-политических отношений команда М. Горбачева ставила две основные задачи: во-первых, обеспечить реальный контроль граждан за происходящими процессами, закрепить права и свободы и, во-вторых, решить проблему кадров, изменить роль партии и возродить Советы [116, с.195]. В этой программе слышался отголосок идей П. Кропоткина, обратившего внимание В. Ленина на недопустимость поглощения Советов партией, что нарушало устойчивость советской системы. Горбачев понимал, что прийти к демократическому, справедливому обществу можно «только через смену политической элиты» [116, с.266]. Однако его усилия не увенчались успехом. По словам В. Борисова «Горбачев не сумел разрушить кастовости правящей пирамиды. Социальная мобильность “снизу-вверх” вновь замедлилась» [24, с.320]. На языке Горбачева это означало, что «основная часть номенклатуры не приняла перестройку» [116, с.195].

Вопрос о том, какова была природа правящей элиты в Советском Союзе, принадлежит к числу наиболее спорных и не решенных проблем. Что считать правящей стратой в СССР? Каковы ее границы? Можно ли назвать ее классом? Каковы способы ее воспроизводства? Можно ли ее отождествить с бюрократией? И была ли власть правящей политической элиты властью самой бюрократии?

Отношения между верхами и низами советского общества не были опосредованы отношением к средствам производства и товарно-денежными отношениями, а строились на принципе «прямого» социального обмена. В советском социуме классы существовали во многом символически. Их реальное функционирование затрудняли монопольное господство государственной собственности, зависимость общества от государства, отсутствие легитимно оформленных групп интересов. В этом плане советское общество имело больше точек соприкосновения с моделью Ж.-Ж. Руссо, чем с социальным идеалом в духе К. Маркса. Хотя Руссо разрабатывал проблему соотношения общества и государства за рамками социалистической мысли, он выдвинул три идеи, актуальные для понимания советской этакратии. Это принципы «договора», суверенности народа как коллективно организованного субъекта социального действия и эгалитаризма. У Руссо социальный порядок зиждется на основе поглощения общества государством как политически выраженной воли народа. Возможность участия граждан в общественном процессе определялась их местом в системе социальных отношений, в том числе отношений собственности, не как индивидуальных игроков, а как иерархически структурированного субъекта коллективно организованного социального действия. При советском социальном порядке государство в обмен на лояльность своих граждан обеспечивало их жизненные потребности, включая право на бесплатное образование и полную занятость населения. В терминах концепции Бурдье это означало, что «кредит» доверия народа, т.е. его социальный капитал, монополизировался партийно-государственным аппаратом в обмен на «материально-символические гарантии», с помощью которых элита наделяла себя «абсолютной символической властью» [25, с.313]. Подобно тому, как советская экономика строилась на административном рынке, т.е. на прямом торговом обмене между статусно различными социальными группами, так и в основе отношений между верхним слоем и нижними стратами лежал принцип прямого социального обмена. Принцип прямого социального обмена и противоречие между правом распоряжения материальными ресурсами государства и отсутствием права владения этими ресурсами не позволяют говорить о советской правящей элите как о классе в строгом смысле этого понятия, тем более как об эксплуататорском классе. Большая часть имущества представителей советской элиты была казенной. Дочь И. Сталина С. Аллилуева приводит слова ее отца о том, что «дачи, квартиры, машины, – все это тебе не принадлежит, не считай это своим» [117, с.30]. Если советская правящая элита – это не класс, то может быть, она представляла собой сословие или касту? Конечно, здесь напрашиваются сравнения с правящими сословиями и кастами древневосточных обществ и эти сравнения отчасти обоснованы. Подобно древнеиндийским брахманам, ближневосточным жрецам или спартанцам Ликурга советская правящая элита не имела собственности, сохраняя благодаря этому свою власть. «Группы, обладающие в обществе наибольшей символической властью, – констатируют В. Радаев и О. Шкаратан – зачастую становятся его высшей кастой (индийские брахманы) или правящей стратой (партийные идеологи)» [109, с.57-58]. Как при древневосточной идеократической этакратии в фигуре царя сливалась духовная, политическая и экономическая власть, так в советской правящей элите концентрировались

основные формы власти. Ее конфигурацию можно уподобить ступицам колеса, сходящимся в центре. Вслед за своими историческими аналогами советская высшая политическая элита представляла собой замкнутую социальную группу или, по словам Н. Лапиной, «корпорацию», «касту несменяемых» [65]. Хотя она рекрутировалась из разных социальных слоев, ее члены в основном были представителями «первого элитного поколения» [65]. Однако компаративный анализ должен считаться с различиями между советской правящей верхушкой и верхними стратами доиндустриального общества. Советскую правящую элиту отличали иной (индустриальный) контекст существования, другой способ рекрутирования кадров, отсутствие наследственного принципа передачи социального статуса, другие задачи и функции в обществе. Так, например, за всю историю Международного отдела ЦК КПСС лишь один сотрудник занял место своего отца, т.е. произошло наследование должности [65]. В целом номенклатурная политика советского типа стояла ближе к модели «демократического элитизма» Ницше, предлагавшего рекрутировать представителей элиты из разных, в том числе низших, слоев общества, чем, например, к принципу формирования элитных групп при древнеиндийском или древнеегипетском кастовом строе. И, наоборот, подход к созданию элиты в царской России больше напоминал принцип кадрового отбора в условиях доиндустриального общества. В древневосточных монархиях касты, в том числе жреческая и военная, существовали обособленно друг от друга. Не поощрялся переток из одной страты в другую. Образ жизни, например, касты жрецов резко отличался от образа жизни касты воинов, не говоря уже о низших кастах. В средневековой Европе духовная власть в лице церкви находилась на вершине социальной пирамиды. Истории известны случаи, когда провинившиеся перед папским престолом императоры были вынуждены молить о прощении, чтобы вернуть себе свой титул. В отличие от средневековой католической властной иерархии в императорской России духовная власть подчинялась светской. В СССР, который здесь «пошел своим путем», идеология (духовная власть) и политическая власть объединялись в единое и нерасторжимое целое. Статус советской правящей элиты лежал на пересечении статусов высших сословий или каст доиндустриального типа, не разделяя, однако, полностью их черты. Но тогда может быть советский правящий «класс» представлял собой бюрократию эпохи индустриального общества, а его власть была властью бюрократии? Существуют два полярных взгляда на природу бюрократии в советском обществе. Один из них отрицает ее существование. По словам С. Кордонского, «бюрократии как социального слоя в СССР не было» [93]. Аналогичный вывод сделал В. Кантор. Он заключил, что «коррупция есть, а бюрократии нет». Под ней он понимал веберовский слой высококвалифицированных специалистов в области управления, защищенный от коррупции кодексом профессиональной чести [98, с.246]. Ближе к этой позиции подошел Ю. Левада. «“Новая” номенклатура – писал российский социолог – не имела ни своей истории и традиций, ни возможности для консолидации, ни малейших гарантий от постоянно грозивших чисток и расправ. Полностью беспомощная перед произволом “верхов”, она не способна была поддерживать сплоченность собственной корпорации или сохранять какие-то привилегии» [56, с.9]. И здесь он сделал важное дополнение: «Ориентации на “европейские” рационально-бюрократические стандарты в этой среде никогда не просматривались» [56, с.10]. И, действительно, сформулированные М. Вебером основные черты «идеального типа» бюрократии, слишком далеки от реального образа советской номенклатуры. Вебер выделил следующие характеристики «идеальной бюрократии»:

иерархию (каждый служащий имеет четко очерченное поле компетенции, область полномочий и ответственен перед вышестоящим начальником);

безличность (работа выполняется в соответствии с определенным набором правил, исключающим как произвол, так и фаворитизм, всякая сделка оформляется соответствующим договором);

постоянство (учреждение обеспечивает полную занятость своим служащим, создает для них гарантии долгосрочного пребывания в должности и перспективы стабильного продвижения по службе);

экспертизу (служащие отбираются по профессиональным качествам и проходят специальное обучение для возможности исполнения своей функции, при этом обеспечивается контроль над доступом к сведениям, содержащимся в подведомственных документах) [162].

Эти максимы эффективного управления не описывают советскую управленческую систему по ряду причин. Как любой другой идеальный тип, «идеальный тип» бюрократии есть априорная социальная категория, полученная в результате экстраполяции отвлеченных понятий на область общественных отношений, абстрагирования от конкретно-исторической реальности. Идеальный тип веберовской бюрократии выведен из обобщения западного, прежде всего немецкого (прусского) опыта государственного управления, где максимизация эффективности принимавшихся решений сочеталась со строгим соблюдением формальных правил игры (высокий уровень формализации в принятии решений) и с предельной пунктуальностью их выполнения. Для прусских чиновников государство традиционно служило чуть ли не предметом культового служения. В Советском Союзе отношения в чиновничьей среде были помещены в совершенно другой идеологический, политический, экономический и социально-исторический контекст. В терминах веберовской классификации социальных действий поведенческая стратегия советской чиновничьей страты укладывается в рамки категории традиционных действий, далеких и от целерациональных и от ценностно-рациональных достижительных практик.

Итак, в СССР никогда не существовало бюрократии в смысле Вебера, т.е. как идеально рационального типа. В веберовском анализе бюрократия – это не класс, а статусная группа, хотя она «ближе всего стоит» к «социальному классу» [105, р.306-307].

Полярная веберовскому взгляду точка зрения инициирована влиянием марксизма, хотя не все ее сторонники разделяют это учение. В отличие от Вебера, который исходил из факта независимости бюрократии от тех или иных социально-политических форм, Маркс видел в бюрократии, прежде всего, политический феномен. Для понимания этой позиции особенно важны некоторые идеи Маркса, высказанные им в ходе анализа прусской государственности и режима Наполеона III во Франции. На примере Пруссии Маркс показал, что государство может быть не только «органом по управлению делами буржуазии», но и «частной собственностью» бюрократии. Он писал: «Бюрократия имеет в своем обладании государство ...: это есть ее частная собственность» [224, с.272]. Невольно Маркс дополнил свое представление о частной собственности как основного классовобразующего принципа взглядами на политическую власть как важный фактор социальной стратификации. Другую возможность сделать вывод о превращении бюрократии в класс Марксу предоставило «восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». «Только при втором Бонапарте – писал Маркс – государство как будто стало ... самостоятельным» [118, с.207]. Тем не менее вопрос о том, не превращается ли бюрократия в класс при определенных социальных обстоятельствах, на почве классического марксизма не получает положительного реше-

ния. Мало что прояснил здесь и Ленин. Его мысль, высказанная в «Государстве и революции», о буржуазном характере государства без буржуазии при социализме допускает разные толкования, но не имеет прямого отношения к пониманию природы власти в условиях советского социального порядка. Двусмысленно звучит и мысль Ленина о советском государстве как «рабочем государстве с бюрократическим извращением» [185, с.239]. Нападки Ленина на «советскую», «коммунистическую бюрократию», «комчванство» и т.п. на деле были всего лишь инструментом во внутрипартийной борьбе 20-х гг. и реально не могли изменить сложившуюся ситуацию. Во-первых, эта критика не отвечала на вопрос о том, в чьих руках находится реальная власть. Она не отвечала, по выражению самого же Ленина, на «основной вопрос всякой революции». Во-вторых, Ленин признавал, что «можно прогнать царя, ... помещиков, ... капиталистов», но нельзя «“прогнать” бюрократизм в крестьянской стране» [119, с.193]. «Инвективы Ленина в адрес “комбюрократии”, “совбюрократии”, “совбюров”, – пишет А. Левинсон – становятся в годы сталинизма “ленинским наследием”, превращаются в традицию “борьбы с бюрократизмом”. ... “Бюрократизм” в ... советских контекстах – это дурное ведение делопроизводства, проволочки, гашение энтузиазма масс или инициативы отдельных героев. За подобное рутинное ... поведение неких ответственных лиц высшая власть, эксплуатирующая свои ... полномочия, лишала этих лиц статусного иммунитета» [98, с.242]. Свое решение проблемы советской бюрократии попытался сформулировать Л. Троцкий. Это решение затрагивало вопрос о классовой природе советского общества. Троцкий отверг расхожую характеристику общественного устройства в СССР как «государственного капитализма» на том основании, что собственность там была «общественной», а термин «госкапитализм» «применялся в приходящих в упадок капиталистических странах» [92, с.117-118]. Более осторожно Троцкий подходил и к вопросу о том, можно ли считать бюрократию новым правящим классом. Он предпочитал называть бюрократию «единственной привилегированной и доминирующей стратой в советском обществе», а словосочетание «правящий класс» употреблял в кавычках, чтобы «показать его двусмысленность» [92, с.118]. Троцкий не решался говорить о бюрократии в СССР как о новом классе в собственном смысле этого слова, поскольку бюрократия была лишена права собственности на средства производства и не могла «передавать наследникам возможность эксплуатации государственного аппарата». Однако Троцкий не исключал перспективу превращения бюрократии в советских условиях в «новый класс». Он считал, что если советские бюрократы захотят передавать свой статус по наследству и отказаться от государственной собственности, то тогда они станут классом частных собственников. Перестройка в известном смысле подтвердила это предсказание одного из организаторов октябрьского переворота, начав легализацию находившихся под контролем номенклатуры капиталов. Этот процесс сопровождался оживлением интереса к циркулировавшим в реформаторских политических и близких им научных кругах идеям М. Джиласа и М. Восленского. Обе концепции, построенные на марксистской методологии, развили мысли, намеченные Троцким. Их основной недостаток состоит в том, что они экстраполировали категории марксистского анализа капитализма XIX в. на общество, подчиненное другой логике развития. Иначе говоря, их недостатки вытекают из неверной контекстуализации анализируемой проблемы. «Современный коммунизм – писал Джилас – это не только партия определенного типа или возникающий из монополистиче-

ской собственности и чрезмерного государственного вмешательства в экономику бюрократизм. Современный коммунизм – это прежде всего носитель нового класса собственников и эксплуататоров» [120, с.219]. Восленский повторил идеи Джиласа о «новом классе» как «антагонистическом» классе советского общества, присваивающим прибавочную стоимость и эксплуатирующим остальное население [121, с.173-266]. Фактически и Джилас и Восленский воспроизвели мысль Маркса о «грубом коммунизме» как «формы проявления гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве положительной общности» [122, с.116]. В такой системе частная собственность облекается в государственную собственность, выступающую в роли «обобществленного» или «коллективного капиталиста». Различие между Джиласом и Восленским состоит в том, что первый под «новым классом» понимал «политическую бюрократию», а второй – «номенклатуру». Концентрация внимания на категориях эксплуатации и классовых отношений применительно к советскому обществу вообще составляет характерную черту неомарксистского подхода. Видный представитель такого подхода Э. Райт полагает, что «антикапиталистические революции» устраняют капиталистическую форму эксплуатации, основанную на частной собственности, но «не устраняют, а, напротив, значительно усиливают и углубляют неравенство, в основе которого лежит контроль над организационным капиталом» [169, с.37-38]. Именно неравенство в распределении этого капитала, считает Райт, порождает эксплуатацию и отношения классового господства в условиях социализма. Он далее продолжает: «Эксплуатация основывается на бюрократической власти: контроль над организационными капиталами определяет материальную основу классовых отношений и эксплуатации», а механизмом эксплуатации выступает «плановое присвоение и распределение прибавочной стоимости по принципу иерархии, а антагонистическими классами являются управленцы (бюрократы) и все не относящиеся к категории управленцев» [169, с.38]. В отличие от Э. Райта Дж. Ромер видит основу господства и классовых отношений при социализме во владении «квалификационным капиталом», порождающим «социалистическую эксплуатацию» [169, с.37]. При этом он выделил еще одну форму эксплуатации при социализме – «эксплуатацию, основанную на статусе» [169, с.37]. Она уже не зависит от квалификации работника, так как определяется наличием должности. В качестве примера эксплуатации, основанной на статусе, Ромер называет высокие зарплаты и привилегии партийных и государственных деятелей. Фактически идеи неомарксистского подхода воспроизводит и Р. Рывкина, которая также считает «партийно-советскую номенклатуру» классом и называет его численность: 18 млн. чел., включая обслуживающий персонал. По ее мнению, именно Джилас «раскрыл тайну субъекта советской экономики», указав на «этот класс, монополизировавший всю власть в государстве и присвоивший себе всю собственность» [96, с.59]. С аналогичных позиций А. Колганов дает развернутую схему социально-экономических отношений «реального социализма»:

Отношения алокации (координации) ресурсов:

1. Планово-бюрократическое распределение ресурсов: - бюрократическое централизованное планирование; - «плановая сделка»; - ведомственность, местничество; - самостоятельность администрации предприятий. 2. Формальные товарно-денежные отношения,

Система отношений присвоения:

1. Государственно-бюрократическое отчуждение работника: - государственно-бюрократическая псевдо-кооперативная, псевдо-частная формы собственности; государственно-бюрократическая эксплуатация трудящихся; - «безработица на работе».

2. «Диффузия» прав собственности между сегментами бюрократической структуры.
3. Форма наемного труда и элементы внеэкономического принуждения

Отношения распределения доходов:

1. Государственно-бюрократическое распределение доходов: - «уравниловка», бюрократически обусловленное социальное неравенство; - закрытое распределение, статусный принцип распределения, бюрократические привилегии; - отставание потребительского стандарта от уровня развития производства, играющее дестимулирующую роль. 2. Денежный фетишизм, «теневые доходы»

Отношения воспроизводства:

1. Воспроизводство «экономики дефицита». 2. Доминирование экстенсивного типа воспроизводства. 3. Слабая восприимчивость к научно-техническому прогрессу. 4. Концентрация научно-технического потенциала преимущественно в отраслях, ориентированных на военные задачи. 5. Отсутствие механизма ориентации на реальные потребности, безразличие к качеству продукции и услуг. 6. Слабые экономические ограничения затрат ресурсов [1, с.195-198].

В советской научной литературе даже циркулировал термин «социалистическая бюрократия», хотя и в виде его критики [186]. В. Ядов связывает негативную динамику развития социальных отношений в позднесоветский период с «нарастанием» их «бюрократизации». В ней исследователи видят показатель стагнации советского общества. В рамках этого процесса, по словам В. Ядова, «партийно-хозяйственная номенклатура становится доминантной социальной группой. Участие работников в управлении производством ... базируется на профессиональном разделении труда и тесно переплетается с бюрократическими структурами. В совокупности это приводит к технократизации общественных отношений или к системе, являющейся гибридом технократических и бюрократических отношений» [186].

На изменение роли бюрократии в процессе реформ в конце 80-х гг. прошлого века обратил внимание Г. Попов – автор термина «административно-командная система», обозначавшего власть бюрократии в советском обществе [244]. По его мнению, бюрократия стремится «опосредовать отношения основных агентов социального взаимодействия». В качестве примера агентов такого взаимодействия в России XIX в. он называет, с одной стороны, крестьянство после отмены крепостного права, а с другой, – крупных землевладельцев и торгово-промышленный класс [98, с.246]. Из допущения о том, что бюрократия может быть посредником в системе социального взаимодействия, некоторые исследователи делают вывод о том, что, по крайней мере, часть бюрократии способна осуществлять реформаторские функции. Как пишет А. Левинсон, в СССР «к началу 90-х гг. ... бюрократия ... оказалась расколота на два политических лагеря, один из которых имеет выраженные реформистские намерения, другой выступает за сохранение status quo» [98, 246].

Способность бюрократии играть посредническую роль в социальных отношениях, включиться в процесс реформ высвечивает односторонний характер понимания бюрократии как господствующего и эксплуататорского класса советского общества. Так, Ф. Паркин пишет: «Бюрократии советского типа не были господствующими и эксплуатирующими классами, несмотря на обладание огромной властью и привилегиями» [104, с.226]. Полемизируя с неомарксистским подходом, Д. Лэйн обращает внимание на то, что общественные отношения в системах советского типа «охватываются более широким понятием, нежели

понятие “контроль над организационным капиталом”, включающее извлечение прибавочной стоимости», а «отношения “господства” (власти) нельзя сводить к классовым отношениям» [169, с.39]. По Лэйну, связь господствующих структур власти «на нижнем уровне иерархии с правящими группами на верху пирамиды» носит «не экономический (включающий изъятие прибавочной стоимости), а политический характер», поскольку «ключевой формой осуществления власти является контроль над административной системой через номенклатуру» [169, с.40]. Тем самым Лэйн отказывается от применения категории эксплуатации для объяснения природы института господства в советском обществе. По словам Л. Гордона и Э. Клопова, «уровень потребления высших групп в советском обществе в 70 – 80 –е гг. (кроме, может быть тончайшего слоя главных властителей) трудно считать чрезмерным. ... При этом абсолютные размеры той доли общественного богатства, которую элита забирала на свое потребление, таковы, что они никак не могли существенно понизить общее благосостояние народа» [81, с.123]. Это не означает, что приобщение элитных групп к высоким стандартам потребления не отклонялось от норм социальной справедливости. Статусные привилегии правящих групп «не ограничивались предоставлением условий для гарантированной ... реализации денежных доходов (система специальных магазинов и учреждений, транспортного и коммунально-бытового обслуживания)» [81, с.123]. Привилегии номенклатуры касались и получения бесплатных услуг и льготных благ, которых не были лишены и более широкие слои населения. «Элита ... получала не просто лучшие условия “отоваривания” своих денег, но и, сверх того, возможность брать себе непомерно большую долю так называемых общественных фондов потребления, теоретически предназначенных как раз для того, чтобы с их помощью повышать жизненный уровень низов и выравнивать положение различных групп» [81, с.124].

Так же противоречив тезис концепции Джиласа-Восленского о наследственном способе воспроизводства советской номенклатуры. Вопрос о том, что наследует номенклатура, на деле далеко не простой. Представители частнособственнических классов передавали по наследству свою собственность и властные функции. В отличие от них советская номенклатура не могла по наследству передавать собственность, которая ей не принадлежала, как, могли передавать по наследству, например, землю землевладелец или предприятие капиталист. По Джиласу, положение номенклатуры как собственника средств производства иное. «Быть владельцем или совладельцем означает пробиться в ряды правящей политической бюрократии» – заключает Джилас [120, с.221]. Поэтому он полагал, что «кроме стремления пробиться в круг избранных, никто ничего существенного не наследует» [120, с.221]. Эта позиция близка пониманию Виттфогелем проблемы соотношения бюрократии и собственности в обществах нерыночного типа и внеэкономического принуждения. Согласно немецкому историку, «богатство бюрократии есть частная собственность, но ее распределение между бюрократами основывается на политических условиях, которые нельзя объяснить в терминах частной собственности» [144, р.300]. Восленский более прямолинейно решает вопрос о наследственном статусе «нового класса». По его словам, «правлящий класс номенклатуры СССР все явственнее начинает переходить к самовоспроизводству. Да, номенклатурная должность не наследуется. Но принадлежность к классу номенклатуры становится ... фактически наследственной» [121, с.164]. К логике рассуждений исследователя гораздо ближе стоит реальность таких стран, как Северная Корея. Наследником Ким Ир Сена, занимавшего посты лидера партии, премьер-министра, а потом президента КНДР, и именовавшегося «великим вождем», стал его сын Ким Чен

Ир. В Советском Союзе все было сложнее. У И. Сталина ни оба сына, ни дочь не занимали высоких партийных или государственных постов. Младший сын Василий был всего лишь генералом авиации, а дочь Светлана, не занимая вообще никаких должностей, со временем уехала из страны. У Н. Хрущева сын Сергей Хрущев и дочь Рада Хрущева тоже не занимали высоких правительственных постов. Сергей Хрущев пошел по научной стезе, а впоследствии тоже уехал на Запад. Рада Хрущева много лет проработала в известном научно-популярном журнале «Наука и жизнь». Если кто-то и сделал головокружительную карьеру в семье Хрущевых, то это был зять Н. Хрущева А. Аджубей. Он начал с главного редактора газеты «Комсомольская правда», потом стал главным редактором газеты «Известия», а затем был введен в состав ЦК. Сын Л. Брежнева Ю. Брежнев также не стал генеральным секретарем и вообще не входил в высший эшелон партийной элиты, а занимал должность первого заместителя министра внешней торговли. Что же касается дочери Л. Брежнева Галины, то она всю жизнь оставалась не у дел. Дочь А. Косыгина – Председателя Совета Министров СССР при Л. Брежневе – работала директором в одной из московских библиотек (ВГБИЛ).

Хотя, по словам Г. Моски, «все правящие классы стремятся стать наследственными если не по закону, то фактически» [271, с.193], воспроизводство советских правящих групп основывалось не на наследственном принципе, а на принципах номенклатурности, представляющей собой «выборность сверху» (С. Кордонский), патронажно-клиентарных отношений или «родственно-дружеских кланов» (Н. Лапина). Высшая позиция в советской властной иерархии – должность Генерального секретаря ЦК партии – также не наследовалась; генсек избирался (хотя и узким кругом членов Политбюро). Одним из наиболее важных результатов Октябрьской революции стала ликвидация принципа наследования власти. При самодержавии власть передавалась по праву первородства и по мужской линии согласно «Акту о порядке престолонаследия», принятому в 1797 г. императором Павлом I [268, с.108]. Однако в силе остался предписанный статус. Дети советских высокопоставленных партийных и государственных функционеров получали престижные посты на разных уровнях социальной иерархии и даже те из них, кто не занимал никаких официальных должностей, все равно имели привилегии. Но их ранги не передавались по наследству. Восленский свел предписанный статус к наследственному. Но к предписанному статусу относится кроме принципа наследования и принцип возвышения в обществе на основе связей или социального капитала. Так что, если и наследовали что-то отпрыски представителей советских элитных групп, то не собственность на средства производства и не властные полномочия, а социальный капитал. Кроме того, свое положение им не всегда удавалось сохранить, когда происходила смена партийно-государственного руководства.

По-разному Джилас и Восленский решали и вопрос о границах нового класса. Джилас, различая политическую бюрократию и остальной «аппарат» управленцев, подчеркивал, что «границу между первым и вторым возможно провести социологически, но в жизни она едва различима» [120, 203]. Для Джиласа «очень трудно, невозможно даже определить границы нового класса и назвать всех, кто к нему принадлежит» [120, с.200]. Восленский четко определяет эти границы. С его точки зрения конфигурацию номенклатуры можно уподобить конусу, внизу которого располагаются райкомы, вверху ЦК КПСС, верхушку этого конуса образует Политбюро, а его вершина обозначает фигуру Генерального секретаря ЦК КПСС [121, с.165]. О. Крыштановская исходит при определении границ высшего слоя советской элиты из неоднородности номенклатуры ЦК КПСС. Она включала

в себя должности, утверждавшиеся отделами ЦК (каждый отдел имел свой номенклатурный список), должности, утверждавшиеся Секретариатом и должности, утверждавшиеся Политбюро. Последнюю категорию должностей Крыштановская называет «высшей номенклатурой» [169, с.29]. К ней она относит: заведующих отделами ЦК КПСС; первых секретарей ЦК республиканских компартий, обкомов и крайкомов; первых секретарей республиканских комсомольских организаций; союзных министров и некоторых их первых заместителей; послов; командующих войсками и некоторые другие должности [169, с.29]. Как отмечает Н. Лапина, «партийная структура функционировала по иным правилам, чем государственно-бюрократическая машина» [65]. В партийных органах продвигались представители «первого поколения советской элиты», а в государственных учреждениях и общественных организациях имело место «статусное продвижение представителей низших социальных слоев» [65]. В этой ситуации точнее говорить о предписанном статусе, который не сводится к наследственному способу воспроизводства властной элиты. Ее представители передавали власть не посредством наследования своего статуса, а с помощью властных полномочий и связей, т.е. политического и социального капитала. Так как селекция в высшие эшелоны власти исключала принцип наследования, а рекрутирование номенклатуры проходило по разным правилам, она не была единой правящей стратой. Все это не противоречит тому факту, что в 70-е – первой половине 80-х гг. советский высший слой представлял собой замкнутую группу и в чем-то напоминал древнеримскую элиту конца империи, когда «нобилитет» стал закрытой кастой [21, с.530-531]. Так что же считать правящей стратой в СССР? Номенклатуру? Бюрократию? Ею можно считать владельцев идеологического и политического капиталов или производителей идеологических и политических «норм», контролировавших условия их «воспроизводства» (термин «идеологический капитал» предложен Н. Лапиной). По словам В. Радаева и О. Шкаратана, «в этом обществе реально управляют те, кто способен к “правильному” ... истолкованию “священных текстов” классиков марксизма-ленинизма применительно к любому явлению и событию» [109, с.61]. Именно обладатели этих форм капитала находились на вершине советской социальной пирамиды, а ее границы не выходили дальше небольшого круга членов Политбюро и центрального партаппарата.

Хотя социальная структура советского общества на всем протяжении его развития сохраняла контуры пирамиды, ее середина гораздо шире, чем она была при русском самодержавии или, скажем, во многих современных СССР странах Азии и Латинской Америки. Присутствие средних слоев, которые некоторые исследователи предпочитают называть средним классом, помогало удерживать советское общество от его соскальзывания в сторону дихотомизации, обеспечивая социальную стабильность. При монополии символического капитала возникает иной тип социальной стратификации, чем тот, который исторически известен западноевропейскому капитализму. Поэтому социальная структура советского общества представляла собой поле взаимодействий, прежде всего, разных форм неэкономического капитала. Владельцы идеологического и политического капитала стояли в иерархии статусных позиций выше обладателей социального капитала, которые в свою очередь возвышались над обладателями культурного капитала. Владельцы экономического капитала, зажатые в сфере теневой экономике и полностью зависимые от властей, не представляли собой до перестройки статистически сколько-нибудь социально значимую величину в системе формальных отношений. Легализация экономического капитала в период перестройки модифицировала социальную структуру советского обще-

ства, но не отменила ее принадлежности к «пребендальному» типу [106, с.87], когда не экономическое положение определяет социальные позиции индивидов и групп, а неэкономические формы капитала определяют их реальный вес в социуме. В советской иерархии рангов существовал примат корпоративных рангов над персональными. В ней большее значение имела принадлежность индивида не к определенному социальному слою, а к определенному ведомству. Чем выше его место в ранговой иерархии, тем шире возможности у индивида для конвертации капиталов. Поэтому и экономическая стратификация и социально-профессиональная стратификация не были близки к нулевым значениям. Несмотря на пороги социального роста и закрытость высшего слоя для нижних страт, шло увеличение страты управленцев, прежде всего промежуточных звеньев. Наряду с миграцией населения из деревень в города, другими меж-и внутрискратификационными перемещениями на горизонтальном уровне имели место такие виды вертикальной мобильности, как номенклатурная, меритократическая, патронажно-клиентарная мобильность. Кроме того, существовали принудительная и добровольная, в том числе поощрительная, формы мобильности. Постепенно роль принудительной мобильности уменьшалась, а значение, например, поощрительной или патронажно-клиентарной мобильности повышалось. Номенклатурность и патронажно-клиентарные отношения или принцип родственно-дружеских кланов можно рассматривать в качестве специфических модусов «циркуляции элит» в условиях советского общества. В нем возможность для контрэлиты снизу занять властные позиции исключалась. Пример таких оппозиционеров, как академик А. Сахаров, который был вызволен из ссылки в 1986 г. по воле Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева и вскоре избран народным депутатом, только подтверждает это правило.

Наряду с формальной иерархией с вертикальной мобильностью наблюдалась неформальная иерархия с вертикальной мобильностью. Ее образовывал слой неформальных посредников или «блатных». Их формальный статус мог быть не высоким (продавцы, рядовые научные сотрудники, инженеры, бывшие спортсмены). Но они при этом могли занимать высоко статусные позиции в неформальном типе иерархии с вертикальной мобильностью. Теневая вертикальная мобильность стала следствием ограниченной легитимной вертикальной мобильности. Так, отдельные группы колхозного крестьянства фактически находились в состоянии социального исключения. Среди рабочих средней квалификации, составлявших большинство советского рабочего класса, показатели вертикальной мобильности были сравнительно низкими. Особенностью вертикальной мобильности в СССР является тесная связь между социальной и политической мобильностью. Чем выше индивид продвигался по ступеням социальной иерархии, тем выше должен был быть его ранг в партийно-государственной иерархии. В советском типе социальной стратификации доминировала символическая стратификация, где статус символических производителей выше статуса производителей материального продукта. Социальная структура советского типа разделяла черты индустриального и доиндустриального обществ и в этом плане носила промежуточный характер.

2. 5. Советский человек

Со времен «Государства» Платона сложилась традиция рассмотрения того или иного социального порядка, включающая анализ типа человека, без которого данная социальная система не смогла бы существовать. То же самое верно и в отношении советского социального порядка. Правящие круги в СССР хорошо понимали роль «человеческого фактора»

для стабильного функционирования сложившейся системы общественных отношений и уделяли этой проблеме ключевое внимание. Вся система пропаганды, агитации, институтов социализации строилась на воспитании в человеке нужных советской системе социальных качеств. Однако было бы односторонним считать, что советский тип человека сложился только под воздействием советской системы идеологического воспитания. Советские люди, которые были представителями разных национальностей, унаследовали также и важные культурно-психологические черты своих предков, никогда не знавших социализма.

Само понятие «советский человек» в социологический дискурс ввел в конце 50-х гг. немецкий исследователь К. Менерт [123, с.21]. Другой немецкий социолог Р. Дарендорф закрепил употребление этого термина, внося его в свою типологию личностей. Согласно Дарендорфу, *homo soveticus* – это человек, зависящий от государства [124, с.139]. Позже российские исследователи, в частности Ю. Левада, Л. Гудков развили эти идеи своих европейских коллег. В результате проведенных исследований были выявлены базовые характеристики типа «советский человек». Его основу составляют представления:

об исключительности, или особости, нашего (советского, русского) человека, его превосходства над другими народами или, по меньшей мере, несопоставимости его с другими. Эта характеристика обозначается как «принудительная самоизоляция»;

о его «принадлежности» государству (взаимозависимость социального инфантилизма – ожиданий «отеческой заботы от начальства» – и контроля над собой, принятие произвола властей как должного). Эта характеристика определяется как «государственный патернализм»;

об уравнилельных, антиэлитарных установках. Эта характеристика выражается в «эгалитаристской иерархии»;

о соединении чувства превосходства с чувством ущемленности. Эта характеристика проявляется в «имперском синдроме» [123, с.23].

Л. Гудков продолжает: «Каждая из этих характеристик представляет собой механизм управления антиномическими по своему происхождению или сфере бытования ценностными значениями, сочетания взаимоисключающих самоопределений или норм действия, придающих всему образцу ... характер двоемыслия» [123, с.23].

Вместе с тем ни в одной социальной системе, по крайней мере современного типа, восприятие пропагандируемых властью идей не является пассивно-соглашательским. «Было бы ... большим упрощением полагать, – пишет Л. Гудков – что навязываемый пропагандой, поддержанный ... репрессивными структурами и институтами социализации ... этот образ человека принимался “обществом” ... в полном соответствии с интенциями власти» [123, с.22]. Это наглядно иллюстрирует проводившееся известным российским социологом Б. Грушиным многолетнее изучение российского общественного мнения. Эти социологические исследования помогают выявить некоторые важные тенденции в эволюции общественного сознания в СССР, понять его структуру и связь с формами массового поведения советских людей. В начале 60-х гг. среди приоритетных ценностей значились мир на Земле, высокая духовность и нравственность, образование, семья и благополучие страны [125, с.531]. При этом обеспечение мира понималось не узко прагматически в духе более позднего слогана «лишь не было войны», а идеологически. Советские люди того времени считали мир возможностью спасти все человечество, добиться победы социализма на планете, осуществить планы СССР. Наиболее популярны были такие идеологические ценности, как успехи в строительстве коммунизма и социалистический коллек-

тивизм [125, с.533]. Однако уже тогда в ценностной структуре массового сознания стали возникать некоторые несоответствия пропагандированным идеологическим установкам. Несмотря на пиетет, по выражению Грушина, перед «духовным началом жизни», было уже немало тех, кто полагал, что «деньги – это все!». Среди приоритетных ценностей не значился и творческий труд. Даже в среде участников движения за коммунистический труд эта ценность не занимала первое место в ценностной иерархии, где предпочтение отдавалось идее формирования «нового человека» [125, с.532]. Труд многими рассматривался как способ заработать на жизнь. В соответствии с коммунистической идеологией новый человек не мог сформироваться без превращения труда в первую жизненную потребность и форму творческой самореализации личности. Здесь можно зафиксировать момент неприятия массами фундаментального положения идеологии и принципа жизнеустройства коммунистического общества. Причина, по которой массивная пропаганда не сумела изменить отношение людей к труду, кроется в отсутствии в России традиции свободного труда и «почти полутысячелетней традиции труда принудительного» [94, с.46]. Эту традицию не сумел переломить даже трудовой энтузиазм, который, по признанию Р. Рывкиной, был важной чертой советских работников [96, с.77]. Несмотря на упразднение таких форм внеэкономического принуждения, как лагерный труд и система прикрепления крестьян к земле, элементы принудительного труда сохранялись. Труд в СССР был не только правом, но и обязанностью советского человека. Следуя старому социалистическому лозунгу «кто не работает – тот не ест», власти следили за тем, чтобы каждый член общества работал. Тех, кто отлынивал от работы, наказывали за тунеядство. По свидетельствам американцев, приглашенных в период индустриализации на работу на Магнитогорский металлургический комбинат, на заводах преобладали низко квалифицированные рабочие, слабая организация труда и потери рабочего времени, вызванные прогулами или привычкой устраивать десятиминутные перекуры после каждого часа работы [94, с.52]. Низкую по сравнению с западными стандартами культуру труда не удалось компенсировать, а тем более повысить с помощью трудового героизма, а когда он угас, то ему на смену пришел «социалистический практицизм». В рамках этой ценностно-поведенческой стратегии «труд все более превращается в средство ...достижения других целей – получения жилья, доступа к дефицитным благам, выездов за границу, высокой зарплате» [96, с.79]. «Социалистический практицизм» содействовал развитию сетевых, горизонтальных связей в советском обществе, росту дифференциации социальных позиций различных групп населения по объему неэкономических форм капитала.

Большим почтением в массовом сознании пользовалось образование. Но и отношение к нему в значительной степени было лишено идеологизированных оценок. Молодежь смотрела на образование как на «механизм профессиональной и общественно-политической карьеры» [125, с.532]. В условиях отсутствия политической демократии образование стало наиболее массовой формой социального участия советских людей. Получить образование считалось престижным и почетным делом. Образование в Советском Союзе было настолько важной сферой жизнедеятельности, что человек, выведенный за его рамки, не мог ощущать себя полноценным индивидом и рассчитывать на уважение со стороны своих сограждан. По данным социологических исследований, проведенных в 70-х гг., почти 98% девятиклассников «самой страшной трагедией своей жизни считали “не поступление” в вуз» [126, с.17]. Правительственная политика вовлечения самых широких слоев населения в сферу образования объективно восполняла «недостаток экономического стимулирования

труда высоким образованием работников ... Образование, досуг, свободное время стали ... важнейшими элементами общественного идеала, не уступающими по своему значению ценностям материального потребления и экономического благополучия» [81, с.49]. Отношение к образованию в СССР в чем-то сопоставимо с отношением к образованию в Древнем Китае. Там школа (в широком понимании слова) была открыта для всех слоев общества и служила «социальным лифтом» для простых людей, а «образовательный тест» выполнял роль «всеобщего избирательного права» [21, с.155].

Тем не менее по мнению специалистов советскому образованию были присущи системные недостатки, отрицательно сказавшиеся на формировании подрастающих поколений. «Есть очень показательный период в нашей истории – пишет А. Самсонов – сразу после Октябрьской революции. Тогда образование развивалось невиданными темпами, несмотря на разруху и голод. ... Еще при жизни первого поколения революционеров страна из крепостного невежества достигла звания самой образованной и самой читающей страны мира. Но это количество не переросло в качество, как на это надеялись теоретики марксизма-ленинизма. Образованных людей было много, но личностей – мало или, во всяком случае, недостаточно для принятия тех решений, которые могли бы сделать принесенные жертвы залогом достижения нового качества жизни. И потому новое качество не было достигнуто – не было построено устойчивое социалистическое общество, хотя все “сдавали” и знали (!) научный коммунизм» [127, с.4-5]. К 1985 г. 35 млн. чел., т.е. каждый четвертый из занятых в общественном производстве, обладал дипломами о высшем или среднем специальном образовании. В это время по числу дипломов на душу населения СССР в два-три раза превосходил аналогичные показатели наиболее развитых стран мира. Вместе с тем «значительная часть дипломов была липовой» [126, с.17]. Как констатирует И. Бестужев-Лада, «если в 50-х годах начинающий дипломированный специалист получал в среднем вдвое больше опытного недипломированного, то в 70-х эта пропорция сменилась на прямо противоположную и продолжала нарастать. Тогда миллионы дипломированных устремились на гораздо более высокооплачиваемые места все более дефицитных недипломированных. Получился не просто грузчик с дипломом, а грузчик деморализованный ... Система зашла в тупик и стала давать асоциальный эффект» [126, с.17-18].

Массовая включенность советских людей в процесс образования отражала не только их личный, внутренний порыв к «свету знания», но и воспроизводила «советскость» как нормативную идентичность социальных акторов. Советская идентификационная матрица складывалась из нескольких основных форм идентичностей: идеологической, культурной, социальной, профессиональной, национальной. Они существовали не порознь друг от друга, а в противоречивом единстве, не исключавшем их двойственность. Это можно проследить в частности на примере культурной идентичности. Только грамотный человек мог быть и идеологически грамотным. Одновременно «культурность» понималась и как «индикатор цивилизованности» [59, с.129]. «Именно в советский период – отмечает А. Лукина – сложился национальный художественный канон ...; был создан и литературный канон, или национальная классика (... как русская, так и Литература Союзных республик...); музей стал массовым, общественным пространством, посещение которого являлось обязательной программой советского человека» [212, с.251]. Двойственное требование к образцу культурности содержало в себе возможность выхода за рамки жестких идеологических норм в мир иррелевантных с точки зрения стандартов официальной культурно-символической и культурно-нормативной стратификации символов и практик, формировавших «при-

ватное пространство» индивида. Как отмечает Д. Резинко, «стандарт “культурности” изначально был призван служить согласованию “внешнего” (макросоциального) и “внутреннего” (индивидуально-личного) жизненного пространства индивида. “Внешне” “культурность” выступала как средство социальной (жизнестилевой) маркировки, “внутренне” (уже в качестве “созидательности”) – как строительный материал для приобретения повседневных привычек, формирования индивидуальных вкусов и особенностей человека, определяющих неповторимость его “лица”. Эта неповторимость (сочетающаяся с типичностью поведения в анонимном Большом обществе), структурировали приватное пространство индивида» [59, с.129].

Структурирование приватного пространства стало еще одной фундаментальной тенденцией в изменении ценностной структуры в советском массовом сознании, ускорив процесс индивидуализации социальных практик. После нескольких десятилетий жертвенного коллективистского труда периода индустриализации, требовавшего от людей пренебречь личным уютом и комфортом, возникает желание иметь свой угол, устроить свой быт, насладиться благами жизни.

Новые веяния в обществе уловило искусство тех лет. В литературе, музыке, кинематографе, живописи тиражирование образа героев труда эпохи первых пятилеток постепенно сменялось индивидуализацией образа советского человека. Он уже воспринимался не просто как безликая частичка трудовых масс, а как личность со своими поисками, со сложным, не всегда поддающимся однозначным оценкам отношением к жизни. Раньше советские писатели концентрировали свое внимание на отображении крупных общественных процессов, движения масс. Даже в названии произведений сквозила обезличенность. «Поднятая целина» М. Шолохова, «Соть» Л. Леонова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Разгром» А. Фадеева представляют собой лишь некоторые из ярких примеров произведений «социалистического реализма» (термин введен в 30-е гг. М. Горьким – автором знаменитого высказывания «человек – это звучит гордо»), воплощавшего в литературе идеологический курс партии. Особняком стоит «Тихий Дон» М. Шолохова, продолжившего в этом произведении традиции русской классической литературы. За «Тихий Дон» писателю была присуждена в 1965 г. Нобелевская премия по литературе. На фоне трагических событий революционного времени, названного А. Деникиным «русской смутой», писатель проследил судьбу одного человека, который, отказавшись от идеологии насилия, как красных, так и белых, вернулся в родную станицу, обретя в ней сына – самое дорогое, что у него осталось в этом мире. Наперекор литературному официозу в 30-е гг. развивалось творчество О. Мандельштама, И. Бабеля, Б. Пильняка, Д. Хармса, поплатившихся своими жизнями за идеологический нонконформизм. В период «оттепели» нарастали личностные начала в художественном восприятии окружающей реальности. В ряду такого рода произведений особое место занял «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, опубликованный в журнале «Новый мир» в 1962 г. В 60-е гг. этот журнал, который возглавлял известный поэт и общественный деятель А. Твардовский, стал трибуной для выражения взглядов независимо мыслящих людей того времени. В жанре советского исторического романа громкий резонанс получили книги В. Пикуля. Писатель намеренно отошел от марксистской схемы исторического процесса как борьбы безликих классовых сил и движений народных масс, показав, что судьбы страны и мира находятся в руках конкретных людей со своими амбициями, недостатками, волей к жизни и власти. В музыке 20-х гг. преследованиям подвергался русский романс, который считали глубо-

ко чуждым пролетарской культуре явлением. Однако со временем романс превратился в органическую часть советской музыкальной культуры. Схожая история произошла с русским национальным маршем А. Турищева, посвященным крейсеру «Варяг». Затопленный его командой во время русско-японской войны начала XX в., он не достался противнику. Запрещенный в 20-е гг., марш вновь зазвучал в годы Великой Отечественной войны и с тех пор никогда не исчезал из репертуара патриотической музыки. Неоднозначным было отношение к джазу (его то запрещали под идеологически мотивированными предлогами, то разрешали). В конце концов, джаз стал важной приметой советского музыкального искусства. Джаз и романс (а позже рок) помогали формировать вкусы и запросы советских людей в стороне от влияния партийной идеологии. Творчество Д. Шостаковича, С. Прокофьева, других крупных композиторов разрушало классовое понимание искусства и поднимало достижения советской культуры до общечеловеческого значения. Внутреннюю творческую свободу, не зажатую идеологическими условностями, демонстрировало исполнительское мастерство Э. Гилельса, Д. Ойстраха, С. Рихтера и других прославленных музыкантов.

Серьезное смещение акцентов произошло в кинематографе и театре. Фильмы «Иду на грозу», «Застава Ильича», «Девять дней одного года», «Доживем до понедельника», «Премия», «Мы, ниже подписавшиеся», «Калина красная», пьесы А. Володина, А. Гельмана (которые с успехом шли в «Современнике» и некоторых других театрах страны), экранизация произведений Д. Гранина, В. Дудинцева, В. Аксенова, В. Шукшина и др. раскрывали конфликтный мир человеческих отношений, не вмещающийся в прокрустово ложе классового сознания и социалистического реализма. В 70-е – 80-е гг. в советском кинематографе возникает элитарное кино. Оно вводило новое для советских культурных стандартов деление на массового и элитарного зрителя. В изображении нового, советского человека все больше внимания акцентировалось на его внутреннем мире. Кино как фактору пропаганды и идеологического воспитания коммунисты традиционно отводили самую почетную роль. Традицию пиетета перед кинематографией заложил еще В. Ленин, назвав кино «важнейшим из искусств». Правда, он при этом добавлял, что оно останется таковым до тех пор, пока массы не станут грамотными. Но и с наступлением всеобщей грамотности населения кино, а затем и телевидение в СССР оставались наиболее популярным видом досуга. Их «социальная эффективность» объяснялась не только техническими возможностями, но и установлением «многосторонней социальной конвенции: между доминирующими и доминируемыми, производителями идеологической “нормы”, ретрансляторами идеологического дискурса и “потребителями” идеологии» [59, с.153]. Однако эта «конвенция» не предотвращала появление «не конвенциональных» форм в литературе, кинематографе, живописи, музыке и соответствующую реакцию на них со стороны властей. Для советской культуры столь же типично противостояние между писателем и властью, как и для культуры русской. Это противостояние порождалось особенностью общественного устройства, где власть была передоверена государству как самому активному и самостоятельному актору социума. Появление в определенные, чаще всего переломные, моменты российской истории писателя (который в России больше, чем писатель), заставляющего власть вызывать его на «дуэль», обнаруживает сбои, накопившиеся в отношениях между властью и обществом, но не гарантирует ему массовой поддержки у населения. Фигуру писателя в советском (как и в российском) обществе можно сопоставить с архетипом культурного героя в мифологии. Можно даже ска-

зять, что в таком обществе не только действуют исторические силы, принадлежащие к эмпирической реальности, но и присутствуют паттерны, относящиеся к архетипическому космосу.

После войны наиболее громким событием в культурной жизни страны стало Постановление ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». В нем основной удар наносился по известным деятелям русской культуры того времени А. Ахматовой и М. Зощенко. Бывший в ту пору секретарем ЦК ВКП (б) и секретарем Ленинградского обкома и горкома партии А. Жданов, занимавшийся идеологическими вопросами, назвал Зощенко «мещанином и пошляком», а Ахматову обвинил в том, что ее поэзия «далека от народа». Каскад обвинений в адрес русских писателей выражал острую реакцию партийного руководства на независимую позицию представителей русской культуры, уцелевших в вихре революции и искавших свое место в советской действительности. В 1988 г. ЦК КПСС отменил Постановление ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г., тем самым, признав необоснованными действия партии в то время. Новый конфликт между писателем и властью вспыхнул в конце 50-х гг. Даже начавшаяся тогда «оттепель» не смогла поколебать российскую традицию их противостояния, проведя черту, за которой культуре «не должно сметь свое суждение иметь». Неприятие Б. Пастернаком большевистской революции, выраженное в романе «Доктор Живаго», его публикация за рубежом и присуждение ему Нобелевской премии по литературе вызвали волну организованного партруководством осуждения писателя. Тогда получило широкую известность высказывание «Я Пастернака не читал, но его осуждаю». Слившийся воедино голос партии и народа заставил писателя отказаться от получения Нобелевской премии. Исключенный из Союза писателей, надломленный критикой «сверху» и «снизу», Пастернак оказался на закате своей жизни в такой изоляции, какой он, возможно, не знал даже в 30-е гг. В конце 80-х гг. «Доктор Живаго» после многолетнего запрета на его публикацию был издан в СССР. В начале 60-х гг. под запрет подпала книга В. Гроссмана «Жизнь и судьба». В разговоре с писателем М. Суслов, занимавшийся идеологическими вопросами в аппарате ЦК партии, заявил, что эту книгу не опубликуют и через 250 лет (один из многих примеров производителя идеологической «нормы»). Но уже во второй половине 80-е гг. «Жизнь и судьба» увидела своего читателя в Советском Союзе. В начале 70-х гг. была развернута широкая идеологическая кампания осуждения творчества А. Солженицына за его критику сталинской политики массового террора. Положение Солженицына напоминало положение, в котором находился Пастернак за полтора десятилетия до этого. Однако исход этих шумных кампаний для обоих писателей оказался разным. Пастернака оставили в Советском Союзе, а Солженицына выслали на Запад. Несмотря на риски, подстерегавшие независимых писателей, в «самиздате» публиковались произведения авторов, которые по идеологическим соображениям не могли выйти в открытую печать. У читательской аудитории «самиздата» пользовались популярностью журнал «Чась», альманах «Метрополь» и др. Не менее драматическая ситуация сложилась в кинематографе. Нередки были случаи, когда снятые фильмы ложились на «полку». Так, 20 лет не выходил на экраны страны снятый в 1967 г. фильм А. Аскольдова «Комиссар». Режиссеру пришлось уйти из художественного кинематографа, куда он больше не возвращался. Только в 1987 г. секретариат ЦК КПСС позволил выйти этой киноленте на советский экран. Похожая судьба ждала ряд фильмов Э. Климова («Агония», «Иди и смотри»), М. Швейцера («Тугой узел») и некоторых других режиссеров. Даже ставший классикой советского антифашистского кино документальный фильм М. Ромма «Обыкновенный

фашизм» вызвал неоднозначную реакцию в советском руководстве. М. Ромма вызвали на заседание Секретариата ЦК, где М. Суслов спросил кинорежиссера: «Михаил Ильич, почему мы вам так не нравимся?» [121, с.594]. В этом вопросе слышался страх перед тем, что советские зрители могут увидеть в нацистском режиме аллюзию на советский строй. Беспокойство М. Сулова было не беспочвенным. Переводчик советских руководителей предвоенных и военных лет, впоследствии известный журналист-международник В. Бережков вспоминал: «Работая в нацистской Германии в 1940 году, я наблюдал поразившую меня картину. То же обожествление “вождя”, такие же массовые сборища и парады ...Очень схожая помпезная архитектура, героическая тема в живописи, подобная нашему социалистическому реализму» [141, с.11]. Тем не менее, фильм вышел на экраны вскоре после того, как в Советском Союзе отметили двадцатилетнюю годовщину победы над нацистской Германией.

Менялась песенная культура. В песнях 30-х гг. воспевался трудовой энтузиазм эпохи индустриализации. Но уже тогда закладывались основы и иного культурного направления, шедшего вразрез с идеологическим пуризмом. Оно впитывало в себя элементы западной культурной традиции в виде песен и танцевальных номеров в духе европейского шансона и голливудских мюзиклов. Классическим примером достижений в этом жанре стало творчество Л. Орловой и Л. Утесова. Джазовая музыка звучала в исполнении знаменитого музыканта Э. Рознера и др. Популярными исполнителями русского романса были И. Юрьева и В. Козин. Песни 60-х – 70-х гг. все больше обращались к частному миру индивида, стремящегося к душевному покою и стабильности. Одновременно представления о прочности существующего порядка вещей вытеснялись ощущениями призрачности жизни. На смену стремлению жить будущим, культивировавшемуся официальной идеологией для оправдания огромных жертв, понесенных страной в первые десятилетия советской истории, и сравнительно низкого уровня жизни в последующие годы во имя поставленной цели – построения коммунизма, – которая становилась все более несбыточной, пришло желание жить «здесь и сейчас». В самосознании советского человека поселялась мысль о том, что «призрачно все/ в этом мире бушующем/есть только миг/за него и держись/есть только миг/между прошлым и будущим/именно он/называется жизнь» (слова из известной песни к кинофильму «Земля Санникова»). Изменения в тематике и тональности подачи материала затронули также живопись и поэзию. Весьма симптоматичным было появление в советской живописи фигуры И. Глазунова. Монархист по убеждению, он своими картинами бросал вызов официальным идеологическим устоям. Его творчество можно рассматривать как признак кризиса социалистического реализма. Принципам социалистического реализма противостояли «соцарт» и другие направления живописи советского «андерграунда». Свободомыслие, в том числе в искусстве, вызывало ответную реакцию власти. Достаточно вспомнить обструкцию, учиненную Н. Хрущевым художникам на выставке в московском Манеже (например, скульптору Э. Неизвестному) и поэту А. Вознесенскому, пригрозив последнему высылкой из страны. Других заставляли покидать страну. Среди них были писатели, музыканты, режиссеры, поэты, художники. Вот имена только некоторых из них: В. Некрасов, В. Максимов, А. Солженицын, И. Бродский, В. Аksenov, А. Галич, М. Ростропович и др. В начале 70-х гг. из СССР эмигрировал во Францию Д. Панин – продолжатель традиций русской религиозно-философской мысли, заложенных Вл. Соловьевым. Были и те, кто объявляли себя «невозвращенцами». Так произошло с ведущими артистами Большого и Мариинского театров А. Годуновым,

М. Барышниковым, оставшихся в США, Р. Нуреевым, выступавшим во Франции и других странах мира. В конце 60-х гг. Советский Союз покинула дочь И. Сталина С. Аллилуева. Она не была ни ученым, ни писателем, ни музыкантом, ни художником, ни тем более бунтарем. Поэтому уже одно то, что Аллилуева добровольно уехала из страны, которую фактически выпестовал ее отец, свидетельствовало о серьезном идеологическом надломе советского общества.

Смена настроений произошла не только на волне социальной усталости населения от эпохи коммунистического «штурма и натиска», но и благодаря изменениям в социальной политике КПСС. Повороту в сторону усиления индивидуальных достижительных практик способствовал ряд факторов. Среди них повышение благосостояния советских людей в соответствии с выдвинутой партией лозунгом «все для благо человека»; провозглашение семьи основной ячейкой общества; массовое жилищное строительство, все больше вытеснявшее коммунальное жилье отдельными квартирами; начало массовой автомобилизации страны; переход на пятидневную рабочую неделю. Хотя основные социальные права трудящихся были провозглашены еще Октябрьской революцией, их реальное воплощение началось гораздо позже, когда советское общество сумело создать необходимую для этого материальную основу. Права на всеобщее пенсионное обеспечение, бесплатное образование, жилье и т.д. из лозунгов превращались в реальность для широких слоев населения. Получая отдельную квартиру, советский человек приобщался к иной логике социального поведения. Он теперь мог по своему вкусу обставить квартиру, не нуждаясь для этого в одобрении коллектива. Люди начинали все больше заботиться о материальном быте (приобретая телевизоры, холодильники, ковры, мебель, посуду, машину), погружаясь в мир своих интересов. В отдельной квартире иначе стала восприниматься ценность семьи. Она превращалась в единственный бастион независимости от давления идеологически заряженной социальной среды. В свое время большевики, считая семью буржуазным и потому отжившим свой век институтом, хотели ее разрушить. Они на практике попытались осуществить то, что теоретически обосновывали в свое время марксизм, а также утопический коммунизм. Так, Ф. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», доказывая исторически преходящий характер семьи, предлагал заменить ее институтом общественного воспитания детей. Большевики видели в семье оплот частной жизни, в которой они усматривали одну из основных помех для перехода к коллективистской организации общества. Поэтому они поспешно приняли декреты, заменявшие венчальный брак гражданским, не скрепленным никакими обязательствами супругов и построенным на свободных отношениях между ними. По мнению исследователей, подрыв устоев традиционной семьи повлиял на снижение рождаемости в Советской России в 20-е гг. по сравнению с периодом, предшествующим Первой мировой войне (помимо убыли населения из-за мировой и Гражданской войн). Не сумев упразднить семью, большевики попытались тогда идеологизировать семейно-брачные отношения. В 20-е гг., например, практиковались так называемые «красные» свадьбы, на которых партийные работники «скрепляли» брак идеологическими напутствиями и дарили молодоженам сочинения вождей партии. Этот ритуал напоминал благословения, отпускавшиеся священником при освящении брачного союза. В 30-е гг. в СССР институт традиционной семьи был восстановлен, но оказался под контролем государства. Так что, хотя экзотические партийные ритуалы в области

семейно-брачных отношений 20-х гг. сошли на нет, парткомы оставляли за собой право вмешиваться в семейную жизнь, особенно в тех случаях, когда раздоры между супругами могли сказаться на производственных показателях предприятия.

То обстоятельство, что семейная жизнь в отдельной квартире требовала уделять больше внимания приобретению материальных товаров и услуг, в конечном счете подтолкнуло к развитию психологии консюмеризма, дифференциации стилей жизни и материальных потребностей. К тем же результатам вела и начавшаяся со строительством автомобильного завода в Тольятти в начале 60-х гг. автомобилизация страны. Советский человек мог приобрести автомобиль в личную собственность и по своему усмотрению распоряжаться своим свободным временем, которого у него стало больше с переходом производства на пятидневную рабочую неделю. В советском обществе, особенно среди молодежи, появились так называемые «белые вороны», тяготевшие к западному образу жизни. Их «инакомыслие и инакоповедение относились к ... поверхностным формам социального бытия, например, сводились к ношению запрещенных комсомолом тегасских брюк или к увлечению ... рок-н-роллом» [125, с.533]. В 60-е гг. оглушительный успех среди советской молодежи имела британская вокально-инструментальная группа «Битлз». На ее песнях воспитывалось целое поколение советских людей. В 70-е – 80-е гг. влияние рок-музыки только возросло, охватив широкие круги советской молодежи. В 80-е гг., на пороге и в период перестройки, большое влияние на сознание многих молодых людей оказали протестные песни В. Цоя, ставшего затем на долгие годы их кумиром.

Индустриализация и урбанизация стирали некоторые важные социально-психологические черты, присущие индивиду традиционного общества. Еще в 30-е гг. Н. Бердяев писал об «американизации» русского человека при «советском социализме», о смене традиционной тяги к земле тягой к машине. По словам Л. Гордона и Э. Клопова, «расхожие рассуждения о ... “соборности” сознания народного большинства кажутся ... безосновательно иллюзорными применительно к ситуации второй половины XX в., особенно в приложении к трем четвертям населения, сосредоточившимся в это время в городах. Даже если считать, что подобная “соборность” была реальностью в крестьянской общине столетия назад, от нее мало чего осталось в ... городских “Черемушках” 60 – 80-х гг.» [81, с.272]. По словам российских ученых «у крестьян, переселившихся в советские города, и тем более у их детей, родившихся в этих городах, выветрились всякие остатки традиционной деревенской солидарности. А современная солидарность, вырабатываемая опытом рабочего ... движения, у нас не складывалась ... , потому что не было ... доступного пространства свободы ..., в котором ... способна вызревать культура трудовой солидарности» [81, с.272]. Урбанизация привела к кризису традиционных ценностей, в том числе механической солидарности, «поглощающей индивида в группе, часть в целом» [128, с.187]. В концепции Э. Дюркгейма механическая солидарность не означает, что «она производится искусственно и ... механическими средствами ...» [128, с.138]. Она означает, что «индивидуальное сознание ... полностью подчинено коллективному типу ...» [128, с.139]. Кризис механической солидарности содействовал развитию, говоря словами Дюркгейма, «центробежной силы», т.е. процессов дифференциации советского общества как претендовавшей на монолитность ценностно-нормативной системы.

Указанные процессы обособляли сферу частной жизни от государства, постепенно размывая идеократические основы советского общества, подкреплявшиеся практиками аскетизма и коллективизма. Однако процесс «обуржуазивания» не был гладким. В период

до 70-х – 80-х гг. бесплатное жилье получило не более половины населения страны [81, с.49]. Так и осталось невыполненным данное уже в период перестройки руководством страны обещание предоставить каждой советской семье отдельную квартиру к 2000 г. Жизненные стандарты в Советском Союзе заметно уступали материальному уровню жизни в западных странах. Это касалось как качества предоставлявшихся услуг, так и уровня зарплаты. В середине 80-х гг. заработная плата, составлявшая главную часть денежных доходов большинства советских работников (работавшие по найму тогда составляли 90 – 95%), была меньше зарплаты в развитых странах западного мира. Если в СССР рабочие и служащие получали примерно 240 долл. (по официальному курсу 1985 г.), то в США, ФРГ, Великобритании, Франции в промышленности средняя зарплата во второй половине 80-х гг. колебалась в пределах от 1000 до 2000 долл. [81, с.125].

В период «оттепели» сложились три основных социальных типа советских людей: активные приверженцы советской власти; ее более умеренные и законопослушные сторонники (конформисты); те, кто был недоволен существовавшей властью и находился в оппозиции к ней (нонконформисты) [125, с.534]. Первую группу представляли сторонники революционного романтизма, многочисленный слой «функционеров» – работников партийных, государственных органов, общественных организаций, часть гуманитарной интеллигенции. Группу конформистов составляли «творцы-профессионалы», «трудяги-средняки» и часть «разочарованных». К числу нонконформистов, которые составляли в начале 60-х гг. меньшинство советского общества, принадлежали остальная часть «разочарованных», нигилисты и диссиденты [125, с.535 – 536]. Однако на деле отношение к коммунистической власти не было столь четким, как может показаться из этой трехчленной разбивки. Отношение людей к таким политическим институтам, как КПСС, Верховный Совет народных депутатов, Правительство СССР, было более лояльным. В те годы социологические опросы не фиксировали группу нонконформистов в отношении данных институтов. Эти опросы выявили только два типа отношения к ним – позитивный и нейтральный [125, с.536]. Объяснение этому, на первый взгляд, парадоксальному явлению в советском массовом сознании можно найти в сильных традициях патернализма в России. Советская власть не устранила патерналистские настроения в обществе, а трансформировала их. Место русского самодержца заняла партия – «коллективный монарх». Еще в 50-е – 60-е гг. можно было прочесть такое четверостишие:

Прошла зима
Настало лето
Спасибо партии
За это!

Тем не менее, анализ структуры сознания в терминах «монизм/плюрализм» показал наличие в советском обществе первой половины 60-х гг. идеологического плюрализма, что дало основание Б. Грушину квалифицировать «структуру сознания россиян» того времени как «монистически-плюралистическую или плюралистически-монистическую» [125, с.541 – 542]. На основе данных проведенных социологических исследований Грушин сделал вывод о том, что «эмбрионы будущего ... отрицания россиянами идеологии и практик советского ... общества зарождались ... в те самые оттепелевые годы» [125, с.537].

Подмеченные российским социологом тенденции изменения массового сознания получили продолжение в 70-е гг. В ходе опросов выяснилось, что «в советском/российском обществе существовали широкие слои населения, не только ... стоявшие в стороне от “всякой”

политики, но и ... откровенно заявлявшие об ... аполитичности» [129, с.238]. Так, опросы об отношении разных групп населения к гимну Советского Союза показали, что интерес населения к гимну не был всеобщим (только половина населения заинтересовалась этой темой). При этом опрошенных интересовала больше музыка гимна, чем его слова [129, с.237-238]. Поляризацию общественного мнения выявили и опросы об отношении людей к проблемам производственной демократии. Тема выборности на производстве приобрела особый резонанс во второй половине 60-х гг., когда в одной из бригад был выбран прораб. В ходе исследований по выборности прорабов на стройке выяснилось, что выборы производственных руководителей стимулируют рабочих и мастеров к более активному участию в управлении производством. Однако советский вариант индустриальной демократии был мало похож на ее западноевропейский (в частности западногерманский) вариант. Во-первых, оба варианта индустриальной демократии развивались в разной социально-экономической и политической среде. Западноевропейские рабочие могли отстаивать свои права в условиях политической многопартийности, относительной независимости профсоюзов, функционирования социального рыночного хозяйства (как в ФРГ). Советские рабочие не имели таких возможностей для реализации своих демократических требований. Во-вторых, советская индустриальная демократия ограничивалась принципом выборности и уживалась с патерналистским сознанием. Советские рабочие не могли существенно влиять на производственную политику в обстановке полного огосударствления собственности. В Западной Германии рабочие имели свой голос при решении важных для них проблем, и владельцы предприятий вынуждены были с ними считаться. Западногерманский опыт участия рабочих в управлении производством получил название «соуправления». Оно осуществлялось на базе социального партнерства капитала и наемного труда. Соуправление принципиально не меняло отношения собственности, но развивало принципы демократии в сфере трудовых отношений. Более радикальную модель индустриальной демократии предложили в 70-е гг. прошлого века шведские социал-демократы. Созданный ими фонд Р. Мейднера (названный так по имени его инициатора) ставил своей конечной целью выкупить средства производства у частных собственников и передать их в руки трудовых коллективов. И хотя переход к самоуправлению «по-шведски» не состоялся, попытки достичь его, были подхвачены социальными движениями в других странах мира. Во многих развитых странах прижилась программа ESOP (Employee Stock Ownership Plan) – программа участия работников в собственности предприятий [80, с.364]. В-третьих, производственная демократия на Западе расширяла права и свободы отдельного наемного работника, а не только трудового коллектива. Производственная демократия в СССР подразумевала расширение коллективных прав трудящихся как членов трудовых коллективов. Ее опыт показал возможность прямой демократии даже в условиях жестко иерархизированного общества. Однако она не могла изменить и не изменила стереотипы сознания и поведения работника, мешавшие социально-экономической и социокультурной модернизации. Ниже мы приводим таблицу социальных качеств советских работников, иллюстрирующих это [96, с.78].

Социальные качества работников

Сферы функционирования работников	Стереотипы сознания и поведения
Политические взаимоотношения	Недоверия к государству. Отчуждения от политики «верхов». Слабая информированность о политических и хозяйственных решениях. Терпимость к дефектам государственного хозяйствования. Слабая межгрупповая интеграция. Слабая гражданственность.
Экономические взаимоотношения	Адаптированность к государственной системе организации труда. Отчуждение от средств производства и результатов труда. Отчуждение от управления производством. Ослабленность профессиональных критериев оценивания труда, подчинение профессиональных критериев должностным. Ориентация на места работы, удовлетворяющие потребительским запросам. Привычка использовать ресурсы предприятий в личных целях. Привычка к нарушениям трудовой и технологической дисциплины. Стремление к минимизации трудовых усилий. Формальная исполнительность. Привычка к сверхурочным работам. Слабая ориентация на нововведения. Боязнь рыночных форм экономики. Привычка к теневым формам экономического поведения.
Социальные взаимоотношения	Установка на коллективизм и взаимопомощь. Ориентация на уравнительность. Привычка к гарантированной занятости. Слабая ориентация на самостоятельные действия, проявление инициативы. Групповой эгоизм.

Дискуссии о производственной демократии в Советском Союзе выявили три типа социальных акторов: сторонников перемен, их противников и тех, кто стоял в стороне («аутистов») [129, с.308-309]. В число сторонников перемен входили представители технической и гуманитарной интеллигенции, а также радикально настроенные журналисты и часть руководителей общественных организаций, в том числе комсомольских. То, что в эту группу попали комсомольские руководители, свидетельствовало о нарастании идеологического раскола в советском обществе. Комсомол был не просто одной из общественных организаций, а имел статус помощника и резерва партии, будучи одним из источников пополнения рядов партийной номенклатуры. В группу противников перемен вошли «не столько представители различных групп населения, сколько представители разного рода органов государственного управления» [129, с.309]. Дискуссии вокруг производственной демократии фактически поляризовали общество по отношению к выбору пути его дальнейшего развития. Нужно ли в советском обществе развивать демократические отношения, как это провозглашалось с высоких трибун, или открыто отказаться от них и тем самым вступить не только в противоречие с конституцией, провозглашавшей демократические свободы советских людей, но и в конфликт с реальными ожиданиями советских трудящихся. Поэтому противостояние сторонников и противников перемен носило не узко корпоративный характер, а превращалось в «оппозицию “управляемые-управляющие” или “население-власть”» [129, с.309]. В результате, как заключает Грушин, «грозившее возникнуть в обществе напряжение по линии “население-власть” не только не было устранено, но ... получило дальнейшее развитие, когда стало очевидно, что весь корпус советских руководителей – начиная от самого простого заводского мастера и кончая

генеральным секретарем ЦК КПСС – с реформированием социалистической экономики ... не справился» [129, с.310]. Усилившееся напряжение из-за нерешенности экономических и политических проблем углубляло культурно-нормативную стратификацию в советском обществе. Однако это напряжение не приводило к росту самоорганизации или массовому протесту, а принимало иные формы. «Миллионам людей – пишет Р. Рывкина – было ... почти все равно, что происходит на производстве» [96, с.78]. Получили распространение достигательные стратегии, противоречившие официальным ценностно-поведенческим образцам: «хочешь жить – умей вертеться», «красиво жить не запретишь», «ты – мне, я – тебе». В них запечатлелись настроения индивидуализма, консюмеризма, прагматизма, т.е. те ценности, против которых выступала официальная идеология. В установке «ты – мне, я – тебе» нашел отражение основной принцип административно-рыночных отношений (на эту связь обратил внимание российский экономист В. Найшуль). Во второй половине 70-х гг. на советских экранах даже шел художественный фильм «Ты – мне, я – тебе», где выведен образ банщика – массажиста с большими связями (его сыграл Л. Куравлев). На административном рынке как ценностно-нормативной системы, отличной от официальной ценностно-нормативной стратификации, были востребованы социальные качества индивида, разрушавшие канонический образ советского человека. В уже упоминавшемся фильме «Прохиндиада» изображен советский тип делового человека (Сан Саныч). Но это не буржуазный делец, а игрок на рынке власти. Он «вышел», скорее, из Остапа Бендера – героя произведений И. Ильфа и Е. Петрова, чем, скажем, из Гранде (главного литературного персонажа «Евгении Гранде») О. Бальзака. Наряду с другими талантами, которыми наделили Ильф и Петров Остапа Бендера, их герой обладал еще одним. Он «тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций» («Золотой теленок»). Именно «тонкое знание» «системы обращения» с выше стоящими начальниками составляло основной ресурс «Сан Санычей» на административном рынке.

В. Радаев и О. Шкаратан не согласны с расхожим представлением о советском обществе как обществе двоемыслия и двойной морали. «Нам кажется, – продолжают они – что культурно-нормативная система воплощается здесь даже не в двух, а в трех существующих стандартах поведения и жизни К ним относятся:

официальные стандарты (поведение на публике),

формальные неофициальные стандарты (... неписанные, но строго

регламентированные нормы),

неформальные стандарты (нормы поведения в своем узком кругу)» [109, с.61].

В качестве примера тройных стандартов поведения российские ученые приводят поведение члена партии. Его поведение на открытом партийном собрании могло так же отличаться от поведения на закрытом партийном бюро, как последнее от его «кухонных» разговоров.

Процессы культурно-нормативной стратификации затронули и язык. Лексическая стратификация охватывала самые разные социальные группы. Так, носители официального партийного дискурса могли отходить от него, когда они находились среди «своих». Л. Брежнев, например, которого в официальных речах называли «выдающимся деятелем международного рабочего и коммунистического движения», в одной из частных бесед признавался в том, что не знает трудов классиков марксизма-ленинизма. В этом отношении фигура генерального секретаря ЦК КПСС (с 1964 по 1982 гг.) Л. Брежнева заслужи-

ваает особого внимания. Брежнев встал во главе партии после того, как на Октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964 г. был отстранен от власти Н. Хрущев. Это событие А. Солженицын назвал «малой октябрьской революцией». Ее смысл состоял в том, чтобы в советском обществе больше не допустить революционных потрясений. До прихода Брежнева к власти в стране постоянно поддерживался революционный накал. В свое время А. Парвус и Л. Троцкий выдвинули тезис о перманентной революции, восходящий к идее «непрерывной революции», высказанной К. Марксом в «Классовой борьбе во Франции» и ряде других работ. Ареной такой революции СССР оставался в течение нескольких десятилетий. По иронии истории Октябрьская революция не прервала цепь социальных переворотов в России, а только продолжила их. После В. Ленина И. Сталин осуществил новую революцию (революцию сверху), радикально перестроив российское общество путем ликвидации НЭПа, индустриализации, раскулачивания, создания культа вождя и расширения границ империи. По сравнению с И. Сталиным Н. Хрущев был менее удачливым революционером, но и он до конца своего правления не оставлял попыток кардинальных преобразований. Страну так долго держали в мобилизационном напряжении, что в ней произошел социальный «перегрев». Советский правящий слой не без оснований решил, что восход над Россией «зари революции» слишком затянулся и пора перейти от «праздника угнетенных» (как называли революцию большевики) к будничной жизни. При И. Сталине «жить стало лучше, жить стало веселей». При Н. Хрущеве тоже не было «скучно» и «грустно». При Л. Брежневе продолжались полеты в космос (которые уже не поражали воображение людей в отличие, например, от полетов Ю. Гагарина или В. Терешковой, хотя именно при Брежневе впервые произошел выход человека в открытый космос, совершенный советским космонавтом А. Леоновым в 1965 г.), строили Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), пропагандировали трудовые успехи. Но, несмотря на это, обществом уже овладевала скука. В Брежневе уже не угадывались черты большевистского трибуна, которые еще просматривались у Н. Хрущева в его манере публичных выступлений и в попытках осуществить, говоря словами В. Маяковского, «планов громадьё» (построить коммунизм к 1980 г., обогнать США, освоить целинные земли в Казахстане, проникнуть в космос, провести денежную реформу и др.). Далекий от революционаризма, Брежнев не был и сторонником политических свобод. Его задача сводилась к тому, чтобы оградить советское общество от новых социальных экспериментов и не расслаблять его очередной «либерализацией». В этом отношении примечательны слова, сказанные на встрече Брежнева с Миттераном в Кремле. Французский президент спросил советского генерального секретаря, нельзя ли сделать так, чтобы было немного больше свободы. На что Брежнев ответил: «... Нельзя, потому что, если одну маленькую частичку вынуть, рухнет все» [277, с.16]. Перестройка наглядно продемонстрировала, что происходит с такими системами, когда из них вынимают «одну маленькую частичку». Брежнев отвечал настроениям советского обывателя, расстававшегося с революционными иллюзиями, но никогда не жившего в условиях свободы. Брежнев олицетворял долгожданную стабильность в обществе, отказ от сумбурной и непредсказуемой политики времен «волюнтаризма». Брежнев не считал себя идеологом. Он выпустил под своим именем пятитомник «Ленинским курсом», скорее, следуя установившейся в партии традиции, чем, повинувшись своим внутренним убеждениям. К этим беглым штрихам к портрету Л. Брежнева стоит добавить интерес генерального секретаря к астрологии [146] (запрещенной в СССР с ликвидацией в 1929 г. старого по-

колениа астрологов) и хорошее знание им стихов Д. Мережковского – непримиримого противника «грядущего хама» и идеологически враждебного советской власти представителя русской культуры [163].

Стратификация языковых норм существовала также среди школьников, студентов, рабочих, представителей «социального дна», колхозников, интеллигенции, руководителей предприятий. Особенности культурно-нормативной стратификации рельефно передают частушки как особый вид народного фольклора, анекдоты, в том числе политические, сленги и входящие в них арготизмы, затрагивавшие как сферу бытовой жизни советского человека, так и область его идеологических и политических оценок международных и внутренних событий. Частушки и анекдоты не были исключительно достоянием «оттепели» или эпохи Л. Брежнева, когда люди позволяли себе открыто смеяться над партийно-государственным руководством страны, а появлялись и в годы правления Сталина, когда смеяться над «отцом народов» было сопряжено с огромным риском для жизни своей и своих близких. Так, при Сталине среди многих частушек ходила и такая частушка:

Как мне Сталину
Излить беду мою?
Запрусь в комнату
И на портрет плюю!

[59, с.138].

«Чтение этих частушек – подчеркивает Д. Резинко – позволяет, в частности, уловить определенные не только “антисоветские”, но и антимодернизационные мотивы, которые, главным образом, характерны для насильственно коллективизируемой советской деревни» [59, с.138]. Статус анекдотов менялся в зависимости от общей ситуации в советском обществе. По словам В. Разуваева смеховая стихия при сталинизме «была вытеснена ... в недозволенную неофициальную область (анекдоты, некоторые блатные песни). При этом нарушителям канонов угрожало уголовное наказание, т.е. недозволенный политический смех принадлежал к категории преследуемого государством. Однако уже при Хрущеве “внутриполитический” смех прорвался в недозволенную, но и не преследуемую в уголовном порядке сферу ... Эта традиция сохранилась и при последующих лидерах партии и страны» [130, с.139]. Много анекдотов сочиняли о Н. Хрущеве, Л. Брежневе, меньше о Ю. Андропове. Распространявшиеся в 70-е – 80-е гг. арготизмы демонстрировали отношение различных групп населения к культовым фигурам и объектам советской идеологии. Так, слово «мавзолей» употреблялось в значении «винный магазин», Ленина называли «Картавым», «Лукичем», «Лысым», такую идеологически важную учебную дисциплину, как «История КПСС» – «капээсня» [59, с.153].

В оценке природы политического анекдота мнения исследователей не столь однозначны. По крайней мере, выделяются три основных взгляда на эту проблему. Согласно А. Дмитриеву, политический юмор «является реакцией (иногда неадекватной) на слишком большую концентрацию власти в обществе, он, следовательно, служит примером своеобразной сублимации агрессии и, следовательно, относительно безопасным высвобождением накопившейся агрессивности по отношению к высшей власти. Именно эта власть, и это ее естественная природа, рождает институты, стремящиеся наложить на общество те или запреты. И люди, естественно, ищут любые формы сопротивления авторитарным поползновениям, и, разумеется, юмор не самая худшая из этих форм» [130, с.135]. Точку зрения Дмитриева о том, что политический юмор направлен исключительно на власть

и является ее порождением, оспаривает В. Разуваев. По его мнению «политический смех не ограничивается только отношением общества к власти, а охватывает практически все стороны политики и политической культуры. При этом политические предпочтения граждан не являются определяющими в индивидуальном выборе направленности смеха» [130, с.135]. Промежуточную позицию занимает Д. Резинко. С одной стороны, он полагает, что «вопрос об осознанности процесса формулирования политической позиции индивидов остается открытым», но с другой, он признает, что «анекдот становился одним из средств социальной классификации, а значит и ориентации человека в обществе» [59, с.154]. Важно отметить, что анекдоты рассказывали или слушали не только рядовые советские люди, но и лидеры партии и государства. Е. Примаков, который при Л. Брежнев поочередно занимал должности заместителя главного редактора газеты «Правда», заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР и директора Института востоковедения АН СССР, рассказал такой эпизод. На одном из пленумов ЦК КПСС академик Н. Иноземцев критиковал монополию на внешнюю торговлю, не государства, а министерства внешней торговли. Собравшиеся на пленуме это не одобрили, а «бесшумный помощник нескольких генеральных секретарей ... А. М. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: “Николай Николаевич, после вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным”» [130, с.136].

Американский социолог Р. Мертон выделял пять моделей социальной адаптации личности к выработанным обществом культурным нормам:

- конформную – личность разделяет цели данной культуры и осуществляет их легальными средствами;
- инновационную – индивид, принимая цели данного общества, стремится их осуществить непризнанными средствами;
- ритуализм – индивид не признает цели и ценности данного общества, но соблюдает «правила игры», т.е. ведет себя согласно сложившимся представлениям о допустимых средствах социальных достижений;
- эскапизм – отстранение, уход от социальной реальности. Личность отрицает и цели и предписанные обществом средства их достижения;

бунт, мятеж – поведение личности направлено на активное противостояние нормам общественной организации [124, с.138-139].

В советском обществе 70-х – начала 80-х гг. наиболее распространенными моделями социальной адаптации личности стали ритуализм и конформизм. Набирал силу и эскапизм, который в конкретно-исторических условиях советского общества служил пассивной формой протестных настроений. Инновационизм и бунтарство не получили широкого распространения и к тому же по разным причинам пресекались истэблшментом. Как замечает Рывкина, инициатива рядового работника начальству была не нужна [96, с.77]. Тем более ему не были нужны бунтари, как, впрочем, и любому другому социальному режиму.

Процесс «деидеологизации» населения в советском обществе не был процессом с «односторонним движением». Параллельно ему шел аналогичный процесс в верхах. Предрекая перерождение советских элитных групп, английский философ Б. Рассел писал: «Коммунистическая вера подвергнется разрушению изнутри. Она налагает слишком жесткую узду на человеческую природу. Она требует отказа от элементарных благ, заключающихся

в чувстве безопасности и некотором досуге. ... Рано или поздно ... любовь к достатку и удовольствиям поглотит энергию подуставших коммунистов. Коррупция их подточит» [117, с.31]. Уже после краха СССР схожий портрет эволюции правящей страты нарисовал А. Панарин. «Большевизм, – писал он – срывший вестернизированный слой в России и по многим показателям отбросивший ее далеко назад, по-своему восстановил консенсус служилого государства. Сталин не только вернул крепостничество в деревню, но возвратил систему тотальной государственной рекрутчины, подчинив ей и правящую номенклатуру При Брежневле этот консенсус уже был нарушен: номенклатура явочным порядком стала утверждать свой новый “неслужилый” статус, ... добившись права на гедонистический образ жизни и гарантий личной неприкосновенности. Нынешняя номенклатурная приватизация стала завершением и конституционно-правовым оформлением этого латентного процесса» [131, с.7].

Тем, не менее, отход от господствовавших идеологических конструкций не носил прямолинейный и всеобъемлющий характер. Об этом свидетельствуют, например, данные социологических исследований героев детских мультфильмов. Эти исследования охватывают период с 1980 по 2006 гг., т.е. советскую и постсоветскую эпохи [164, с.144]. Нас здесь интересует советский период, который в данных исследованиях представлен периодом с 1980-го по 1990-й гг. Несмотря на «детский» предмет исследований, «мультипликационный кинематограф вообще и образы его героев в частности являются трансляторами определенных моральных норм и ценностей своего времени» [164, с.144].

Соотношение положительных и отрицательных мультипликационных персонажей составляло соответственно 62,3% и 37,7% в пользу первых [164, с.146]. Среди основных героев, показанных в мультфильмах рассматриваемого периода, 64,2% персонажей представляли люди, 30,2% – антропоморфизированные животные, 5,7% – антропоморфизированные предметы [164, с.146]. В иерархии целей персонажей отсутствовали обладание объектом страсти и обладание властью. При этом 20,8% персонажей стремились к обладанию имуществом, 18,9% – к исполнению долга, 18,9% – к облегчению условий своей жизни, 18,9% – к защите чужой жизни, 15,1% – к усложнению условий жизни других персонажей, 30,2% – к оказанию альтруистической помощи [164, с.147]. Для достижения своих целей 15,2% положительных персонажей использовали насилие, еще 15,2% – оружие, тогда как к насилию прибегали 40% отрицательных персонажей, а к оружию – еще 20,0%. Суммарный процент персонажей, применявших насилие, был относительно высоким у положительных персонажей (30,4%) и одним из самых высоких у отрицательных (60%). Однако у второй категории он гораздо выше, чем у первой. В то же время 75% отрицательных персонажей использовали знания, навыки и технические средства для достижения своих целей. Процент положительных персонажей, предпочитавших применять их для достижения поставленных целей, составлял 63,6%, т.е. почти на 12% меньше. Власть в своих целях не использовал ни один положительный герой, тогда как для 30% отрицательных персонажей она оказалась незаменимым средством достижения своих целей. К силе слова также чаще прибегали отрицательные персонажи (20,0%), чем положительные (12,1%). Парадокс ситуации состоит не только в том, что именно среди отрицательных персонажей нашлось больше тех, кто полагался на силу слова, но и в том, что положительных героев, применявших насилие вообще (15,2%) и оружие в частности (15,2%), было больше, чем положительных героев, обращавшихся к силе слова (12,1%).

Вместе с тем оружием положительные персонажи пользовались реже (15,2%), чем отрицательные (20,0%). К помощи в качестве средства достижения целей прибегали 39,4% положительных персонажей и ни один отрицательный персонаж. При этом к помощи денег прибегало примерно одинаковое, причем небольшое, число положительных и отрицательных персонажей (соответственно, 3% и 5%) [164, с.148]. Из негативных характеристик положительного персонажа самыми заметными были равнодушие – 12,1%, прагматизм – 18,2% и подчиненность, послушание – 21,2%, а из позитивных характеристик положительного героя выделялись отзывчивость – 60,6%, независимость – 60,6%, бескорыстие – 66,7% [164, с.149]. Среди негативных характеристик отрицательного персонажа доминировали равнодушие – 80,0%, прагматизм – 55,0%, грубость – 40,0% и лживость – 40,0%. Интересно, что среди отрицательных персонажей, выказывавших подчиненность, послушание составляли всего 10,0% против 21,2% у положительных персонажей. Не совсем однозначно выглядят и позитивные характеристики отрицательных персонажей. Хотя они были лишены отзывчивости и готовности к самопожертвованию, а бескорыстие продемонстрировали лишь 5% отрицательных персонажей, они, тем не менее, намного превзошли положительные персонажи по такой позитивной характеристике, как независимость – ею обладали 80,0% отрицательных персонажей против 60,6% положительных героев советских мультфильмов. Вместе с тем среди положительных персонажей «было больше тех, кто обладал умом, интеллектом (45,5%). Ум, интеллект были присущи 20,0% отрицательных персонажей. Но намного меньше ожидаемого процента был процент положительных персонажей, которые проявили готовность к самопожертвованию – всего 27,3% [164, с.149-150].

В целом изображение героев в советском мультипликационном кинематографе воспроизводило дуалистическую картину мира с ее делением на силы добра и силы зла. Поправки на детскую аудиторию мультфильмов (хотя их смотрели и взрослые) не отменяют того факта, что этический дуализм манихейского толка сопровождал понимание добра и зла, утверждавшееся официальной идеологией в массовом сознании советского общества. Другими особенностями структуры ценностей позднесоветского периода, которую отразили персонажи мультфильмов, является широкое использование ими в качестве средств достижения поставленных целей знаний, навыков, технических средств, насилия, в том числе вооруженного, и власти при минимальном значении денег, а также распространение таких личностных характеристик, как независимость и прагматизм.

В период перестройки противоречивые тенденции в развитии массового сознания не исчезли. В опросах общественного мнения за 1987 – 1988 гг. от 60 до 70% опрошенных не хотели работать в кооперативах, частных и совместных предприятиях. Для людей самым важным было сохранение социальных гарантий, которое им обеспечивало государство в социальной сфере: получение гарантированного минимума зарплаты, жилья, путевок и пр. [96, с.11-12]. Вместе с тем нарастал критический потенциал, раньше сковывавшийся страхом перед системой. Это показали ответы на вопросы, заданные в ходе проводившихся ВЦИОМ в 1989 г. опросов общественного мнения. Так, на вопрос: «В чем Вы видите причину наших трудностей?» ответы распределились следующим образом:

Таблица 3

Причины трудностей

% от числа ответивших

Коррупция, пьянство, спекуляция, воровство	57
Техническая отсталость СССР	42
Засилье бюрократов	41
Нежелание работать	28
Низкая квалификация специалистов	26
Ошибки в руководстве страной	24
Уравниловка, зажим людей с инициативой	23
Некомпетентность начальства	19
Утрата веры в идеалы социализма	16
Вещизм, потребительство	14
Разрушение морали	13
Наследие сталинизма	13
Разрушение национальных традиций	11
Забвение отечественной истории	8
Утрата религиозной веры	7
Скрытые враги	6
Вырождение народа	3
Политика стран империализма	2

[96, с.106].

При этом масштаб предлагавшихся мер, содержащихся в ответах, полученных на другой вопрос ВЦИОМ: «За счет чего можно было бы добиться перемен к лучшему?», не вполне соответствовал уровню критического настроения, проявившегося в выше приведенных ответах.

Таблица 4

Как добиться перемен к лучшему

% от числа ответивших

Навести в стране твердый порядок	50
Предоставить право владеть землей и техникой	35
Улучшить качество планирования	34
Резко сократить армию и военные расходы	26
Предоставить всю власть местным Советам	21
Предоставить самостоятельность союзным республикам	19
Сократить помощь другим странам	19
Ввести рабочее самоуправление	18

Поощрять частное предпринимательство	13
Привлечь иностранный капитал	8
Дать свободу действий кооперативам	6

[96, с.107].

В этих ответах превалировали требования, не выходявшие за рамки существовавшего социального порядка. Но они предполагали (предоставление власти местным Советам, самостоятельности союзным республикам, введение рабочего самоуправления) его радикальное реформирование. Обращает на себя внимание то, что число сторонников частной собственности значительно уступало числу поборников социалистических идей.

Судя по опросам конца 80-х гг., массовое сознание советских людей в целом не имело «антисистемной» направленности.

Более радикальный институциональный сдвиг произошел в 1990 г. По данным исследований, проведенных в 1990 г., 56% советских людей не доверяли КПСС [204] (По данным уже упоминавшегося нами советско-американского исследования 1990 г., КПСС не доверяли 54,5% респондентов [247, с.35]). По данным опросов, проведенных в 1990 г. «Сибирской газетой», не более 26% респондентов верили в осуществимость таких лозунгов советского строя, как «Вся власть – Советам!», «Фабрики – рабочим», «Земля – крестьянам», «Свободное самоопределение – нациям!». В тоже время от 69 до 76% опрошенных респондентов не верили в эти лозунги. Показатели доверия людей к «возможности обеспечения основных жизненных ценностей» («нормальный уровень благосостояния, нормальные жилищные условия, защита личности и политических прав, свободы слова и совести» и др.) были еще ниже. От 75 до 88% респондентов не верили, что государство сможет обеспечить советского человека обещанными социальными благами и только 9-13% продолжали верить в эффективность социальной политики партии и государства [96, с.10-11]. Однако в том же 1990 г. 61% жителей СССР, по данным ВЦИОМ, заявили, что большинство советских людей не смогут прожить без опеки со стороны государства, и лишь 20% сказали, что смогут [98, с.245]. По мере угасания надежд на возможность реформирования общества в рамках старых институтов общества все большей поддержкой стала пользоваться рыночная экономика. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМ, проведенные в декабре 1991 г. Целью опросов было выяснение отношения респондентов к переходу к рынку. Ответы распределились следующим образом:

	% от числа ответивших
К рынку надо переходить как можно скорее	30
Переходить надо, но постепенно	40
Переходить не следует	14
Не знаю	16

[96, с.111].

Тенденцию поддержки частной собственности подтвердил и опрос, проведенный в начале 1992 г. На вопрос: «Какая экономическая система кажется Вам более приемлемой?» 28% респондентов высказались за систему государственного планирования и распределения, тогда как 51% опрошенных поддержали образ общества, основанного на частной собственности и рыночных отношениях [96, с.112].

Интересную картину предпочтений советских людей на излете перестройки дает упоминавшееся нами советско-американское исследование 1990 г. Опросы показали, что в иерархии прав и свобод на первое место респонденты поставили право на образование: 97,1% считали, что это право необходимо всегда соблюдать. На второе место было поставлено равенство перед законом: 96,1% считали, что его необходимо всегда соблюдать. Третье место заняло право на работу. 95,2% заявили, что его всегда необходимо соблюдать. На четвертом месте стоит право народа на его собственный язык и культуру. За то, чтобы это право всегда соблюдалось, выступили 94,8% респондентов. Только на пятом месте оказалось право на личную собственность. 93,0% считали, что его всегда необходимо соблюдать. 91,9% опрошенных считали всегда необходимым соблюдать гарантию безопасности и защиту личности. Религиозные свободы и свободу совести считали необходимым всегда соблюдать 91,4%. Более сложное отношение сложилось к свободе слова, праву на эмиграцию и свободе объединений, групп, союзов. Всегда необходимо соблюдать свободу слова считали 73,7%, а 21,7% ответили, что соблюдение этого права зависит от обстоятельств. 66,2% опрошенных считали, что всегда необходимо соблюдать право на эмиграцию. 25,0% ответили, что соблюдение этого права зависит от обстоятельств. 45,0% сказали, что всегда необходимо соблюдать свободу объединений, групп, союзов. 41,1% считали, что соблюдение этого права зависит от обстоятельств [247, с.45].

Интерес для нашего анализа представляют также данные этого опроса по таким темам, как «терпимость» и «оценка значимости групповых интересов».

Таблица 5

Терпимость (в % от числа опрошенных)

	Полностью согласен	Согласен	Колеблюсь	Не согласен	Совсем не согласен	Не могу сказать точно
Общество не должно мириться с теми, чьи политические взгляды очень отличаются от взглядов большинства	11,1	19,5	10,9	34,8	14,7	9,0
Из всех философских точек зрения на мир, вероятно, только одна верная	9,1	17,8	21,7	24,2	5,4	21,8
Группа, которая терпит слишком разные взгляды своих членов, не может долго существовать	20,7	38,1	12,9	13,8	2,5	12,0

[247, с.50].

Таблица 6

Оценка значимости групповых интересов (в % от числа опрошенных)

	Полностью согласен	Согласен	Колеблюсь	Не согласен	Совсем не согласен	Не могу сказать точно
Неравенство продолжает существовать, так как оно выгодно богатым и тем, кто находится у власти	43,0	35,1	7,5	7,4	1,1	5,9
Неравенство между людьми продолжает существовать, так как простые люди не объединяются для того, чтобы избавиться от него	22,9	38,7	12,7	14,3	2,4	9,0
В мире есть два типа людей, те которые за правду и те, которые против нее	35,2	41,3	8,3	9,1	1,6	4,5

[247, с.51].

Из таблицы 5 видно, что в сознании советских людей к тому времени набирали силу тенденции плюралистического видения мира, хотя число его сторонников не превышало 50%. Вместе с тем в иерархии прав и свобод советских граждан свобода слова, свобода объединений, право на эмиграцию не занимали лидирующие позиции. Сопоставление этих данных с данными таблицы 6 показывает, что на советской шкале ценностей достижение равенства стоит выше соблюдения традиционных либеральных свобод. В целом в системе ценностных предпочтений советских граждан к концу перестройки доминировали эгалитарно-демократические установки при заниженной оценке либеральных ценностей.

Эволюция советского человека отражала и одновременно влияла на эволюцию социальных отношений. В ходе этой эволюции происходил переход от некоторых ценностей и практик традиционного типа (аскетизм, механическая солидарность) к паттернам эпохи модернити. Этот переход носил противоречивый и не устойчивый характер. Такие традиционные институты, как патернализм, сохраняли свою живучесть, хотя несколько ослабли из-за разочарования в идеологических ценностях советского общества. К моменту вхождения в постсоветскую систему сложился транзитивный тип человека. С его помощью еще можно было выйти за рамки советского строя, но нельзя было трансформировать общество, не отвечая на вызовы информационной эпохи. Хотя такой человек все меньше верил в лозунги старой системы, он не обрел качеств, необходимых для функционирования в новых условиях. Его адаптационные возможности оказались достаточны для выживания в условиях опустошительных рыночных реформ 90-х гг., но были недостаточны для интеграции в постиндустриальную реальность. В его мировоззрении все еще продолжают занимать существенное место традиционалистские представления о мире. Это дало основание некоторым исследователям назвать представителей такого социального типа «посткрестьянской массой» [223, с.265]. Сложившиеся в недрах советского социального

режима альтернативные официальному институциональному порядку институциональные практики оказались слишком слабыми и нестабильными, чтобы нейтрализовать издержки радикальных реформ 90-х гг. Не случайно дефекты политики реформаторов новой волны вызвали у многих людей тоску по прошлому и возродили старые патерналистские ожидания, на время заглушенные кризисом советского строя. Во всероссийском опросе ВЦИОМ в 2000 г. на вопрос «Какая социально-экономическая система более правильная – основанная на государственном планировании и распределении или на частной собственности и рынке?» 48 % респондентов выбрали советскую систему, 34 % нынешнюю, а 18 % не смогли решить какая система лучше [223, с.352]. Но и младореформаторы разделяли те же слабости транзитивного типа человека, потому что сами принадлежали ему. «Постсоветский» человек на деле все еще сохраняет черты человека советского и остается условием воспроизводства констант российской истории.

2.6. Вместо заключения: причины падения советского социального порядка

Анализу причин, способствовавших падению советского строя, следует предпослать одно замечание. Речь идет не просто о смене одной социальной системы другой. Переход от авторитарных структур к демократии имел место, например, в некоторых странах Южной Европы (Испания, Португалия) в 70-х гг. прошлого века, странах Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и др.) на рубеже 80-х – 90-х гг. XX в. Но нигде в этих странах смена общественно-политического строя не сопровождалась распадом страны. Советский Союз принадлежит к той маленькой группе государств, где транзитивные процессы привели не просто к победе другого строя, но к появлению на геополитической карте мира совершенно других стран (бывшие Чехословакия и Югославия).

Так как в падении советского строя участвовали разные факторы, сгруппируем их в несколько хотя и взаимосвязанных, но отличных друг от друга каузальных рядов.

В первом – идеологическом – ряду находятся факторы, вызвавшие эрозию и затем распад системы идеологической власти как способа социального конструирования советской реальности. В основе этого процесса лежала дифференциация символического пространства. Она была обусловлена модернизационными тенденциями, вносившими в советский социум идеи, сильно расходившиеся с официальными идеологическими нормами. Процесс дифференциации подталкивали и нарушения жесткой идеологической преемственности между сменявшимися друг друга лидерами партии и государства, распространение скептицизма, практицизма, ритуализма, коррупции как иррелевантных структур формального институционального порядка. По мере модернизации общества официальные идеологические нормы все хуже справлялись с воспроизводством формального институционального порядка, а административный рынок, внедряя свои «правила игры», разрушал его. Не случайно после «либеральной революции» 90-х гг. XX в. административный рынок принял форму «кумовского капитализма», при котором государство оказывает помощь отдельным компаниям, «даруя им привилегии в обмен на политическую поддержку» [276, с.269-270]. Кризису формального институционального порядка содействовало и формирование в период перестройки «комсомольской экономики». Как отмечают О. Крыштановская и Ю. Хуторянский, «комсомольская экономика» – «детисце советской номенклатуры» – стала питательной почвой, на которой выросла «нынешняя российская буржуазия» [100, с.227].

Критика Н. Хрущевым культа личности Сталина на XX партсъезде внесла первый крупный идейный раскол в советское общество. Концепция «реального социализма» Л. Брежнева зафиксировала точку отхода от обещаний скорого наступления коммунистического «миллениума». Сделанное Ю. Андроповым на Июньском Пленуме ЦК КПСС 1983 г. заявление о том, что «мы плохо знаем общество, в котором живем», поставило под удар советские идеологические практики [267]. Возможно, такой «агностицизм» в определенных пределах полезен для исследователя общественных явлений, но он опасен для самосознания народа, тем более такой страны, как Россия. Народ, который не знает, в каком обществе он живет, теряет самоидентификацию и перестает быть субъектом исторического действия. Не случайно такое идеологическое отклонение оказалось прологом к разрушению казавшегося прежде незыблемым социального строя, что стало содержанием перестройки.

По мере того, как состояние «осажденной крепости», в которой пребывало советское общество с конца 20-х – начала 30-х гг., вступало в противоречие с тенденцией к большей открытости страны внешнему миру и политикой разрядки международной напряженности, обнаруживалась неготовность партийной идеологии к новым вызовам. Ответы на них уже не уместались в рамки мобилизационных решений. На эту неготовность накладывалось отсутствие в марксизме-ленинизме теории повседневности [165, с.178]. А именно повседневная жизнь все больше занимала советских людей, уставших от существования в состоянии «чрезвычайщины». Их сознание эволюционировало от монистической ментальности, поддержанной практиками аскетизма, жертвенности, героики труда, механической солидарности, к монистически-плюралистическому сознанию, аполитичности, прагматизму, ослаблению морально-политического единства советского общества. В ходе этой эволюции произошла фрагментация претендовавшего на монолитность институционального порядка. Феномен социальной фрагментации А. Токвиль назвал «коллективным индивидуализмом». Он наблюдался во Франции XVIII столетия накануне свержения королевской власти [166]. Естественный для «мультицентрических», по выражению К. Виттфогеля, обществ, «коллективный индивидуализм» разрушителен для систем моноцентрического типа (или, по Виттфогелю, «обществ, основанных на власти»). Несмотря на демонтаж в период перестройки старых институтов власти, советская система так и не изжила дух «цезаризма», о котором писал Н. Бердяев [167, с.353]. Это стало одной из причин, помешавших создать новые политические институты, способные поддержать новые экономические институты – частное предпринимательство и биржу, набравшие силу на рубеже 80-х – 90-х гг. Кризис формальной ценностно-нормативной системы привел к зарождению неформальных символических универсумов, содействовавших развитию гражданского общества в его символической форме. Гражданское или, по выражению И. Клямкина и Л. Тимофеева, «квазигражданское» общество «проникало» в государство, образуя в нем горизонтально-вертикальные неформальные связи – родственные (непотизм – признак традиционных обществ), приятельские и даже криминальные [95, с.281]. Этот процесс неизбежно вызывал эрозию советской партийно-государственной машины.

Советский социальный порядок по-своему отреагировал на два фундаментальных «наказа» марксизма. На один из них он в силу своей природы не смог откликнуться адекватно. Такое общество стояло слишком далеко от «ассоциации», в которой свободное развитие

каждого является условием свободного развития всех. Этот идеал секулярного гуманизма не соответствовал тому историческому контексту, в котором сформировалось советское общество, и тем историческим задачам, которые ему приходилось решать. Однако содержание второго послания Маркса было полностью «усвоено» советской системой. Последняя стала самой масштабной в эпоху модерна попыткой «замкнуть» исторический процесс и превратить историю в «антиисторию». В этом состояли метафизическое значение советского социального порядка, но одновременно и одна из причин его падения. Другое фундаментальное цивилизационное противоречие советского строя заключалось в противоречии между его «западным» вектором развития и «не западными» социальными практиками. Заимствованный из европейской просвещенческой философии идеал прогресса помещал советское и западное сознание в одну и ту же систему координат времени и использовался для обоснования тезиса о борьбе двух систем. Принятие марксизма в качестве основополагающей идеологической доктрины выражало чаяния «европеизации» России. Сохранявшаяся практически на всем протяжении существования советского строя цель «догнать и перегнать Америку» удерживала «стрелу» социального времени от перевода ее в другое направление исторического развития; многие советские люди хотели жить как в более благополучных странах Западной Европе или США, а не как живут в бедных странах третьего мира. Но движение в направлении социальной организации западного толка наталкивалось на противодействие институтов, основанных на монополии одной идеологии, одной партии, одной собственности. Противостояние «европеизма» и традиционализма не было специфическим продуктом советского общества, а зародилось еще в недрах императорской России. Неспособность самодержавия его преодолеть стало одной из причин исторического поражения царской России. В этом отношении Советский Союз повторил ее судьбу. Противоречие между «европеизмом» и традиционализмом помешало СССР окончательно определиться в выборе цивилизационного пути развития. Оно оказалось неразрешимым в рамках советского социального порядка. Иначе говоря, несовместимость модернистского, «западного» вектора развития и ключевых до модернистских, «азиатских» социальных институтов вызвала в советском обществе цивилизационно-институциональный конфликт, ставший одной из принципиальных причин падения советского строя. В этот конфликт были включены две фундаментальные цивилизационные проблемы советской социальной системы – проблемы изоляции и неуклонного повышения жизненного уровня людей.

Тема изоляционизма на почве социалистического идеала была сформулирована задолго до возникновения советского общества. И «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы задумывались авторами этих футуристических сочинений как изолированные социумы, выхваченные из потока несовершенной реальной жизни человечества. Принцип изоляционизма призван оградить совершенные или, что здесь то же самое, завершенные общества от «греховных» сообществ. К. Маркс и Ф. Энгельс, будучи сторонниками проведения социалистических революций одновременно в основных странах западного мира, выступали категорически против пароксизма. Победа революции в одной стране (России) перевела проблему изоляции из разряда одного из важных признаков социалистической утопии в ранг реальной политики. Однако сила изоляционистских тенденций в СССР питалась не только и даже не столько некоторыми социально-утопическими проектами прошлого, сколько, прежде всего, традициями России, а также нерыночной экономической организацией советского строя, находившегося долгое время один на один

с враждебным окружением. После Второй мировой войны с образованием мировой социалистической системы проводить изоляционистскую политику становилось все сложнее. «Оттепель» несколько приоткрыла страну внешнему миру, но настоящей интеграции Советского Союза в мировую экономическую систему не произошло. Нельзя, например, считать такой интеграцией закупки импортной пшеницы или некоторых зарубежных товаров широкого потребления. Они, скорее, выявляли зависимость СССР от внешнего мира по ряду показателей. Советская экономика была в целом самодостаточной, так как автаркия системы держалась на преимущественном использовании экстенсивных факторов экономического роста – избылии природных ресурсов и систематическом увеличении числа занятых в производстве. С падением цен на нефть и сокращением числа занятых, вызванным падением рождаемости населения, исчезли факторы роста советской экономики, а вместе с ними оказалась невозможной и изоляция страны от остального мира. Оторванная в течение десятилетий от главных потоков мирового экономического развития, страна не смогла вписаться в систему международного разделения труда и занять соответствующее ее потенциалу место. Утратив прежние факторы роста, и не приобретя новые, советская система больше не могла существовать в изоляции, которая перестала служить ей надежным щитом.

Столь же неоднозначно обстоит дело с политикой повышения благосостояния людей. В первые десятилетия советской власти выполнить данные народу революцией социальные обещания по разным причинам не удалось. Более того, политика индустриализации, проводившаяся за счет снижения уровня жизни крестьянства, противоречила взятым партией обязательствам улучшать жизнь трудящихся. Провозглашенный впоследствии лозунг «все для блага человека» определил главный вектор социальной политики советского государства. После многих лет нужды и отсутствия элементарных бытовых удобств материальное положение многих советских людей стало меняться к лучшему. Однако с ростом благосостояния повышались социальные ожидания населения. Эти ожидания поддерживались некоторыми несбыточными обещаниями – построить к 1980 г. коммунизм, предоставить отдельную квартиру каждой советской семье к 2000 г. Кроме того, заложенный со времен индустриализации принцип опережающего развития группы «А» при значительном отставании группы «Б» вступал в резкое противоречие с курсом на всемерное удовлетворение потребностей народа. В результате рост потребностей стал опережать реальные возможности советского строя. В силу вступил закон А. Токвиля. Он, основываясь на материале французского общества восемнадцатого века, писал: «Чем лучше становилась жизнь французов, тем менее выносимой они ее почитали». Продолжая эту мысль, он заключал: «и для дурного правительства самый опасный момент – тот, когда оно начинает проводить реформы, ибо ... зло, которому люди покорялись, пока оно казалось неизбежным, начинает представляться невыносимым, лишь появляется надежда так или иначе от него избавиться» [166]. Поэтому закономерно, что политика перестройки высвободила в обществе силы, заинтересованные в том, чтобы «избавиться», как сказал бы Токвиль, от советской системы. К этим силам одни исследователи относят «средний класс», полагая, что он «сыграл решающую роль в развале СССР» [111, с.93], другие – «новую элиту». Обосновывая первую точку зрения, Г. Соколова подчеркивает, что «восхождение индивидов из слоев бюрократии низшего до бюрократии высшего ранга», которое осуществлялось «в ущерб остальным видам мобильности», «побудило» «средний класс» «начать реформирование советского общества», следствием чего «явился ...

распад Советского Союза» [214, с.132]. Вторую точку зрения обосновывал В. Култыгин. По его мнению, советская правящая элита «уже перестала удовлетворяться тем местом и теми рамками, которые оставлял ей социализм в структуре власти и социальных отношений. С середины 70-х годов власть захватывают выросшие в недрах партийной верхушки антисоциалистические силы, главная цель которых ... заменить социальный строй в стране» [12, с.452]. Близко к этой точке зрения подошел и В. Карачаровский. Он связывает падение советского строя, прежде всего, с мутацией самой бюрократии, которая, начиная с Н. Хрущева, постепенно утрачивала свой «тоталитарный» характер из-за «либеральных» методов рекрутирования партийных кадров [216, с.53-54]. По его мнению, преимущество «тоталитарной бюрократии» состояло в том, что она была подконтрольна и решала стоявшие перед ней государственные задачи. Сменившая ее «либеральная бюрократия», высвободившись из-под контроля сверху, подменила приоритет решения государственных задач приоритетом своих частных (корпоративных) интересов. Отсюда заинтересованность «либеральной бюрократии» в переходе к рыночной экономике. В русле элитологического подхода лежит и позиция Г. Ашина. Он исходит из оценки М. Джиласом «нового класса» как класса «коллективных собственников». «И поэтому, когда они вылетают из телеги, – подчеркивает российский политолог – ... они теряют все, потому что у них ... нет собственности. И вот почему ... новая элита тяготеет к этому положению, им нужна собственность. И им в девяностые годы как раз удалось ею завладеть» [272, с.26]. «Переоценка ценностей» (по выражению Ф. Ницше) привела к появлению групп экономических интересов, подрывающих один из устоев советского строя – монополию государственной собственности на основные средства производства. Таким образом, советская политическая элита эволюционировала от «стражей» Платона к «праздному классу» Т. Веблена [273]. Подобная «метаморфоза» советских правящих групп стала одной из принципиальных причин падения советского социального порядка. Здесь мы в какой-то мере сталкиваемся с ситуацией, чем-то напоминающей отмену крепостного права в императорской России. Часть элиты, играя роль инициатора и протагониста социальной трансформации, берет на себя решение некоторых задач гражданского общества.

Второй каузальный ряд образуют социально-экономические факторы. Советский социальный порядок возник на стыке традиционализма и модернизма, приняв, говоря словами П. Штомпки, форму «ложной современности». В рамках этого социального порядка равнодействующая разнонаправленных социальных изменений задавала вектор цивилизационного развития на основе догоняющего типа развития при сдерживавшем влиянии традиционализма. Советскому обществу так и не удалось достичь более высокой, чем при капитализме, производительности труда. Производительность труда в советском народном хозяйстве составляла 40% от производительности труда в американской экономике, причем в промышленности – 55%, а в сельском хозяйстве – менее 20% от производительности труда в соответствующих отраслях экономики США [121, с.248]. Сдерживающим фактором роста производительности труда было «межумочное» положение советского работника. Нельзя сказать, что советский человек на всем протяжении советской истории был абсолютно несвободным. Как это ни парадоксально, но начало трудному и противоречивому процессу эмансипации советских людей положила Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Здесь интерес представляет наблюдение современника этих событий В. Бережкова, работавшего в предвоенные и военные годы переводчиком первых лиц советского государства. «На войне – отмечал он – многие освободились от комплекса непол-

ноценности, от привитого им ... рефлекса ждать указаний сверху. Даже простой солдат ... должен был нередко принимать сам решения. ... Это граничило с чувством свободы, которое Сталин всегда стремился вытравить у своих подданных» [141, с.367]. Однако, освободившись от наиболее вопиющих форм внеэкономического принуждения – лагерного труда и системы прикрепления крестьян к земле, – советский человек полностью не освободился от воздействия сохранявших силу элементов принудительного труда. Ему приходилось действовать на рынке труда, который совмещал в себе «черты примордиального и развитого рынка» [100, с.102]. Советский работник, по объективным причинам, не смог освоить рыночную стратегию поведения, свойственную работникам постиндустриальных стран. В тоже время система морального стимулирования труда утратила свою эффективность в поздний период развития советского общества при том, что оно осталось обществом незавершенной модернизации. Незавершенность модернизационного проекта стала следствием догоняющей (мобилизационной или, по определению исследователей, «верхушечной») модернизации. В качестве ограничителей такой модернизации выступал ряд факторов: опасения верхов утратить свою власть в случае дальнейшего продолжения обновления советского общества (по словам Джиласа, «новый класс ... заинтересован в техническом прогрессе, но еще больше – в незыблемости своего идеологического монополизма» [120, с.288]); отсутствие культуры освоения и тиражирования инноваций в гражданском секторе экономики [216, с.48]; так и не преодоленная зависимость от западных технологий; противоречие между «модернизаторскими» и «имперскими тенденциями», которые «в конце концов пришли к взаимному уничтожению» [269, с.195]; разрыв между социокультурной модернизацией, с одной стороны, и модернизацией технологической и экономической, с другой. При этом последняя разновидность модернизации носила «анклавный» характер. Она сумела усвоить результаты индустриальной революции, неспособная перевести (за исключением ВПК и освоения космоса) гражданский сектор экономики на рельсы научно-технической революции. Ограничения, имманентно заложенные в догоняющем (мобилизационном) типе модернизации, обусловили пределы реформируемости советского общества, его неспособность к всестороннему обновлению на базе научно-технической революции. В итоге попытки сойти с традиционного для России экстенсивного пути развития провалились, и переход к постиндустриальному обществу не состоялся. Здесь свою роль сыграла благоприятная для СССР мировая экономическая конъюнктура 70-х гг. Освоение нефтяных и газовых месторождений в Сибири и повышение цен на нефть позволили Советскому Союзу «на определенный период поднять валовой продукт и народное потребление выше уровня, соответствующего внутренним органическим возможностям» его социальной системы [81, с.50]. Такая ситуация продолжалась не долго. Но за это время возник эффект больших социальных ожиданий, опережающего роста потребностей, т.е. ситуация, при которой возможность удовлетворения социальных потребностей превосходит экономические возможности страны. Падение мировых цен на нефть в середине 80-х гг. [263, с.179-189], в результате которого валютная выручка СССР сократилась на две трети, сделало невозможным удовлетворить возросшие потребности советских людей. В таких случаях «отрыв народных притязаний от реальности ... становится фактором кризиса и стагнации» [81, с.50]. Поэтому важным фактором краха советского социального порядка стало не само падение цен на нефть, а вызванный повышением цен на нефть в 70-е гг. рост социальных потребностей, опережавший возможности общества. Кроме того, открытие новых нефтегазовых месторождений ослабили, если вообще не подорвали,

заинтересованность в технологическом обновлении народно-хозяйственного комплекса. Это усилило сырьевую ориентацию советской экономики и приостановило ее дальнейшую модернизацию. Таким образом, Советскому Союзу не удалось выйти за рамки догоняющей модернизации и устранить хроническое техническое отставание от стран Запада.

Вместе с тем наблюдается один интересный парадокс советского типа модернизации. Он состоит в том, что при советском строе сформировались некоторые важные элементы постиндустриального общества. К ним прежде всего следует отнести развитую систему образования, наличие науки мирового уровня, социальную политику советского государства, направленную на массовое вовлечение населения в систему высшего и среднего специального образования, многочисленные средние слои, которые некоторые исследователи предпочитают называть средним классом. Таким образом, в СССР получили развитие институты, ответственные за производство и распространение знания. Однако несоответствие между социальными институтами, типичными для постиндустриального общества, и неадекватной ему политической системой и технологической инфраструктурой не позволило осуществить переход к постиндустриальному типу развития.

Неудачи экономических реформ, связанных с попытками внедрить рыночные механизмы в функционирование народно-хозяйственного комплекса, выявили пределы реформируемости советского общества. На причину, по которой реформы не могли принести ожидавшихся от них позитивных результатов в экономике советского типа, обратил внимание еще Джилас. «Децентрализация в экономике – писал он – означает не перераспределение собственности, а большее право для низших слоев бюрократии, то есть класса на уровне республик, областей и районов, этой собственностью распоряжаться. Либерализация и децентрализация существуют только для ... руководства нового класса ... Открыт, таким образом, новый способ ... для дальнейшего упрочения монополистической собственности и укрепления ... господства нового класса» [120, с.223]. На это обстоятельство накладывалась неготовность советской экономической системы к процессу усложнения института управления. Сформировавшись в период индустриализации, она базировалась на относительно простой, действовавшей на основе выполнения спускаемых сверху указов системе управления производством и потреблением. Столкнувшись с их ростом, увеличением числа объектов управления, включая объекты социального назначения, диверсификацией потребностей населения, усложнением социальной организации, многообразием корпоративных и индивидуальных интересов, старая форма управления все хуже справлялась с возложенными на нее задачами, теряя былую эффективность. Хотя некоторые традиционные институты власти лишались части своих полномочий, это не влекло за собой модернизацию системы управления в целом. В этом можно убедиться на примере такой ветви власти, как Совет министров СССР. До Л. Брежнева пост председателя Совета министров занимали В. Ленин, И. Сталин, Н. Хрущев. При Брежневе произошло формальное разделение функций главы партии и главы правительства. Пост председателя Совета министров занимал один из инициаторов реформ 60-х гг. А. Косыгин. Но именно при нем Совет министров превратился из политического органа в хозяйственный, уступив часть своих полномочий партруководству. Вместо ожидавшейся децентрализации усиливалась концентрация власти в руках немногих. Но и они в силу преклонного возраста, инерции идеологических запретов и возраставшей сложности общественной жизни уже не могли предложить обществу рациональные решения. В позднесоветский период так и не удалось устранить недостатки системы управления, доставшейся в наследство

от эпохи индустриализации. «Советский Союз – пишет А. Юданов – (в отличие, скажем, от другой ... многонациональной державы ... Австро-Венгрии) был построен по ... принципу централизованной макроэкономической суперструктуры. Другими словами: в СССР не было многочисленных дублирующих центров принятия экономических решений, какими в рыночных экономиках являются частные предприятия. Поэтому коллапс централизованного управления не был компенсирован ... спонтанным, базирующимся на активности независимых предприятий процессом приспособления экономики к новым условиям» [155]. Уязвимость экономической организации отражала неэффективность «государственного отраслевого управления хозяйством, сформировавшись к концу советской власти в запутанную ... систему многоступенчатого и маловразумительного отраслевого и подотраслевого управления» [168, 115].

Вопрос о пределах реформируемости советского строя остается в научной литературе открытым, несмотря на то, что большинство авторов считает советскую систему не поддающейся реформированию. В этой постановке вопроса нужно различать абстрактное понимание проблемы и конкретное выяснение того факта, почему реформы в СССР, необходимость которых хорошо понимало его руководство, никогда не доводились до своего логического конца, и, в конечном счете, срывались. Абстрактная точка зрения, согласно которой коммунистический строй в принципе нельзя реформировать, не продуктивна (здесь прав С. Коэн) для социологического анализа. Во-первых, такой подход работает не с фактами, а с заранее заданным набором регулятивных принципов. Во-вторых, даже если принять представление о коммунистическом (социалистическом) характере советского общества, то будет трудно отрицать, что такое общество менялось, внося коррективы в свою деятельность, которые не умещаются в прокрустово ложе абстрактных оценок. Советский строй не был застывшим социумом, несмотря на то, что метафизически его можно рассматривать как фундаментальную попытку реализации замысла К. Леонтьева о «подмораживании» России. Динамика советского социального порядка разрушала идеологические рамки, заранее заготовленные для развивающейся российской действительности. Поэтому здесь можно согласиться с подходом С. Коэна, который считает, что никаких априорно данных пределов реформирования советской системы не было. Он выделил четыре основных элемента, сохранение которых в процессе реформирования системы оставляло бы за ней право называться советской. Это: национальная социалистическая идея, которая продолжала бы память о событиях и людях Октябрьской революции; Советы как воплощение институциональной преемственности и конституционный источник политического суверенитета; государственная собственность в сочетании с частной собственностью в рыночной экономике и обеспечение социальных прав и гарантий; союз России с советскими республиками [204]. Важен и аргумент «от двойственности» институтов, который использует американский политолог для доказательства реформируемости советского строя. Этот аргумент опирается на данную М. Горбачевым характеристику двойственности советских институтов «как демократических принципов на словах и авторитарности на деле». «Двойственность институтов советской системы – подчеркивает Коэн – не только делала ее в высшей степени реформируемой, без нее скорее всего невозможны были бы мирная демократизация и другие преобразования эпохи Горбачева» [204]. Но в таком случае, почему реформы Горбачева не привели к многопартийной системе, новым политическим институтам, без которых реформирование всей системы осталось бы половинчатым? Не потому ли, что даже в 1990 г., когда советские люди получили такие свободы, какие они

не имели за всю историю советского общества, больше 50% советских людей не доверяли КПСС, а свыше 80% не доверяли другим партиям [204; 247]. Иначе говоря, недоверие людей к партиям как институту объясняет причину неудач архитекторов и «прорабов перестройки» в создании новой политико-институциональной системы и, в конечном счете, одну из причин падения советского строя. Почему власть в стране не перешла к Советам, когда распустили КПСС? Не потому ли, что КПСС была центральным звеном управления, без которого огромная социальная машина утрачивала способность к функционированию. Недостаток рассматриваемого подхода состоит в том, что он переоценивает одну сторону двойственности советской институциональной реальности (ее демократическую риторику) и недооценивает другую (ее реальный, а не виртуальный авторитаризм и инертность). Двойственность советских институтов не только открывала путь, по признанию Коэна, к их «мирной демократизации», но и порождала недоверие масс к ним. Она не только облегчала, но и затрудняла процесс демократизации советского общества. Таким образом, «аргумент от двойственности» указывает на реальные пределы реформируемости советского общества и объясняет причину, по которой реформы не только не завершились, а привели к падению советского строя и распаду огромной страны. Определение пределов реформируемости той или иной социальной системы связано с поиском ограничителей, наложенных на ее развитие. Мы указали на один из них. Для выяснения пределов реформируемости советской системы следует принять во внимание и дистрибутивный характер ее экономики, такую функцию правящей элиты, как распределение ресурсов. Поэтому здесь «модернизация ... сводится, прежде всего, к перераспределению материальных и социальных ресурсов» [24, с.324]. Такая модернизация, базирующаяся на категории политической ренты, не обеспечивает инновационное развитие социальной системы, обрекая ее на стагнацию или самораспад. Дистрибутивные черты административно управляемой экономики, функция перераспределения, выполняемая правящей элитой, обусловленный ими политико-рентный характер модернизации обозначают реальные пределы реформируемости советского строя и позволяют понять причины неудач проводившихся в СССР реформ.

То обстоятельство, что советский социальный порядок сформировался на цивилизационных изломах, сообщало ему переходные черты и требовало системного выхода за его рамки. Не будучи ни отдельной формацией, ни самостоятельной цивилизацией, советский социальный порядок представлял собой острую реакцию российской цивилизации на вызовы индустриального модерна.

Еще один каузальный ряд включает в себя социально-стратификационные факторы. Как и любое общество, советский социум не был свободен от действия сил стратификации. В таком социуме определяющее значение имела стратификация сверху (идеократический и этакратический социально-стратификационные типы), которая превалировала над стратификацией снизу (плюралистический социально-стратификационный тип). Стратификация сверху выражалась в мирных и не мирных формах. Среди мирных форм стратификации сверху – стратификация по партийному принципу, номенклатурный принцип отбора кадров, социальная мобильность на основе предписанного статуса, меритократических практик или величины политического и социального капитала, геронтократия, подчеркнутая идеологизированность многих принимавшихся решений, административный рынок. К не мирным формам стратификации сверху следует отнести репрессии против партийных и государственных руководителей, деятелей культуры, рядовых граждан, отдельных

слоев общества, депортации народов, высылки неугодных лиц, т.е. систему силовых мер социальной селекции, производившейся либо по идеологическим причинам, либо в соответствии с тем, что считалось политической целесообразностью. Постепенно доля не мирных форм стратификации сверху сокращалась, но случаи такой стратификации (расстрел рабочих Новочеркасска в 1962 г., преследования по политическим или идеологическим взглядам – изъятие оппозиционной литературы, аресты, ссылки, самой громкой из которых была ссылка в г. Горький в 70-е гг. А. Сахарова – создателя советской водородной бомбы, впоследствии диссидента, высылки из страны оппонентов режима) продолжались до первой половины 80-х гг.

Торможение вертикальной социальной мобильности сделало недоступным для нижних страт продвижение на вершину социальной лестницы, привело к закрытости правящей верхушки общества. В период перестройки Горбачеву не удалось «разрушить кастовости правящей пирамиды» [24, с.320]. Замкнутость элит в свою очередь привела к стагнации общества. Одним из следствий «закрывания» элиты является ее информационная герметичность, т. е. отсутствие информационной диверсификации. Принимавшиеся решения становились неэффективными, не поспевая за быстро менявшейся действительностью. В результате нарастало обесценивание или «инфляция» институтов управления, функционирование властных структур «пробуксовывало», усиливая свой холостой ход, действия вышестоящих инстанций и действия нижестоящих органов все больше расходились. Единообразие и единоначалие, на которых строилась формальная система властных отношений в СССР, подменялись многообразием локальных социальных сетей, превращавшихся в неформальные центры принятия решений, угрожавших общественному консенсусу. «Правящие классы – писал Г. Моска – приходят в упадок, если перестают совершенствовать те способности, с помощью которых пришли к власти, когда не могут более выполнять привычные для них социальные функции ...» [24, с.268]. Советский правящий слой принадлежал к тому типу правящих групп, чья активность, по мысли Э. Мандела, строится на принципе максимизации расходов («прямого размещения ресурсов»), а не на принципе максимизации доходов («максимального увеличения прибыли»). Развивая эту мысль, М. Кастельс так определяет природу советского правящего слоя: «Этатизм ориентирован ... на максимизацию власти, т.е. на рост военной и идеологической способности политического аппарата навязать свои цели большему количеству поданных на более глубоких уровнях их сознания» [101, с.38]. В терминах веберовской классификации социальных действий поведение советской правящей элиты можно описать с помощью доминирования категории традиционных действий над действиями целерациональными или ценностно-рациональными. Для советских социальных практик был характерен феномен «массоводства» «как один из наиболее распространенных способов конструирования социальной реальности» [59, с.148]. Особенностью этого феномена является конструирование социальной реальности по «технологическим социально-организационным шаблонам: везде одинаковый набор праздников, лозунгов и форм работы» [59, с.148]. Этот процесс социального производства, тиражировавший однообразные, однотипные социокультурные нормы, политические и организационные установки, носил «симулятивный характер», поскольку «его главное содержание составляло не управление людьми как таковое, а, главным образом, воспроизводство социального статуса “массовика”» [59, с.149]. Такой способ управления лишал советскую систему возможности расширенного социального воспроизводства, т. е. социального конструирования мно-

гообразия (разнообразия) форм межчеловеческих отношений с включением основанных на горизонтальных связях институтов гражданского общества, без которых современному социальному порядку трудно устоять.

Другой стороной разрыва между нижними и верхними стратами стал социокультурный раскол между ними, когда правящий слой принял стандарты западного общества потребления (но не западной демократии) и соответствующую систему ценностей. Многие представители верхнего слоя советского общества устраивали своих детей в престижные вузы (например, в МГИМО) (чтобы те могли потом работать за рубежом), приобретали импортные вещи и даже иномарки. «Либеральная революция» начала 90-х гг. XX в. (ее правильнее было бы назвать «номенклатурной революцией») открыла путь бывшей советской элите к проникновению на Запад. Она бросилась покупать недвижимость в Европе, США, других, экзотических уголках мира, получила возможность отправлять своих детей учиться в престижные западные университеты, безбоязненно ездить на дорогостоящих автомобилях западного производства. Мечты жить, как принято жить на Западе, осуществились. Кроме того, приобщение бывших советских элитных групп к нормам западного общества потребления не в последнюю очередь содействует процессам глобализации, в которой общество всеобщего потребления нашло свою незаменимую опору.

К падению советского строя (и, соответственно, к распаду СССР) привела и неконсолидированность (раздробленность) советских элитных групп. В 20-е – 30-е гг. произошел раскол на ленинцев и сторонников Сталина, закончившийся уничтожением «ленинской гвардии» (Н. Бухарина, Г. Зиновьева, Л. Каменева и др.). В 50-е гг. противостояние критиков Сталина и его сторонников закончилось изгнанием последних («антипартийная группа» В. Молотова – Л. Кагановича) из высших эшелонов партийного руководства. В 80-е гг. борьба между поборниками классовой идеологии и их противниками разрушила партию, а вместе с ней и советский социальный режим. Демонстративная непримиримость позиций М. Горбачева, Б. Ельцина и Е. Лигачева в период перестройки не позволила достичь консенсуса внутри партии, без которого она не могла уже выполнять возложенные на нее функции. На боеспособности элиты сказалась и «либерализация» в сфере рекрутирования партийных кадров. Н. Хрущев освободил «партаппарат и хозбюрократию» «от контроля карательных органов; были существенно “демократизированы” критерии отбора в ряды партии» [216, с.54]. В результате возросло число малокомпетентных управленцев. Их накопление в руководящих органах партии и государства вело к снижению эффективности управления, снижению качества элиты.

Идеологическая борьба в партийных верхах породила идеологическое противостояние и внутри советского общества. В 70-е и особенно 80-е гг. разгоралась ожесточенная полемика между идеологически разнородными группами. Проводниками их взглядов служили «толстые» столичные журналы, облекавшие политико-идеологические противоречия в форму литературных столкновений. Это было в традициях русской общественно-политической жизни, не привыкшей к иным формам самовыражения из-за слабости партийных и парламентских институтов. В этом сложном спектре мнений выделялись две группы акторов – лагерь патриотов-державников, продолжавших линию поздних славянофилов, и лагерь либералов, унаследовавших идеи западников времен императорской России. Эта борьба расколола советское творческое сообщество и помешала сформулировать взаимоприемлемую социальную стратегию обновления, способную обеспечить консенсус между всеми заинтересованными сторонами. Без достижения такого консенсуса движе-

ние вперед было невозможно. Здесь напрашивается сравнение с процессом консолидации гражданских сил в Испании в период ее перехода к демократии. Отправной точкой такого процесса стало заключение во второй половине 70-х гг. «пакта Монклоа» между самыми разными политическими и идеологическими группами – от социалистов до бывших франкистов. Пакт Монклоа помог достичь необходимому обществу консенсус, чтобы двигаться дальше. Несмотря на перестройку, в СССР не удалось заключить свой «пакт Монклоа». Отсутствие общенационального консенсуса может также рассматриваться как одна из причин распада Советского Союза.

Накапливавшееся в обществе напряжение между теми или иными группами направлялось не только идеологическими амбициями, но и более приземленными материальными интересами. Поэтому за столкновениями на нижних этажах советского общества не всегда можно было разглядеть проявления идеологических или политических разногласий. «Корень конфронтации» в нем исследователи видят в «недовольстве» условиями жизни [96, с.103]. Причины конфронтации между различными социальными группами в советском обществе были иными, чем на Западе. «Большевиками – пишет Д. Резинко – была проделана гигантская работа по монополизации практически всех средств физического и социального существования индивидов. Это обстоятельство существенным образом повлияло на возникновение предпосылок для активнейшего участия индивидов в борьбе за “место под солнцем”» [59, с.137]. Такая борьба, порождая недоверие людей друг к другу и сдерживавшая возможность формирования органической солидарности (в терминах Э. Дюркгейма), размывала устои советского социума.

Особо следует сказать о разбухенных неосмотрительными действиями федеральных властей центробежных по своему значению тенденциях, породивших этнополитические устремления входивших в состав СССР народов к независимости. Этому способствовали системные противоречия советского федерализма. Это противоречия между закрепленным в конституции статусом суверенности союзных республик и попытками отстоять централизацию с ее стремлением к унитаризму, между территориальным и национально-этническим принципами государственного устройства. На эти противоречия накладывались, усугубляя их, отношения между Центром как распределителем ресурсов и периферией как их поставщиком, которые, мешая внедрению социально-экономических и технологических новаций, обеспечивали «воспроизводство» системы «принудительного отчуждения и распределения» [93]. Система «отчуждающе-распределительных отношений» сдерживала поступательное развитие страны, где богатые регионы выступали в роли экономических доноров, а бедные регионы существовали на дотациях. Вместо мощного экономического рывка за счет развитых регионов закреплялась тенденция к стагнации, а неравномерный характер развития страны при этом не преодолевался. Этот «механизм торможения» оказался настолько прочным, что его не удалось сломать даже в период перестройки. Такие отношения «от Москвы до самых до окраин» превратились в долговременный источник межнационального напряжения в советском обществе, вылившегося в конце концов в открытые конфликты, которые вспыхнули как между отдельными республиками и центральной властью (силовые акции правительственных войск в Тбилиси, Баку, Вильнюсе), так и между отдельными этническими группами (война между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, армянский погром в Сумгаите, погромы турок-месхетинцев в Узбекистане, война между русскоязычным Преднепросторьем и молдаванами). При этом разрушительные тенденции исходили не только снизу, но и сверху. Как пишет Р. Симонян, «парадокс

заключается в том, что, вопреки сложившимся в общественном сознании представлениям, именно прибалтийские республики предлагали реальный способ сохранить Союз, а центральная власть, наоборот, сделала все, чтобы его разрушить» [156, с.75]. По словам О. Крыштановской, в период перестройки «любой орган государственной власти, не имеющий поддержки в регионах страны и не учитывающий мнения республиканского руководства, обречен на неудачу в своей деятельности» [169, с.33]. Здесь следует принять во внимание фактор двойственности отношений между советской центральной элитой и советскими периферийными элитными группами. Эта двойственность заложена вообще в отношения между элитой центра и местными элитами. С одной стороны, имперский центр делегирует последним материальные и символические ресурсы, обеспечивая устойчивость своего положения на местах и, тем самым, легитимируя свой статус «абсолютного арбитра». С другой, политика имперского центра накладывает ограничения на объем властных полномочий местных элит и устанавливает «допустимые рамки эксплуатации ими местного населения» [269, с.59]. «Делегирование и отзыв символического капитала как основной модус властвования» в империи [269, с.187] постепенно начинают восприниматься местными элитами как ущемление своих интересов и заставляют их включиться в борьбу за перераспределение символического капитала с целью повышения своего статуса. Таким образом, двойственность отношений между элитой центра и периферийными элитами рано или поздно перерастает в конфликт интересов, угрожающий целостности данной социальной системы. И здесь СССР не стал исключением.

Система «принудительного отчуждения и распределения» ресурсов в сочетании с беспрецедентной по масштабам милитаризацией экономики (доля военных расходов доходила до 30 – 40% ВВП [81, с.47]) практически исключали переход от экстенсивного пути развития к инновационному экономическому росту. Как показывает опыт традиционных обществ и даже обществ эпохи модерна, экстенсивный способ хозяйствования нуждается в постоянной территориальной экспансии. Принцип территориального расширения является одним из фундаментальных способов воспроизводства социальных систем такого рода. Жизненно необходимым оно было и для существования СССР. Однако, как констатирует С. Кордонский, «вооруженному экспорту социальных напряжений (такому как агрессия в Афганистане) ... был положен ... предел» [93]. К тому же сама милитаризация экономики становилась невыносимой, ложась тяжелым бременем на все советское общество. В начале 80-х гг. советский экономист Ю Яременко, отмечая, что советское общество проявляет черты «вырождающейся цивилизации», указал на политику поддержания военного паритета с экономически более сильным соперником в гонке вооружений как на главный фактор социальной деградации [262]. Все это сыграло роковую роль в падении советского социального порядка.

Кроме того, зародившиеся вследствие углублявшейся институциональной стратификации разнородные символические универсумы как интегральный показатель состояния институционального порядка послужили важным фактором социальной дифференциации снизу, также угрожавшей функционированию советской системы. К этим процессам следует отнести и изменения в структуре идентичности советского человека. Она включала в себя идеологическую, культурную, социальную, национальную, профессиональную формы идентичности. По мере рассогласования элементов идентификационной матрицы вызревал кризис советской идентичности, также благоприятствовавший распаду СССР.

Социальная структура советского общества по мере его эволюции все меньше представляла собой, говоря словами Дюркгейма, «систему однородных и сходных между собой сегментов» [128, с.189]. Она все больше удалялась от социетального сообщества Т. Парсонса, под которым американский социолог подразумевал недифференцированное общество. Особенность советского типа социальной дифференциации состояла в том, что она была половинчатой, незавершенной. Достигнутый советским обществом на поздних этапах его развития уровень дифференциации был достаточным, чтобы не отождествлять его с обществами транзитивного типа (переживающими переход от аграрного состояния к индустриальному), но оказался недостаточным, чтобы такое общество могло решать проблемы, поставленные постиндустриальной эпохой. Выделившиеся в советском обществе основные группы интересов не сумели перевести системные разногласия из области конфронтационных отношений в сферу консенсуальных взаимодействий, придав им институционально формализованные формы. Советский тип социальной дифференциации представлял собой цивилизационно промежуточный тип социальной стратификации. В этом залегала еще одна из причин падения советского социального порядка. Наконец, если исходить из принятого Г. Шпетом понимания культуры как знаково-символической объективации коллективной деятельности [170, с.139], то тогда проблему социальной трансформации можно трактовать как процесс изменения символических значений, объективируемых в ходе коллективной деятельности. С этой точки зрения падение советского строя есть результат смены знаково-символических форм объективации социальной активности. Вместе с тем устойчивость некоторых традиционных культурных норм и практик помогает понять, почему, несмотря на то, что, по словам Д. Норта, Октябрьская революция 1917 г. «стала, возможно, самой решительной перекройкой всей институциональной структуры общества, какую только знала история» [171], категория порядка сумела подчинить себе категорию прогресса. Эту ситуацию можно описать по аналогии с соотношением диктатуры и демократии, не отождествляя, разумеется, порядок с диктатурой, а прогресс с демократией. Подобно тому, как диктатура, в том числе и большинства, есть «ограничение демократии» [172, с.255], так и приоритет категории порядка над категорией прогресса означает «ограничение прогресса». При таком соотношении сил, если «одну маленькую частичку вынуть», то «рухнет все» [277, с.16]. Таким образом, сформулированная Конттом проблема согласования порядка и прогресса не нашла своего решения в рамках такого общества. Поэтому можно сказать, что нарушение подвижного равновесия между этими социальными категориями является наиболее общей причиной падения советского строя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Критический марксизм: продолжение дискуссий / под ред. Бузгалина А. В. и Колганова А.И. М.: Слово, 2002.
2. Шкаратан О.И. Этакратизм и российская социетальная система // *Общественные науки и современность*. 2004. № 4. С.49 – 62.
3. Жукоцкий В.Д. Русская реформация XX века: логика исторической трансформации атеистического протестантизма большевиков // *Общественные науки и современность*. 2004. № 3. С.89 – 102.
4. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
5. Амосов А.И. Эволюция экономики и государства в России // *Вопросы философии*. 2003. № 11. С.175 – 185.
6. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. М.: Алгоритм, 2002.
7. Россия: трансформирующееся общество /отв. ред. Ядов В. А. М.: Канон – Пресс – Ц, 2001.
8. Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // *Вопросы философии*. 2000. № 4. С.112 – 129.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Academia – Центр, Медиум, 1995.
10. North D. Transaction costs, Institutions, and economic performance. San Francisco, California: An International Center for Economic Growth Publication, 1992.
11. Weber M. Economy and Society. Berkley: University of California Press, 1978. Vol. 2.
12. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000.
13. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.
14. Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск: Наука, 1999.
15. Вулли Л. Ур халдеев. М.: Издательство восточной литературы, 1961.
16. Социология и социализм /отв. ред. Голенкова З. Т. М.: Институт социологии АН СССР, 1990.
17. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
18. Полтерович В.М. Общество перманентного перераспределения: роль реформ // *Общественные науки и современность*. 2005. № 5. С.5 – 16.
19. Новая технократическая волна на Западе / сост. Гуревич П. С. М.: Прогресс, 1986.
20. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4.
21. Сорокин П.А. Социальная мобильность. М.: Academia, 2005.
22. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Прохоров А.М. М.: Советская энциклопедия, 1971. Т. 4.
23. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Прохоров А. М. М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 10.
24. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия. Екатеринбург: Деловая книга, 1998.
25. Бурдьё П. Социология политики. М.: Socio – Logos, 1993.
26. Кравченко А.И. История менеджмента. М.: Академический проект, 2000.
27. История Древнего Востока: зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Месопотамия. Ч. 1. / под ред.

- Дьяконова И.М. М.: Наука, 1983.
28. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Прохоров А. М. М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 9.
 29. Современные зарубежные исследования классической немецкой философии / отв. ред. и сост. Андреева И. С. М.: ИНИОН, 1991. Вып. 4.
 30. *Платон*. Соч. в 4-х тт. М.: Мысль, 1994. Т. 3.
 31. *Кузнецов В.Н.* О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект // *Безопасность Евразии*. 2003. № 3. С.7 – 47.
 32. Новая индустриальная волна на Западе. Антология / под ред. Иноземцева В. Л. М.: Academia, 1999.
 33. *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
 34. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Прохоров А. М. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 19.
 35. *Ортега-и-Гассет Х.* Избранные произведения. М.: Весь Мир, 1997.
 36. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Прохоров А. М. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 22.
 37. *Аристотель*. Соч. в 4-х тт. М.: Мысль, 1983. Т. 4.
 38. *Романенко Л.М.* Фаза стабильности по-русски – 4 // *Власть*. 2005. № 6. С.19 – 29.
 39. *Коноплев И.А.* «Два града» блаженного Августина // *Человек*. 1998. № 1. С.67 – 81.
 40. *Грамии А.* Избранные сочинения в 3-х тт. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. Т. 3.
 41. *Пивоваров Ю.С.* Полная гибель всерьез // *Полития*. 2002 – 2003. № 4. С.82 – 116.
 42. *Ахиезер А.С., Яковенко И. Г.* Что же такое общество? // *Общественные науки и современность*. 1997. № 3. С.30 – 37.
 43. *Федотов Г.П.* И есть и будет (размышления о России и революции) // *Человек*. 1993. № 1. С.67 – 81.
 44. *Аузан А.А.* «Колея» российской модернизации // *Общественные науки и современность*. 2007. № 6. С.54 – 60.
 45. Проблемы формирования гражданского общества / отв. ред. Голенкова З. Т. М.: Институт социологии РАН, 1993.
 46. Гражданское общество: теория, история, современность / отв. ред. Голенкова З. Т. М.: Институт социологии РАН, 1999.
 47. *The Balkans in transition* / ed. Neville S. Arachchige Don, Mitrovic L. Cambridge, San Francisco: Nis, International Research Foundation for Development, Center of Balkan Studies, 2007.
 48. *Франк С.Л.* По ту сторону правого и левого. Париж: YMCA – Press, 1972.
 49. *Ильин И.А.* Черносотенство – проклятье и гибель России // *Вопросы философии*. 1994. № 9. С.177 – 180.
 50. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 23.
 51. *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
 52. *Ахиезер А.С., Пригожин А. П.* Культура и реформа // *Вопросы философии*. 1994. № 7 – 8. С.37 – 47.
 53. *Тойнби А.* Постигание истории. М.: Прогресс, 1991.
 54. *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма.

- М.: ЗАО «Сварог К», 1997.
55. *Пушкин С.Н.* Евразийцы и Советская Россия // Полигнозис. 2000. № 2. С.47 – 60.
 56. *Левада Ю.А.* Элитарные структуры в советской и постсоветской ситуации // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С.5 – 15.
 57. *Малахов В.С.* Еще раз о конце истории // Вопросы философии. 1994. № 7 – 8. С.48 – 50.
 58. *Зись А.Я.* Чему свидетелем был // Вопросы философии. 1996. № 2. С.127 – 136.
 59. *Резинко Д.Б.* Советская идеология как фактор российской модернизации в XX веке (опыт социально-антропологического анализа проблемы). М.: Институт философии РАН, 2004.
 60. *Вышеславцев Б. П.* Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. М.: Астрель, 2006.
 61. *Гаврюшин Н.К.* Прозрения и иллюзии русского космизма. Mode of access: 25. 07. 2003 // <http://www.humanities.edu.ru/db/msg/25908>
 62. *Митюгов В. В.* Бывает ли наука христианской или языческой? // Вопросы философии. 1995. № 11. С.146 – 148.
 63. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45.
 64. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22.
 65. *Лапина Н.Ю.* Механизм трансформации советской политической элиты. Mode of access: //http://www.pseudology.org/democracy/Polit_elita.htm
 66. *Козловски П.* Философские эпопеи. Об универсальных синтезах метафизики, поэзии и мифологии в гегельянстве, гностицизме и романтизме // Вопросы философии. 2000. № 4. С.37 – 52.
 67. *Кантор К. М.* Из мюнхенских разговоров с Александром Зиновьевым // Вопросы философии. 2007. № 4. С. 84 – 93.
 68. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 20.
 69. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 41.
 70. *Браун А. Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом* //Полис. 2007. № 6. С.71 – 85.
 71. *Лосев А.Ф.* Из ранних произведений. М.: Правда, 1990.
 72. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1.
 73. *Тихонова Н. Е., Аникин В. А., Горюнова С. В., Лежнина Ю. П.* Эволюция концепции модернизации во второй половине XX века //Социология 4 М. 2007. № 25. С.22 – 47.
 74. *Шмитт К.* Политическая теология. М.: Канон – Пресс – Ц, 2000.
 75. *Белокопытов Ю. Н.* Дао естественных и гуманитарных наук? // Свободная мысль – XXI. 2003. № 8. С.71 – 83.
 76. *Федотова В.Г.* Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы философии. 2000. № 4. С.3 – 36.
 77. *Хрумалов Н.А., Хрумалов А.Н.* Вопросы теории развития общества и личности // Свободная мысль – XXI. 2004. № 6. С.112 – 118.
 78. *Ханин Г.И.* Советское экономическое чудо: миф или реальность? // Свободная мысль – XXI. 2003. № 8. С.58 – 70.
 79. *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2006.
 80. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа /отв. ред. Горшков М. К., Тихонова Н. Е. М.: Наука, 2005.

81. *Гордон Л.А., Клопов Э.В.* Потери и обретения в России девяностых: историко-социологические очерки экономического положения народного большинства. Т. 1. Меняющаяся страна в меняющемся мире: предпосылки перемен в условиях труда и уровне жизни. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
82. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 24.
83. *Иванов В.И.* Эллинская религия страдающего бога // *Человек.* 2007. № 6. С.124 – 156.
84. *Бирюков Б.В.* От службы в русском императорском флоте к деятельности в условиях советской командно-административной системы: жизненный путь А. И. Берга // *Вестник Московского университета.* 2007. Сер. 7. Философия. № 4. С.68 – 94.
85. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 32.
86. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22.
87. Александр Зиновьев – мыслитель и человек (материалы «круглого стола») // *Вопросы философии.* 2007. № 4. С.36 – 61.
88. *Бородай Т.Ю.* Критика гностицизма у Плотина // *Вопросы философии.* 2000. № 10. С.128 – 139.
89. *Карлов Н.В.* О фундаментальном и прикладном в науке и образовании, или «Не возводи дом свой на песке» // *Вопросы философии.* 1995. № 11. С.35 – 46.
90. Итоги развития творческого наследия К. Э. Циолковского и современное развитие его идей (Научные Чтения К.Э. Циолковского, Калуга, 1966 – 1990 гг.). М.: Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, Комиссия АН СССР по разработке научного наследия К. Э. Циолковского, 1990.
91. *Гаврюшин Н.К.* Космический путь к «вечному блаженству» (К. Э. Циолковский и мифология технократии). Mode of access: 25. 07. 2003 // <http://www.humanities.edu.ru/8100/db/msg/25911>
92. *Белл Д.* Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999.
93. *Кордонский С. Г.* Административные рынки СССР и России. Mode of access: // http://www.libertarium.ru/libertarium/l_knig_knig?Print_VIEW=1&NO_COMMENTS=1
94. *Супоницкая И.М.* Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе // *Вопросы философии.* 2003. № 5. С.44 – 56.
95. *Клямкин И.М., Тимофеев Л. М.* Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000.
96. *Рывкина Р.В.* Между социализмом и рынком: судьба экономической культуры в России. М.: Наука, 1994.
97. Миграции в постсоветском пространстве: политическая стабильность и международное сотрудничество /под ред. Азраэла Д. Р., Мукомеля В. И., Паина Э. А. М.: Комплекс – Прогресс, 1997.
98. *Левинсон А.Г.* Термин «бюрократия» в российских контекстах // *Вопросы философии.* 1994. № 7 – 8. С.241 – 248.
99. *Хохряков Г.Ф.* Организованная преступность в России: 60-е – первая половина 90-х годов // *Общественные науки и современность.* 2000. № 6. С.62 – 74.
100. Социальная стратификация российского общества / отв.ред. Голенкова З. Т. М.: Летний сад, 2003.

101. *Кастельс М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
102. *Либман А. М.* Между «клановым капитализмом» и «управляемой демократией» // Свободная мысль – XXI. 2004. № 6. С.97 – 111.
103. *Докторов Б.З. Б.А. Грушин* Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения. Mode of access: //http: //bd. fom. ru /report/map/gru 0405
104. *Ильин В.И.* Социальное неравенство. М.: Институт социологии РАН, 2000.
105. Weber M. Economy and Society. Berkley: University of California press, 1978. V. 1.
106. *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001.
107. *Беляева Л.А.* Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. М.: Academia, 2001.
108. *Тихонова Н.Е.* Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. М.: РОССПЭН, 1999.
109. *Радаев В.В., Шкаратан О.И.* Социальная стратификация. М.: Аспект –Пресс, 1996.
110. *Нефедова Т.Г.* Сельская Россия на перепутье: географические очерки. М.: Новое издательство, 2003.
111. *Воейков М.И.* Средний класс: подходы к исследованию // Полития. 2000. № 1. С.87 – 97.
112. *Пантин В.И., Лапкин В.В.* Средний класс в процессе трансформации // Полития. 2000. № 1. С.98 – 109.
113. *Автономов А.С.* Средний класс и центризм // Полития. 2000. № 1. С.110 – 115.
114. Все ли пути для нас открыты? Возможности вертикальной мобильности в советском обществе. 2007. Mode of access: // http: //www. socpol. ru /publications/pdf/sofist 10_rus. pdf
115. *Сергеев В.М., Сергеев К.В.* Механизмы эволюции политической структуры общества: социальные иерархии и социальные сети // Полис. 2003. № 3. С.6 – 14.
116. *Горбачев М.С.* В интересах большинства. Социал-демократический проект для России. М.: Культурная революция, 2007.
117. *Гаман-Голутвина О.В.* Стратегия развития в ценностном поле российского общества // Полития. 2000. № 1. С.28 – 35.
118. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 8.
119. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 52.
120. *Джилас М.* Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.
121. *Восленский М.С.* Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: МП «Октябрь», Советская Россия, 1991.
122. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 42.
123. *Гудков Л.Д.* «Советский человек» в социологии Юрии Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С.16 – 30.

124. *Голенкова З.Т., Акулич М. М., Кузнецов В. Н.* Общая социология. М.: Гардарики, 2005.
125. *Грушин Б.А.* Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс – Традиция, 2001.
126. *Философия образования: состояние, проблемы и перспективы // Вопросы философии.* 1995. № 11. С.3 – 34.
127. *Экология и образование (материалы «круглого стола» журналов «Вопросы философии» и «Экология и жизнь») // Вопросы философии.* 2003. № 10. С.3 – 26.
128. *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996.
129. *Грушин Б.А.* Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 1-я). М.: Прогресс – Традиция, 2003.
130. *Разуваев В.В.* Политическая смеховая стихия в России // *Полития.* 2000. № 1. С.131 – 148.
131. *Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материалы «круглого стола») // Вопросы философии.* 1995. № 6. С.3 – 48.
132. *Семеновко-Басин И. В.* Символы российского православия и советской «политической религии» // *Общественные науки и современность.* 2008. № 4. С.125 – 131.
133. *Яковенко И.Г.* Гностическая компонента в цивилизационном пограничье (Россия и Латинская Америка) // *Общественные науки и современность.* 2008. № 4. С.100 – 113.
134. *Зеленко Б.И.* Демократический транзит в России. Социально-политические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 2007.
135. *Репников А.В.* «Очистим Россию надолго ...». Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 – начало 1923 года. Документы // *Вопросы философии.* 2008. № 7. С.182 – 183.
136. *Батыгин Г.С., Девятко И.Ф.* Маневры на философском фронте. Эпизоды 40-х годов. 1993. Mode of access: //http://old.msses.ru/win/faculty/sociology/batygin/chelovek – 1993 – 2 rtf
137. *Зеленин И.Е.* Характерная страница аграрной истории России (как решалась зерновая проблема при Н. С. Хрущеве). Mode of access: //http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2007/03/02/0000304001/013 Zelenin.pdf
138. *Паин Э.А.* Исторический «бег по кругу» (Попытка объяснения причин циклических срывов модернизационных процессов в России) // *Общественные науки и современность.* 2008. № 4. С.5 – 20.
139. *Шпотов Б.М.* «Не дано нам историей тише идти» (техническая помощь Запада советской индустриализации). Mode of access: 2002 // http://www.historia.ru/2002/03/shpotov.htm
140. *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М.: Захаров, 2004.
141. *Бережков В.М.* Как я стал переводчиком Сталина. М.: ДЭМ, 1993.

142. Немзер А. XX веком история не кончается. 5. 09. 2008. Mode of access: // [http://www.ruthenia.ru/nemzer/kruglyj stol_A. I. S. html](http://www.ruthenia.ru/nemzer/kruglyj_stol_A. I. S. html)
143. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28.
144. Wittfogel К. А. Oriental despotism. A comparative study of total power. New Haven: Yale University Press, 1957.
145. Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж: YMCA – Press, 1980.
146. Позднякова М. Астролог для президента. Mode of access: // <http://www.cpt.ru/Zvezda.html>
147. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / сост. Гальцева Р. А. М.: Политиздат, 1991.
148. Кутырев В.А. Осторожно, творчество! // Вопросы философии. 1994. № 7-8. С.72 – 81.
149. Алексеев П.В. Философы России XIX – XX столетий. Биографии, идеи, труды. М.: Академический проект, 1999.
150. Михайлов Ф.Т. Карл Маркс и проблема тождества бытия и сознания. Mode of access: // <http://www.philosophy.ru/iphras/library/marx/marx 2. html>
151. Философия науки: Этос науки на рубеже веков /отв. ред. Киященко Л. П. М.: Институт философии РАН, 2005. Вып. 11.
152. Черепенников В.Б. Науке нужна защита. Mode of access: // <http://bourabai.narod.ru/timiryazev/cher.htm>
153. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987.
154. Геллер М.Я. История Российской империи. В двух томах. М.: МИК, 2001. Т. 1.
155. Юданов А.Ю. Экономические процессы и национальный вопрос в СССР/России в XX веке: уровень предприятия. Mode of access: // http://yudanov.ru/other_1.html
156. Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии. М.: Academia, 2003.
157. Видяпин В.И. Бакалавр экономики: Хрестоматия. Т. 2. Mode of access: // <http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr 02/page 0094. asp>
158. Основы теневой и криминальной экономики. Mode of access: // <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch 1 p. 2 htm>
159. Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2003. / отв. ред. Дробижева Л. М. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003.
160. Модернизация социальной структуры российского общества / отв. ред. Голенкова З. Т. М.: Институт социологии РАН, 2008.
161. Lomnitz L.A. Informal Exchange Networks in Formal Systems: A Theoretical Model. Mode of access: // <http://www.colbud.hu/honesty – trust/lomnitz/pub 01. htm>
162. Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа: (Анализ концепции М. Крозье).1997. Mode of access: // <http://www.philosophy.ru/iphras/library/spirid.html>
163. Елисеев Н., Мережковский С.. «Собрание стихотворений» (БАН, 1999). Mode of access: // <http://www.bookman.spb.ru/13 mer/mer.htm>

164. *Елецкая М.А.* «Хороший» и «плохой» образы героев мультфильмов советской и постсоветской эпох // *Человек.* 2008. № 2. С.144 – 156.
165. *Шевченко В.Н., Любутин К.Н., Кондрашов П.Н.* Диалектика повседневности: методологический анализ // *Вопросы философии.* 2008. № 1. С.178 – 182.
166. *Токвиль А.* Каким образом в середине XVIII столетия литераторы сделали во Франции самыми влиятельными политиками и что из этого вышло. 1994. Mode of access: // http://vivovoco.rsl.ru/W/PAPERS/HISTORY/FR_LIT.HTM
167. *Бердяев Н.А.* Философия свободного духа. М.: Республика, 1994.
168. *Шкаратан О.И., Инясевский С.А.* Отраслевая структура как индикатор тенденций трансформации // *Общественные науки и современность.* 2008. № 3. С.111 – 122.
169. Политические процессы в условиях перестройки / отв. ред. Крыштановская О. В. М.: Институт социологии АН СССР, 1991. Вып. 1.
170. *Лекторский В.А.* Немецкая философия и российская гуманитарная мысль: С. Л. Рубинштейн и Г.Г. Шпет // *Вопросы философии.* 2003. № 10. С.129 – 139.
171. *Капелюшников Р.И.* Новая институциональная теория. Mode of access: // <http://www.libertarium.ru/libertarium/10625>
172. *Коновалова О.В., Чернов В.М.* О путях развития России. М.: РОССПЭН, 2009.
173. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 19.
174. Вехи: Pro et Contra. Антология /сост. Сапов В. В. СПб.: РХГИ, 1998.
175. *Лобанов А., Читая Н., Леонтьева К.* Mode of access: // <http://tbs.asu.ru/likbez/Kritika/lobanov1.htm>
176. Марксизм. Mode of access: // <http://forum.marksizm.ru/index.php?showtopic=2112>
177. *Вернадский В.И.* Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
178. *Шейнин Ю.М.* Интегральный Интеллект. М.: Молодая гвардия, 1970.
179. *Дубровский Д.И.* Проблема идеального. М.: Мысль, 1983.
180. *Батищев Г.С.* Диалектика творчества. М.: Институт философии АН СССР, 1984.
181. *Рожко К.Г.* Принцип деятельности. Томск: изд. Томского университета, 1983.
182. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 38.
183. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 37.
184. *Федоров А.А.* Европейская мистическая традиция Средних веков и Нового времени в истории философии и истории идей // *Философские науки.* 2002. № 4. С.130 – 140.
185. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 42.
186. *Ядов В.А.* Социология в России. Исследования социальной структуры в советской социологии в 60-х – начале 80-х годов. Mode of access: // http://society.polbu.ru/yadov_sociology/ch27_all.html
187. *Сунгуров А.Ю.* Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и России // *Общественные науки и современность.* 1997. № 3. С.55 – 64.
188. Актуальные проблемы Европы: проблемы терроризма / гл. ред. Пархалина Т. Г.

- М.: ИНИОН, 1997. Вып. 4.
189. *Козловски П.* Трагедия модерна. Миф и эпос XX века у Эрнста Юнгера // Вопросы философии. 1997. № 12. С.15 – 28.
190. *Шкловский И.С.* Вселенная. Жизнь. Разум. М.: Наука, 1980.
191. *Глезерман Г.Е.* Базис и надстройка в советском обществе. М.: Институт философии АН СССР, 1954.
192. *Чесноков Д.И.* Исторический материализм. М.: Мысль, 1964.
193. *Келле В.Ж., Бородай Ю.М. и др.* Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации. М.: Политиздат, 1974.
194. Межнациональные противоречия и конфликты в СССР: (опыт социально-философского анализа) / Семенов В. М., Иордан М. В., Бабаков В. Г., Сагамонов В. А. М.: Институт философии АН СССР, 1991.
195. *Гордон Л.А., Чертихина Э.С.* Перспективы социально-профессионального и социально-культурного развития советского рабочего класса: экспертиза гипотез. М.: Институт международного рабочего движения АН СССР, 1989.
196. *Шкаратан О.И.* Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. М.: Мысль, 1970.
197. Трудящаяся молодежь: образование, профессия, мобильность / отв. ред. Шубкин В. Н. М.: Институт международного рабочего движения АН СССР, 1984.
198. *Заславская Т.И., Рывкина Р.В.* Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск: Наука, 1991.
199. *Коган Л.Н., Павлов Б.С.* Молодой рабочий: вчера, сегодня. Опыт историко-социологического исследования образа жизни молодых рабочих 30-х и 70-х гг. На материалах Урала. Свердловск: Уральск. кн. изд., 1976.
200. *Семенов В.С.* Диалектика развития социальной структуры советского общества. М.: Мысль, 1977.
201. *Руткевич М.Н.* Интеллигенция в развитом социалистическом обществе. М.: Политиздат, 1977.
202. Формирование социально-профессиональной структуры рабочего класса /отв. ред. Филиппов Ф. Р. М.: Институт социологии АН СССР, 1988.
203. Рабочий класс и научно-технический прогресс /рук. автор. колл. Осипов Г. В. М.: Наука, 1986.
204. *С. Коэн.* Можно ли было реформировать советскую систему. Mode of access: //http://scep sis.ru/library/id_163.html
205. *Гайдар Е. Т.* Особенность России. XI - XX вв. Mode of access: // http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/ga 9.html
206. Программы политических партий и организаций России конца XIX – XX вв. /ред. Кожухова Е.К. Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского университета, 1992.
207. Русская деревня в пореформенный период. Mode of access: //http://rus-history.ru/russkaya – derevnya – v – reformen/otmena – krepostno
208. *Агурский М.* Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель). Mode of access: //http://alt – future/ narod.ru/NSM/eretik.htm

209. *Жукоцкий В.Д.* Ницшеанство и марксизм: русский синтез. Mode of access: http://philosophy.vizlib.net/book_o022_page_14.html
210. *Корнаи Я.* Дефицит. М.: Наука, 1990.
211. *Стиглиц Дж.* Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003.
212. Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / отв. ред. Магун В.С. М.: Институт социологии РАН, 2006.
213. *Тихонова Н. Е., Мареева С.В.* Средний класс: теория и реальность. М.: Альфа – М, 2009.
214. *Соколова Г.Н.* Средний класс республики Беларусь // Социология. 2006. № 2. С.127 – 140.
215. *Шпенглер О.* Годы решений. Екатеринбург: У – Фактория, 2007.
216. *Карачаровский В.В.* Высокотехнологичное развитие и либеральная парадигма // Свободная мысль – XXI. 2003. № 8. С.45 – 57.
217. *Бердяев Н.А.* Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. М.: Искусство, ИЧП «Лига», 1994. Т. 2.
218. *Вебер М.* Основные понятия стратификации // Социс. 1994. № 5. С.147 –156.
219. *Богданов А.А.* Тектология: Всеобщая организационная наука. М.: Финансы, 2003.
220. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. II.
221. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I.
222. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II.
223. Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2004 /отв. ред. Дробижева Л.М. М.: Институт социологии РАН, 2004.
224. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 1.
225. *Гэлбрэйт Дж.* Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.
226. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22.
227. Mahbubani K. Can Asians think? Singapore – Kuala Lumpur: Times Books International, 1998.
228. *Ильенков Э.В.* Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.
229. *Тугаринов В.П.* О ценностях жизни и культуры. Л.: Ленинградский университет, 1960.
230. *Дробницкий О.Г.* Проблемы нравственности. М.: Наука, 1977.
231. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
232. *Оруджев З.М.* Диалектика как система. М.: Политиздат, 1973.
233. *Щедровицкий Г.П.* Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995.
234. *Казютинский В.В.* Философские проблемы космологии. М.: Знание, 1970.
235. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33.
236. *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990.
237. *Деникин А.И.* Очерки русской смуты: в 3-х томах. М.: Айрис Пресс, 2003. Т. 3.
238. *Алексеев Н.Н.* Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998.
239. *Трубецкой Н.С.* История. Культура. Язык. М.: Прогресс.Универс, 1995.

240. *Вернадский Г.В.* Опыт истории Евразии. Звенья русской культуры. М.: изд. КМК, 2005.
241. *Pareto V.* Compendium of general sociology. Minneapolis, New York, San Francisco: Pareto fund, 1980.
242. *Френкель Я.И.* Воспоминания, письма, документы. Л.: Наука, 1986.
243. *Кронрод Я.А.* Из неопубликованного. М.: Институт экономики РАН, 2002.
244. *Попов Г.Х.* Блеск и нищета Административной Системы. М.: ПИК, 1990.
245. Методологические проблемы поискового социального прогнозирования / Отв. ред. Бестужев-Лада И.В. М.: Институт социологических исследований АН СССР, 1983.
246. *Здравомыслов А.Г., Ядов В.А.* Человек и его работа в СССР и после. М.: Аспект Пресс, 2003.
247. Репрезентативное исследование, проведенное сектором методологии анализа социальных процессов Института социологии АН СССР совместно с Институтом открытого сотрудничества при международном фонде за выживание и развитие человечества и Хьюстонским университетом (США) в рамках программы Отделения философии и права АН СССР «Социальные процессы в условиях перестройки» (рук. Ядов В.А.) / Рук. Денисовский Г.М. Автор. колл.: Козырева П.М., Косолапов М.С. и др. М.: Институт социологии АН СССР, 1990.
248. Мемуары великой княгини Ольги Александровны / Запись Ворреса Я.М.: Захаров, 2003.
249. *Степун Ф.А.* Чаемая Россия. СПб.: изд. Русского христианского гуманитарного университета, 1999.
250. *Зиновьев А.А.* Запад: Феномен западнизма. М.: Центрполиграф, 1995.
251. *Сен-Симон К.А.* Избранные сочинения. М., Л.: изд. АН СССР, 1948.
252. *Голосовкер Я.Э.* Логика мифа. М.: Наука, 1987.
253. *Любищев А.А.* В защиту науки: Статьи и письма. 1953 – 1972. Л.: Наука, 1991.
254. *Мамардашвили М.К.* Картезианские размышления (январь 1981 г.). М.: Прогресс. Культура, 1993.
255. *Асмус В.Ф.* Иммануил Кант. М.: Наука, 1973.
256. *Бахтин М.М.* Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000.
257. *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М.: Язык русской культуры, 1996.
258. *Померанц С.Г., Миркина З.А.* В тени Вавилонской башни. М.: РОССПЭН, 2004.
259. *Лихачев Д.С.* Очерки по философии художественного творчества. СПб.: «БЛИЦ», 1996.
260. *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. Л.: ЛГУ, 1989.
261. Экономическое развитие России во второй половине 40-х – 50-х гг.: новации и догмы. 2001. Mode of access: <http://www.bestreferat.ru/referat-31059.html>
262. *Москаленко М.Р.* Проблемы научного прогнозирования социальных процессов (на примере анализа сценариев развития СССР и России в конце 1980-х – 1990-е

- гг.). Mode of access: <http://www.rusrand.ru/Dokladi1/Moscalenko.pdf>
263. *Гайдар Е.Т.* Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.
264. *Месяц С.А.* Выдержки из исторической хроники. Часть 4. Mode of access: <http://www.epochtimes.ru/content/view/2101/34/>
265. Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976.
266. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981.
267. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 – 15 июня 1983 г. М.: Политиздат, 1983.
268. Управление Россией. Опыт. Традиции. Новации. XVI – XX. /Отв. ред. Сахаров А. Н. М.: Наука, 2007.
269. *Каспэ С.И.* Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН, 2001.
270. *Burnham J.* Managerial Revolution. What is happening in the world. N. Y.: Day, 1941.
271. *Моска Г.* Правящий класс //Социс. 1994. № 10. С.187 – 198.
272. «Очень не люблю элиту». Интервью с профессором Геннадием Константиновичем Ашиным //Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. № 1. С.11 – 30.
273. *Веблен Т.* Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
274. Новое и старое в теоретической социологии /Под ред. Давыдова Ю. Н. М.: Институт социологии РАН, 2001. Кн. 2.
275. *Афанасьев М.Н.* Клиентелизм и российская государственность. Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. М.: Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда, 1997.
276. *Гринспен А.* Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
277. *Протасов А.* Неопубликованный Лем. Интервью //The New Times. 2007. № 7. С.15 – 17.

Научное издание

Денисовский Г.М., Жвителиашвили А.Ш

**СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В НЕРЫНОЧНЫХ СИСТЕМАХ
(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)**

Подписано в печать 16.12.09. Формат 60x84/8.
Гарнитура «Century Schoolbook». Уч.-изд.л. 17,5.

Издательство Института социологии РАН
Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп.5
Тел.: (499)128-91-05